Новый Журнал

89

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать шестой год издания

Кн. 89 НЬЮ ИОРК 1967

Ввиду повышения типографских расходов корпорация "Нового Журнала", к сожалению, вынуждена с 1968 года повысить подписную плату с 9 дол. на 10 дол. (за 4 книги в год) и с 2 дол. 50 ц. на 3 дол. за отдельную книгу.

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, December 1967
Quarterly, No. 89
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price $10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Неизвестные стихотворения А. Фета и Вяч. Иванова . . . 5
В. Шаламов — Колымские рассказы 7
Неизвестные стихи И. А. Бунина 19
В. Вейдле — Три адриатических города 24
Д. Кленовский — Стихи 33
Ю. Кротков — Святой мальчик. Засекреченная 38
Н. Моршен — Стихи 53
Е. Таубер — Аннушка 56
И. Елагин — Ответ 65
Н. Ульянов — О сути 67
И. Чиннов — Стихи 79
В. Эджертон — История одной буквы 82
Ю. Иваск — Стихи 87
В. Крупич — Аполлон Григорьев 89
Н. Туроверов — Стихи 100
Г. Глинка — Патриоты 101

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Письма М. Цветаевой к В. Ходасевичу (публ. С. Карлинского) 102
Письма Ан-ского 115
И. Гапанович — Революция на Севере 132

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

С. Пушкарев — Октябрьский переворот 1917 г. без легенд . 146
Д. Анин — К 50-летию Октября 170
Ю. Мишалов — Хозяйственный эксперимент 183
Ю. Сречинский — Компартия и крестьянство 198
В. Пирожкова — Германия и «Европа от Урала до Атлантики» 215
С. Левицкий — О метафизическом легкомыслии 228
А. и Т. Фесенко — Характерные особенности русского языка последнего десятилетия 244

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

И. Шведе — В. А. Ледницкий 263
Р. Гуль — Ю. В. Офросимов 266

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Ю. Офросимов — «Три сестры» — сегодня 269
Б. Ижболдин — К юбилею проф. М. А. Бунятяна 272
От редакции — Oxford Slavonic Papers 274

БИБЛИОГРАФИЯ:

Стр.

Роман Гуль — Г. Адамович. Единство. *Б. Унбегаун* Orbis Scriptus. D. Tschižewskij zum 70 Geburtstag. *С. Зеньковский* — D. Tschižewskij. Russische Literaturgeschichte des 19 Jahrhunderts. *В. Вейдле* — A. Voyce. The Art and Architecture of Medieval Russia. *Р. Плетнев* — Die Altrussischen Hagiographischen Erzaehlungen ueber die Heiligen Boris und Gleb. *А. Небольсин* — Э. Райс. Под глухими небесами. *С. Крыжицкий* — T. Lindstrom. A Concise History. of Russian Literature. *Ю. Иваск* — L. Hindley. Die Neologismen A. Belyis. *О. Ильинский* — H. Koelle. Farbe, Licht und Klang in der malenden Poesie Deržavins. *Н. Тимашев* — B. Ischboldin. Genetic Economics. *А. Иванов* — И. Курганов. Семья в СССР, 1917—67. *Б. Ижболдин* — Ph. Barbour. Dimitri. *Книги для отзыва* 277

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

★

Может ли разум то высказать силой ума,
Что опьяненному Муза нашепчет сама.
Я назову лишь цветок, что срывает рука
Муза нашепчет и сердце и запах цветка.
Я лишь скажу, что тебя беспредельно люблю,
Муза поведает, что я за муку терплю.

А. Фет

S NETTINO

А. А. Бахрушину

Когда светил устав нарушен,
Все — трус, потоп, огонь и меч, —
В грозе междоусобных веч,
Неотвратимому послушен,

В крушеньи счастья равнодушен,
Скажи — как ты умел сберечь
Свой гордый нрав, прямую речь,
Осанку строгую, Бахрушин?

Хранит и в дни гражданских смут
Твой Музам отданный приют
Останки русской Мельпомены.

И тот же ты, в своем дому
Домовладыка, без измены
Отцам и Богу своему.

Copyright by The ew Review, 1967.

*

К. И. Чуковскому

Чуковский, Аристарх прилежный
Вы знаете — люблю давно
Я Вашей злости голос нежный,
Ваш ум, веселый, как вино,

И полной сладким ядом прозы
Приметливую остроту,
И брошенные налету
Зоилиады и занозы,

Полу-цинизм, полу-лиризм,
Очей притворчивых лукавость,
Речей сговорчивых картавость
И молодой авантюризм.

Вячеслав Иванов
Москва 12 августа (30 июля) 1919 г.

Мы печатаем неизвестное стихотворение А. А. Фета и два неизвестных стихотворения Вячеслава Иванова. Эти стихи присланы нам Ольгой Александровной Шор, из Рима. Неизвестное стихотворение А. А. Фета было передано О. А. Шор Татьяной Львовной Толстой-Сухотиной за несколько месяцев до ее смерти в 1950 году, при чем Т. Л., передавая листок с этим стихотворением, сказала: «Вот неизданное стихотворение Фета, дарю его Вам, Оленька, делайте с ним что хотите». На листе под стихотворением написано рукой Т. Л.: «неизданное и переданное Стаховичу и мне стихотворение Фета. Т. Сухотина-Толстая». Два ненапечатанных стихотворения В. И. Иванова обращены к друзьям — А. А. Бахрушину и К. И. Чуковскому. Такого рода стихи поэт в «Нежной Тайне» назвал — «Лента». А. А. Бахрушин — известный до революции меценат и коллекционер, основавший на свои средства единственный в России театральный музей, собрав в нем то, что относилось к русскому и частью к западно-европейскому театру. О этом и упоминает в своем стихотворении Вяч. Иванов. К. И. Чуковский — известный критик, писатель, автор знаменитых книг для детей, здравствующий и поныне. Оба стихотворения написаны Вяч. Ивановым в 1919 году. РЕД.

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ*

КРЕСТ

Слепой священник шел по двору, нащупывая ногами узкую доску, настланную на земле вроде пароходного трапа. Он шел медленно, не спотыкаясь, не оступаясь, иногда задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку. В обеих руках священник нес ведра дымящегося пойла для своих коз, запертых в низеньком темном сарае. Коз было три: Машка, Элла и Тоня — клички были выбраны умело, с разными согласными. И обычно на его крик откликалась только та коза, которую он звал; утром же, в час раздачи корма, козы блеяли беспорядочно, истошными голосами, просовывая по очереди морды в дверную щель сарая. Полчаса назад слепой священник подоил их в большой подойник и отнес дымящееся молоко домой. Доя коз он часто ошибался в вечной своей темноте — тонкая струя молока неслышно падала мимо подойника; козы оглядывались на свое молоко, выдоенное прямо на землю.

Ошибался он часто и не только потому, что был слеп. Раздумья мешали ему не меньше, и равномерно сжимая теплой рукой прохладное вымя коз, он часто забывал сам себя и свое дело, думая о своей семье.

Ослеп священник вскоре после смерти сына-красноармейца химической роты, убитого на Северном фронте. Глаукома, «желтая вода», резко обострилась, и священник потерял

---

* В кн. 85 и 86 «Н. Ж.» мы печатали «Колымские рассказы» В. Т. Шаламова, поэта и прозаика, проведшего в концлагерях около 20 лет. Как те, так и печатаемые сейчас рассказы мы публикуем без ведома и согласия автора, в чем приносим ему извинения. Рукопись рассказов Шаламова мы получили с оказией из СССР, тоже без ведома автора. Первый рассказ — «Крест» — не из концлагерной жизни. РЕД.

зрение. Были у священника и еще дети — два сына и две до-чери, но тот, средний, был любимым и как бы единственным.

Козы, уход за ними, кормежка, уборка, дойка — все это слепой священник делал сам — и эта отчаянная и ненужная работа была мерой утверждения себя в жизни — слепой привык быть кормильцем большой семьи, не зависеть ни от кого — ни от общества, ни от собственных детей. Он велел жене акуратно записывать расходы на коз и приход от продажи козьего молока летом. Молоко охотно покупали в городе.

Слепой и жена пили молоко по стакану, по два в день, и стоимость этих стаканов священник тоже велел записывать. В первое же лето выяснилось, что корм стоит дороже, чем вырученное молоко, да и налоги на «мелких животных» были не так уж мелки, но жена священника скрыла правду от мужа и сказала, что козы приносят доход. И слепой священник благодарил Бога, что есть еще у него силы хоть чем-нибудь помочь жене.

Жена его, которую до 1928 года все в городе звали «матушкой», а в 1929 году перестали (городские церкви были почти все взорваны, а «холодный» собор, где молился когда-то Иван Грозный, был превращен в музей) — была когда-то так полна, что ее сын, которому было тогда лет шесть, капризничал и плакал, твердя: «Я не хочу с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая». Теперь давно уже она не была толстой, но нездоровая полнота сердечного больного оставалась. Она едва ходила по комнате, с трудом работала по хозяйству. Иногда священник просил ее почитать ему что-нибудь, но жене все было некогда — оставалась всегда тысяча дел, то сварить пищу себе, то приготовить корм козам. В магазины жена священника не ходила — небольшие ее закупки делали соседские дети, которым она наливала козьего молока или совала в руку какой-нибудь леденец.

На шестке русской печи стоял котел — «чугун», как называют его на севере. Чугун был с отбитым краем, этот край был отбит еще в первый год замужества. Кипящее пойло для коз выливалось из чугуна через этот отбитый край. Рядом с чугуном стоял маленький горшок с кашей — обед священника

и его жены — людям было нужно много меньше, чем животным. Но что-нибудь нужно было и людям.

Целый день жена священника медленно двигалась по комнате, держась руками за мебель, и к концу дня уставала так, что не могла найти в себе сил для чтения. Она засыпала, а священник сердился. Он спал очень мало, хоть и заставлял себя спать, спать. Когда-то его второй сын, приехавший на «побывку» и огорченный безнадежным состоянием отца, спросил его, волнуясь:

— Папа, почему ты спишь и днем и ночью? Зачем ты так много спишь?

— Дурак ты, — ответил священник, — ведь во сне-то я вижу...

Слепой плохо понимал, почему несколько лет тому назад они должны были выехать из комнаты, в которой жили более тридцати лет. Жена шептала ему что-то непонятное, взволнованное и сердитое своим огромным беззубым, шамкающим ртом. Жена никогда не рассказала ему правды: как милиционеры выносили из дверей их несчастной комнаты — поломанные стулья, старый комод, ящик с фотографиями, дагерротипами, «чугуны», горшки и несколько книг — остатки когда-то большой библиотеки, — и сундук, где хранилось последнее: золотой наперстный крест. Слепой ничего не понял, его увели на новую квартиру, он молчал и про себя молился. Блеющих коз тоже отвели на новую квартиру, знакомый плотник устроил их на новом месте. Одна коза в суматохе пропала — четвертая коза — Ира.

Новые жильцы этой квартиры на берегу реки — молодой городской прокурор с франтихой женой — ждали в гостинице «Центральная», пока их известят, что квартира свободна. В комнату священника вселяли слесаря с семьей из квартиры напротив, а две комнаты слесаря пошли прокурору.

Священник и его жена редко вспоминали прежнюю комнату: он — потому, что был слеп, а она — потому, что слишком много горя пришлось ей увидеть на той квартире. Священник никогда не узнал чего только не делала жена, чтоб поддержать их существование: пекла пирожки и продавала на

базаре, все время писала письма разным знакомым и родственникам, прося поддержать хоть чем-нибудь ее и слепого мужа. И, случалось, деньги приходили, небольшие деньги, но все же на них можно было купить сена и жмыхов для коз, внести на-логи, заплатить пастуху.

Коз давно надо было продать — они только были в тягость, но она боялась об этом и подумать — ведь это было единственное дело ее слепого мужа. И, вспоминая каким живым, энергичным был ее муж до своей страшной болезни, она не находила в себе сил заговорить с ним о продаже коз. И все продолжалось попрежнему.

Писала она и детям, которые давно уже выросли, обзаве-лись семьями. Дети отвечали на ее письма, но у всех были свои заботы и свои дети; впрочем, не все дети и отвечали.

Старший сын давно, еще в двадцатых годах, отказался от отца. Тогда была мода отказываться от родителей. Немало известных впоследствии писателей и поэтов начали свою литера-турную карьеру подобными заявлениями. Старший сын не был ни поэтом, ни негодяем, он просто боялся жизни и послал за-явление в газету, когда его стали чересчур донимать на служ-бе разговорами о его «социальном происхождении».

Дочери священника вышли замуж. Старшая жила где-то на юге, деньгами в семье она не распоряжалась, боялась мужа, но писала домой часто слезные письма, полные своих горестей, и старая мать отвечала ей, плача над ее письмами и утешая дочь. Старшая дочь ежегодно посылала матери посылку в не-сколько десятков килограммов винограда. Посылка с юга шла долго. И мать никогда не написала дочери, что виноград каж-дый раз приходит испорченный — из всей посылки только несколько ягод могла она выбрать мужу и себе. И всякий раз мать благодарила, униженно благодарила и стеснялась попро-сить денег.

Вторая дочь была фельдшерицей, после замужества мизерное свое жалованье стала откладывать и посылать своему отцу. Муж ее, профсоюзный работник, одобрил ее желание. Но скоро выяснилось, что муж — запойный пьяница. Служебная его карьера быстро шла вниз, вскоре он оказался

агентом снабжения, но и на этой работе долго удержаться не мог, и жена его с двумя малыми детьми билась, как могла, содержа на жалованье медицинской сестры детей и себя. Чем она могла помочь старой матери и слепому отцу?

Младший сын был не женат. Ему бы и жить с отцом и матерью, но он решил попытать счастье в одиночку. От среднего брата осталось наследство — охотничье ружье, почти новенький бескурковый Зауэр, и отец велел матери продать это ружье за девяносто рублей. За двадцать рублей сыну сшили две новые сатиновые рубашки-толстовки, и он уехал к тетке в Москву и поступил на завод. Младший сын посылал деньги домой, но помалу, рублей по пять в месяц, а вскоре был арестован, выслан и след его затерялся.

Слепой священник и его жена вставали всегда в шесть утра. Жена затапливала печку, слепой шел доить коз. Денег в доме не было вовсе, но старой женщине удавалось иногда занять в долг несколько рублей у соседей. Но эти рубли надо было отдавать, а продать было уже нечего — все носильные вещи, скатерти, белье, стулья — все уже было давно продано, променено на муку для коз и на крупу для супа. Оба обручальных кольца и серебряная шейная цепочка были проданы в «Торгсине» еще в прошлом году. Суп только по большим праздникам варился с мясом, а сахар старики покупали только к празднику. Разве зайдет кто-нибудь, сунет конфетку или булку, и старая матушка брала и уносила в свою комнату и совала в сухие, нервные, беспрерывно двигающиеся пальцы своего слепого мужа. И оба они смеялись и целовали друг друга, и старый священник целовал изуродованные домашней тяжелой работой, опухшие, потрескавшиеся грязные пальцы жены. Старая женщина плакала, целовала старика в голову, и они благодарили друг друга за все хорошее, что дали друг другу в жизни, и за то, что делают друг для друга сейчас.

Каждый вечер священник вставал перед иконой и горячо молился. Он благодарил Бога еще и еще за свою жену. Так делал он ежедневно. Бывало, что он не всегда становился лицом к иконе, и тогда жена сползала с кровати и, охватив его руками

за плечи, ставила лицом к образу Иисуса Христа. И слепой священник сердился.

Старуха старалась не думать о завтрашнем дне. Но вот наступило такое утро, когда козам нечего было дать, и слепой священник проснулся и стал одеваться, нашаривая сапоги под кроватью. Тогда старуха закричала и заплакала, как будто была виновата в том, что у них ничего нет.

Слепой надел сапоги и сел в свое клеенчатое, заплатанное мягкое кресло. Вся остальная мебель была давно продана, но слепой об этом не знал — мать сказала, что подарила дочерям.

Слепой священник сидел, откинувшись на спинку кресла, и молчал. Но растерянности в его лице не было.

— Дай мне крест, — сказал он, протягивая обе руки и двигая пальцами.

Жена доковыляла до двери и заложила крючок. Вдвоем они приподняли стол и выдернули из-под стола сундук. Жена священника достала из деревянной коробки с нитками ключик и отперла сундук. Сундук был полон вещей, но что это были за вещи — детские рубашки сыновей и дочерей, связки пожелтевших писем, что сорок лет назад писали они друг другу, венчальные свечи с проволочным украшением — воск с узором давно уже осыпался, клубки разноцветной шерсти, связки лоскутков для заплат. И на самом дне два небольших ящичка, в каких бывают ордена, часы или драгоценные вещи.

Старуха тяжело вздохнула и открыла коробку, где на атласной новенькой еще подушечке лежал наперстный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа. Крест был красноватый, червонного золота.

Слепой священник ощупал крест.

— Принеси топор, — сказал он тихо.

— Не надо, не надо, — зашептала она и обняла слепого, пытаясь отнять крест. Но священник вырвал его из узловатых опухших пальцев жены и больно ушиб ей руку.

Неси, — сказал он, — неси... Разве в этом Бог?

— Я не буду — сам, если хочешь...

— Да, да, сам, сам.

И жена священника, полубезумная от голода, заковыляла

в кухню, где всегда лежал топор и сухое полено — для лучины, чтоб ставить самовар.

Она принесла топор, закинула крючок и заплакала без слез, криком.

— Не гляди, — сказал слепой священник, укладывая крест на полу. Но она не могла не глядеть. Крест лежал вниз фигуркой. Слепой священник нащупал крест и замахнулся топором. Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу — слепой священник промахнулся. Священник нашарил крест и снова положил его на то же место и снова поднял топор. На этот раз крест согнулся, и кусок его удалось отломить пальцами.

Жена священника уж не плакала и не кричала, как будто крест, изрубленный в куски, перестал быть чем-то святым и стал просто драгоценным металлом, вроде золотого самородка. Она торопливо и все же очень медленно завертывала кусочки креста в тряпочки и укладывала их обратно в орденскую коробку.

Она надела очки и внимательно осмотрела лезвие топора, не осталось ли где золотых крупинок.

Когда все было спрятано и сундук поставлен на место, священник нашел свой брезентовый плащ и шапку, взял подойник и пошел через двор около длинной настланной доски — доить коз. С дойкой он запоздал, уже был белый день и давно открыты магазины. Магазины «Торгсина», где торговали продуктами на золото, открывались в десять утра.

ОДИНОЧНЫЙ ЗАМЕ́Р

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный заме́р. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, «напарник» Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло его, чем пугало.

Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папиросу и протянул ее Дугаеву.

— Кури, мне оставишь, — сказал он.

Дугаев удивился — они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедой. Для того, чтобы дружба была дружбой, нужно, чтоб крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия быта еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого в человеке нет, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантских заповеди: не верь, не бойся, не проси.

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

— Слабею, — сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные — буханки хлеба, дымящиеся жирные супы. Дугаев просыпался. Забытье наступило нескоро, но все же — за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

— А ты подожди, — сказал бригадир Дугаеву. — Тебя смотритель сам поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загремели первые тачки на трапе, заскрипели лопаты о камень.

— Иди сюда, — сказал Дугаеву смотритель. — Вот тебе место. — Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку — кусок кварца.

— Досюда, — сказал он. — Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет, возить куда. И все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка — вози.

Дугаев послушно начал работу.

«Еще лучше, — думал он. — Никто из товарищей не будет ругаться, что он работает плохо». Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев — новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью сменил на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: уменье красть — это главная концлагерная добродетель во всех ее видах — начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальства за несуществующие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать 16-ти часового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой мульды было еще очень далеко.

Вечером смотритель опять пришел и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

— Двадцать пять процентов, — сказал он и посмотрел на Дугаева. — Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

— Слышу, — сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра — двадцать пять процентов нормы показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора при возке тачки нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно ушло. Дугаев ел потому, что видел, как едят другие. Он не хотел есть.

— Ну, что же, — сказал смотритель, уходя. — Желаю здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу и повели по лесной тропке к лесу, к месту, где почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотанье тракторов. И, поняв в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний, сегодняшний день.

СТЛАННИК

На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц, что достигают зрелости в 300 лет, живет особенное дерево — стланник. Это — дальний родственник кедра, кедрач — вечнозеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в два-три метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях — горного склона. Он мужественен и упрям как все северные деревья. Чувствительность его необычайна.

Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие синеватые, будто в кровоподтеках, тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тих. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланник еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет, тучи бродят где-то за сопками, и на высоком небе вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему...

А стланник — гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута в зеленых перьях. Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланник погружается в зимнюю спячку,

как медведь. На белой горе взбухают огромные снежные волдыри — это кусты стланника легли зимовать.

А в конце зимы — когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, — люди тщетно ждут признаков весны, хотя по календарю, весне пора уж придти. Но день не отличим от зимнего — воздух разрежен и сух и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком слабы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять — этого недостаточно для предсказаний и угадываний.

Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развилась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений-барометров, цветов-барометров известно немало.

И вот, среди снежной бескрайной белизны, среди полной безнадежности, вдруг встает стланник. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны, и веря в нее, встает раньше всех на севере. Зима кончилась.

Бывает и другое: костер. Стланник слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой, рядом с согнувшимся, скрюченным по-зимнему кустом стланника развести костер — стланник встанет. Костер погаснет, и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом.

Нет, он не только предсказатель погоды. Стланник — дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозеленое дерево. Среди белого блеска снега, матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромен и незаметен — все кругом торопливо цветет, стараясь процвесть в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в буйном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы,

полевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланника.

Мне стланник представлялся всегда самым поэтичным русским деревом, лучше прославленной плакучей ивы, чинары, кипариса. И дрова из стланника жарче.

В. Шаламов

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХИ И. А. БУНИНА*

В архиве И. А. Бунина есть небольшая тетрадь со стихами И. А. На первой странице он написал: "Это тоже можно ввести в будущее собрание, вставив куда надо в хронологическом порядке. Ив. Бунин, 1943 г."

В тетради 31 стихотворение. За исключением четырех стихов (носящих авторскую правку и датированных) все это автографы. Большинство стихотворений никогда не были опубликованы, а те, которые когда-то в России или за рубежом были напечатаны, окончательно отредактированы И. А. в 1943 году. Л. Зуров.

*

Снег дымился в раскрытой могиле,
Белой вьюгой несло по плечам,
Гроб в дымящийся снег опустили,
Полотенца пошли копачам —
И сугроб над могилою вырос,
И погост опустел — и гремел
В полумраке невидимый клирос
О тщете всех желаний и дел,
О безлюдной пустыне — и в высь
Улетал над стемневшей деревней,
И огни закраснелись, зажглись,
И собаки попрятались в сенцы,
И в сторожке, за штофом, в дыму,
Копачи, поделив полотенца,
Аллилую кричали — кому?

1888 г.

---

* Эти неизвестные стихи И. А. Бунина присланы нам из его архива Л. Ф. Зуровым. РЕД.

★

Снова я на перевале, в небе.
Волю дам коню,
Лягу у обрыва и на камень
Голову склоню.
Подо мной синеет бездна, море,
Мир там дик и пуст,
А на сини моря, на обрыве —
Горной Розы куст.
И одна мне радость — видеть эти
Красные цветы:
От цветов темней, лиловей краски
Синей пустоты.
И одно в душе моей: за этой
Синей пустотой.....
(Набросок в записной книжке 1900?)**

★

И снова вечер, степь и четко
Бьет перепел в росе полей.
Равнина к югу в дымке кроткой,
Как море дальнее, а в ней, —
Что в ней томит? Воспоминанья
О том, чему возврата нет,
Призыв на новые скитанья
Иль прошлого туманный след?
— Ты, молодость моя, вы, годы
Надежд, сердечной простоты,
Беспечной воли и свободы,
Счастливой грусти и мечты, —
Какой-то край обетованный,
Какой-то вечер в той стране,
"Где кипарис благоуханный
Внимает плещущей волне" —

** Все даты и заметки под стихами написаны рукой И. А. Бунина. *Л. З.*

И ты, заветный и неясный
Неверный друг, кого опять
В тоск в черней жду напрасно
И бу у до могилы ждать.

1900 г.

★

Луна полночная глядит
С пустого неба, пароход
Луне навстречу, бороздит
Лиловый сплав Каспийских вод,
Луна из-за тугих снастей
Зеркальней кажется, светлей,
Под ней, на юг, в дали пустой
Играет отблеск золотой
Как будто рыбья чешуя,
А что за ней? Там тоже я,
Душа моя.

Набросок в записной книжке
Ночь на пароходе в Касп. море.
Июнь 1904 г.

★

Луна над шумною Курою
И над огнями за Курой,
Тифлис под лунною чадрою,
Но дышет каменной жарой.
Тифлис не спит, счастливый, праздный,
Смех, говор, музыка в садах,
А там — мерцает блеск алмазный
На еле видимых хребтах.
Уйдя в туман, на север дальний
Громадами снегов и льдин,
Они все строже, все печальней
Глядят на лунный дым долин.***

1904 г.

*** Стихотворение «Луна над шумною Курою» напечатано в I т. Собр. соч. И. А. Бунина (Москва, 1965), но там помещена первая редакция: «Тифлис под лунною чадрою, но дышит знойною жарой» — «Глядит на лунный блеск долин». *Л. З.*

★

"Отдай!" — И шлепнулся в волну
Рогатый якорь стопудовый,
И цепь, гремя, идет ко дну,
И плавно по волне лиловой
Влечет, качает пароход —
Качаясь, на меня идет
Горбатый берег, весь курчавый
От серой зелени....

Из записной книжки 1910 г.

★

В кофейнях поздние огни,
Раскрыты двери, — жарко.
Местами улица в тени,
Местами очень ярко.
Стена мечети так бела,
Как первый лист Корана,
Ночь так светла и весела,
Что кажется — все рано.
Срединой улицы пойди —
Смех, говор, папиросы —
И пробегают там и тут
Босые водоносы.
Вот свет за створчатой стеной,
Горячий запах хлеба —
А небо с жаркою луной?
Чем не пекарня небо?
А запах пыли? Сколько в нем
Ванили и навоза!

(Не кончено).
Каир. Январь 1911 г.

★

Нет Колеса на свете, Господин:
Нет Колеса: есть ободь, втулок, спицы,
Есть лошадь, путь, желание возницы,
Есть грохот, стук и блеск железных шин.
А мир, а мы? Мы разве не похожи
На Колесо? Похож и ты — как все.

Но есть и то, что всех Колес дороже:
Есть Мысль о Колесе.

25. VII. 16.

*

Иконку, черную дощечку
Нашли в земле, — пахали новь...
Кто перед ней затеплил свечку,
Свою и горесть и любовь?
Кто освятил ее своею
Молитвой нищего, раба —
И посох взял и вышел с нею
На степь, в шумящие хлеба —
И поклоняясь вихрям знойным,
Стрибожьим внукам, водрузил
Над полем пыльным, беспокойным
Ее щитом небесных сил?****

(Во сне, 21. 7. 1916).

(Продолжение следует).

**** Сти отворение это недавно опубликовано в 8 т. Собр. соч. И. А. Бунина (Изд. художе в. литер., Москва, 1965), но там напечатано: «Кто перед нею ставил свечку? В чьем сердце теплилась любовь?» — «Водрузил над полем пыльным, бе покойным убогий символ Божьих сил?» Московской редакцией это стихотворение перепечатано из газеты «Южное Слово» (Одесса, № 98, 13 дек. 1919). *Л. З.*

ТРИ АДРИАТИЧЕСКИХ ГОРОДА

Прежде в Италию ездили главным образом весной. Теперь сюда толпами устремляются летом: щетинить машинами, устилать оголенными телами — для лицезрения, сплошь и рядом, не столь уж и пригодными — ее приветливые берега. Началось это после первой войны; после второй достигло апогея. Нашествия поощряются оплаченными отпусками, которые берут главным образом летом, что и неудивительно: сидеть все жаркие месяцы в духоте большого города тоже не особенно отрадно. «Тоже». Словечко это у меня выскользнуло, хоть и нечаянно, да кстати: отрада летнего отдыха, особенно купального, все тщедушней становится с каждым годом. Бывает и в горах полно, но там ведь предполагаются прогулки, которые скопом совершать не обязательно, а тут извольте среди тел для своего искать местечка, — найдется ли оно, Бог весть.

В былое и недавнее еще время прибрежные города и городки Италии (как и южной Франции или Испании) в самую жару пустели: жители их отправлялись искать прохлады куда-нибудь повыше. Теперь северяне заразили южан новообретенной ими страстью печься на солнце. В результате, средиземноморские берега Европы изменили за последние сорок лет до неузнаваемости свой облик и продолжают его менять со все растущей быстротой. На западном берегу Италии, от французской границы до Ливорно, а затем на юге, под Неаполем, было и прежде много мест, где туземцы и пришельцы строили себе виллы, проводили каникулы, а летом и купались (хоть и без нынешнего фанатизма). На адриатическом побережьи — менее живописном — таких мест было не много, в остальных же, если кто и купался, то скорей тамошняя молодежь или семьи, прибывшие туда отнюдь не издали. От таких старомодных идиллий не осталось нынче и следа. Берега эти плоски и песчаны; пляжи тут — отличные. Они почти без перерыва тя-

нутся от Триеста до Анконы, а потом и к югу от нее. Оставалось только понастроить побольше гостиниц, выделить места для летних лагерей, починить кое-где дороги. Все это и делалось; все это продолжает делаться спешно и без оглядки: лавина растет. Там, за Альпами, особенно в Германии, Голландии, Швейцарии, агентства не дремлют; комнаты расхватываются за три, а то и за шесть месяцев вперед; плата, доступная и тощим кошелькам, часто вносится заранее; всё туда включено, кроме мороженого и папирос. Солнце обеспечено. Натирайтесь чем следует, чтобы не обжечься.

О сицилийском климате древняя сложилась поговорка: четыре месяца рай (два весной, два осенью), восемь месяцев ад (летом и зимой). На адриатическом берегу, теперь, четыре месяца сряду, с середины мая до середины сентября, и рай (если угодно), и ад, а потом — восемь месяцев — пустыня. Не в Триесте, конечно, и не в Анконе, и (кроме как на Лидо) не в Венеции, но на всех этих солнечных песках, молчаливых с осени до весны, пасмурных и бестелесных. Заколочены гостиницы, убраны пестрые палатки и зонты, сиротливо торчат косоглавые раздевалки, лодки вверх дном, лимонадные будки, и только на поблекших плакатах сияет лубочное солнце и невозможные красотки тщатся нас обольстить прошлогодней наготой. На все это насмотрелся я из вагонного окна, когда решил в начале апреля посетить еще невиданную мной Анкону и два других прибрежных городка Пе́заро и Ри́мини, где точно также мне еще не случилось побывать.

* * *

С Анконы и начал, проследовал туда без остановок из Болоньи, минуя Римини, где поезд начинает идти вдоль моря, минуя Риччионе, Каттолику, Пезаро, Фано, Сенигалью, все места известные, агентствами учтенные, но имена которых как никак звучат по разному: Риччионе и Каттолика ни о чем кроме купанья не оповещают, тогда как другие занесены в списки Клио, музы истории, да и Мнемозины, матери всех муз. Глянешь из вагона вправо, и все это, в самом деле, хоть и небольшие или совсем маленькие, а все же города, с остатками стен и башен, со старинными зданиями, церквами, черепичными кры-

шами. Глянешь влево, к морю, и никакой тут тебе Сенигальи а все тот же Риччионе; никогда как будто и не кончался: дома все новенькие, хоть уже кое-где и облезлые, — краска облупилась, бетон пятнами пошел; три-четыре улицы параллельные берегу, иногда обсаженные тощими деревцами, и множество пересекающих их под прямым углом; гостиница «Солнце», гостиница «Морской Дворец», гостиница «Прекрасный вид»; вот и кончился очередной риччионе, рельсы приблизились к берегу, отделяет их от морского песка только автомобильная дорога; пристань, плот, досчатый заборчик там, где летом будет лагерь; бобылем на мысу «Пансион Свежий Воздух, полный комфорт, цены умеренные»; паровоз свистит, скоро новая Каттолика или купальная часть Римини, как бы их ни звали; широченная надпись: «Добро пожаловать»; и нигде ни души. Летом тут будет веселее. Но в городках направо, в той их части, что подальше от моря, и сейчас не безлюдно, не скучно: итальянцы так живут, что и не-итальянцу хочется жить их жизнью. Вот рынок среди узких улиц. Как зелень зелена! Как цветисты цветы! Как ярки апельсины и лимоны! Старые камни, сколько в них света и тепла!

Промелькнула Сенигалья. Горы подступили к морю. Слева вдруг, да и справа, цинк, аллюминий, бетон, жесть, проволока. — Туннель. — Мы подъезжаем к Анконе.

Старый это город. Крутого нрава. Не хмурый, но и расплываться в улыбку не склонный, даже на солнце (а оно уже палит). Кроме новых кварталов, весь он вырублен в изогнутой скале, довольно далеко выдвинутой в море и образовавшей гавань. Пользовались гаванью этой с древнейших времен, не только до римлян, но и до сицилийских греков, чьей колонией была Анкона. Легионы отплывали отсюда на Восток. Император Траян тут воздвиг триумфальную арку в память победы на Дунае. Позже, вплоть до XVI века был город морской державой, торговой республикой на подобие Амальфи, Пизы, Генуи, Венеции; затем перешел во владение Церкви. Много воевал, много выдержал осад. Пострадал еще и в недавнее время от бомбардировок и первой, и второй войны. Изуродован был его порт хаотическими сооружениями прошлого и нынешнего

века. Но лицо свое он сохранил, внутренней цельности не лишился. Еще издали, из окна вагона, видишь как он выгнулся по выгибу скалы, как прижался к ней большими темноватыми домами, и только вдали, там, где кончается выгиб, вверху — что-то белое. Догадываешься, хочешь разглядеть, но тут-то (еще до туннеля) как раз и выскакивает на тебя то технократическое чудище.

У вокзала всего проще сесть в автобус; он быстро вас привезет на площадь в центре изгиба, близ моря; оттуда вы отправитесь пешком в ту же сторону дальше, но теперь все подымаясь среди крепко слаженных старых высоких домов, по узким улицам, пересекаемым лежащими ниже глубокими длинными площадями, спускаясь к ним, подымаясь опять, мимо церквей или мраморных лестниц, ведущих к церквам, мимо еще более внушительных и видавших виды дворцов, выше и выше, через верхнюю гордую площадь, круглей других, по лестнице, по другой наискосок, и вот перед вами то белое, что издали виднелось, что с площади у моря вы приметили опять, романская церковь, большая, невысокая, с широкими порталами, с колоннами на лежащих мраморных львах; и вся то она белая, подается вам на площадке, гладкой и белой, как на блюде, сияет нестерпимо под весенним небом с его еще светлой синевой, сияет, светится, изливает свет, — а море издали внизу искрится белизной на синеве... Войдите поскорее внутрь, спрячьтесь в полумраке и прохладе.

Это собор Анконы, Сан Чириако. Начат он постройкой в XI веке. До него тут была базилика VI века, а до базилики храм Афродиты Евплии, покровительницы плавающих на морях. Вид был отсюда чудесный, пока в порту не взгромоздили уродств. Но и теперь море отсюда открывается с трех сторон, а с четвертой глубокие черные провалы среди черепичных крыш показывают путь, который вас сюда привел, — тот путь, что и уведет вас назад, когда вы будете медленно спускаться, с остановкой в том суровом высоком дворце, где теперь греческие вазы, римские мраморы и бронзы; и пониже в другом, где картины, где большая Мадонна Тициана с необъятным вечереющим небом; и еще пониже, в церкви, где его же ночная,

вся в вышину, колдовскою старческой кистью написанная Голгофа; и ниже еще, спустившись оттуда по ступенькам в продолговатый колодезь самой странной из здешних на каньоны похожих площадей. Тут вы остановитесь невольно. Две кошки пробежали. Никого, ни звука: проезда нет. Направо — высокий опять и совсем уже немой Дворец Старейшин, былых правителей, облеченных державной властью. Налево — дома, точно с маской на лице. А за вами — обернитесь — меж двух лестниц (вы спускались не глядя) умолкший фонтан, водоем без воды, у ног огромного грубого, разбитого было, и снова из кусков мрамора сложенного сидячего изваянья. Вы — карлик рядом с его коленом, с его тиарой. Папа Климент, двенадцатый по счету (он этот памятник городу и подарил), тяжело поднимает над безлюдной площадью толстую благословляющую руку. Минута. Еще минута. Вы одни. Молчание.

Переулок, другой; выход к шуму, свету и морю. Вон опять вдали наверху — та белизна. Конец. Попрощайтесь с Анконой.

* * *

Когда стемнело в тот день, я был уже в Пезаро.

Люблю приезжать вечером в незнакомый город, заводить с ним дружбу в полутьме, как бы на ощупь, наугад. От гостиницы Россини (это родной его город, тут и консерватория его имени)) до главной площади недалеко. По сравнению с Анконой здесь ровно, плоско. Улица — прямая; лавки не все еще заперты; местами темно, а местами освещенные витрины; тротуары то́ есть, то́ их нет; прохожих много; идут и навстречу, но больше к площади, не спеша; машины кое-как проталкиваются среди них. Не доходя, на углу — пышный готический, вроде иных венецианских, портал; в стрельчатых нишах святые; все в кружеве резного камня богатое обрамление двери. Вот приоткрыли ее изнутри: э, да там почта. От всей церкви только и остался портал. Скучнейшим фасадом почтамт выходит на площадь.

Она квадратная, очень просторная. В середине круглый бассейн, неярко освещенный электричеством. Дворец налево также освещен отраженным электрическим светом. К счастью, тоже неярким. Это один из самых в своем величии убежденных

и убежденно выражающих это величие коммунальных дворцов Италии. Все равно, воздвигала ли их сама коммуна или одолевший коммуну единоличный властелин, дворцы эти провозглашали могущество города, взятого в целом, его независимость от всех прочих царств и государств, его готовность постоять за себя в борьбе с другими городами. Диву даешься, насколько и ничтожные, по нынешней мерке, города были уверены в себе и в своем праве на самоутвержденье. Наимогущественнейшие державы и неограниченнейшие повелители их не умеют нынче выразить свою мощь так сосредоточенно, сжато и наглядно, как выражал ее любой тосканский или умбрийский городок или как, в середине XV века, выразил ее тут Алессандро Сфорца, которому власть над городом просто на просто уступил за деньги Галеаццо Малатеста, но который все же во имя города, общею с ним волей, построил этот дом, высказав этим не одно лишь свое, а как бы сообща всеми жителями Пезаро подсказанное ему слово. Шесть широких, четких аркад; широкая, гладкая, четко отчеркнутая полоса над ними; пять увенчанных гирляндами монументальных окон; четкий, узкий карниз; гладкая полоса над ним; зубчатое воинственное завершенье. Таков фасад; ему отвечают выверенностью пропорций и высокие внутренние покои, и ничем не украшенный двор, великолепно строгий и простой. Это не крепость, но и не «роскошный особняк», а нечто противоположное особняку: дом, олицетворяющий власть и п р а в о на эту власть, полученное (пусть даже и силой) от горожан, а потому — символ города, символический его оплот. В таких домах или дворцах горожане-граждане воображали воплощенной силу своих мышц и силу своего духа, свою вольность и волю ее защищать. Но чувствовать так возможно было лишь во времена, когда отечества и очаги отстаивались грудью, когда еще не знали оружия, измышляемого людьми, неспособными и муху обидеть, но вполне способными поставлять правительствам, своим или чужим, рецепты для истребления человеческого рода.

Palazzo del Governo, это звучит гордо и сейчас; но помещается тут конечно всего лишь административное управление городом, префектура. Зато не ведет давно уже Пезаро и

войн с Римини или Сенигальей, делит с ними мирно барыши от летнего сезона, в остальное же время пустует только в приморской части, а вокруг площади своей — «народной», как она зовется, или «дворцовой», как ее позволительно было бы назвать — живет, хоть и не широкой, как она, но все-таки живою жизнью сельского, но на село непохожего городка. Погулял я еще вечером, а потом и утром, по его улицам, зашел в музей, посмотрел богатое собрание майолики (Пезаро славилось ею наряду с Фаэнцой и Урбино), потом картинную галерею, «на загладку» оставив главное ее сокровище, большой алтарный образ Джованни Беллини, некогда виденный мной на выставке в Венеции. В центре его — любовно написанный широкий мраморный престол и в его вырезе башнями проросший холм, на фоне которого Христос возлагает венец на главу Марии; по сторонам четыре святых; еще восемь на полях чудесно сохранившейся великолепной рамы, и тут же, внизу семь житийных сцен. Все это светится упоительно-золотистым, тихим, теплым светом. Гляди; гляди и молчи. Унеси с собой из Пезаро благое, миротворное виденье.

* * *

Промелькнули опять за окном Каттолика, Риччионе, сорванная вывеска: «Рай. Мороженое всех сортов». Кое-где кое-что сколачивают или красят: готовятся. Денек так себе. Восемь школьников, косясь на прохладную еще воду и увязая в песке, возвращаются берегом домой.

Римини, Римини... Франческа. Пятая песнь «Ада». Чайковский. «В тот день мы книгу больше не читали» Рраз! Дзынь! С причитанием скрипок и трубным ревом стоя грохнули в тарелки, и повернули их к нам. Звон. Удар. Звон. Удар. Еще удар —

E caddi come corpo morto cade.

Упал, замертво упал. Упал, как падает мертвое тело... Нет, нельзя перевести. И музыкой нельзя. Занавес упал. Занавеса нет; дирижер раскланялся, стихли аплодисменты, потух свет. — Где вы были летом? — В Римини. — Было хорошо? — О, превесело; только знаете, если вы на июль или август, надо

задерживать комнату до Пасхи. Одиночества не бойтесь. На пляже яблоку негде было упасть.

Есть, однако, и еще одно Римини: для историков искусства; да и не для одних его историков. Здесь цвела в XIV веке школа живописи, хоть и «отсталая» сравнительно с Флоренцией и даже Сиеной, но создавшая небольшое число наредкость привлекательных маленьких икон, не столь уж далеких от византийских и наших того же времени, но все-таки иных, благодаря влиянию Джотто, посетившего этот город и работавшего здесь. Лучшие произведения этой школы давно покинули Римини и разбросаны теперь по всему свету. Кое-что, особенно фрески, есть, правда, и тут или в окрестностях; но историк искусства, за незнание этого, студента на экзамене не срежет; если же не будет он знать, что такое Tempio Malatestiano, тогда дело другое: переэкзаменовки ему не миновать.

Здание это — один из важнейших памятников раннего Возрождения, флорентийского Возрождения, потому что строил его флорентийский гуманист, теоретик архитектуры и архитектор Леон-Баттиста Альберти. Строил и — как позже самое зрелое создание свое, мантуанскую церковь св. Андрея — не достроил. Да и не с фундамента начал возводить, а только новое облачение надел — снаружи и внутри — на старую готическую постройку, и даже это свое дело ни с лицевой, ни с алтарной стороны до конца не довел. Получилось все же нечто необычайно внушительное, новое, свое, во всех отношениях характерное; характерное по формам и по смыслу, по истолкованию задачи, о чем свидетельствует уже имя, полученное этим зданием и оставшееся за ним до наших дней. Францисканская церковь эта (теперь она — собор) перестроена была по заказу властителя Римини Сиджисмондо Малатеста; Альберти превратил ее в храм (tempio), не столько в обновленный храм св. Франциска, сколько именно в tempio Malatestiano, храм славы Сиджисмондо и его рода, храм, антикизирующий облик которого вполне отвечает таким же, антикизирующим представлениям об увековеченьи памяти определенного лица, тем самым зачисляемого в категорию полубогов или героев.

Пьеро делла Франческа, в боковой капелле, изобразил крючконосого Сиджисмондо, коленопреклоненного, но в охотничьем наряде и в сопровождении двух борзых, черной и белой, перед св. Сигизмундом, небесным покровителем его. Почти всё скульптурное внутреннее убранство храма связано с именем флорентийского скульптора Агостино ди Дуччио и в значительной части выполнено им собственноручно. Мастер это исключительно музыкальный; его линии поют; можно часами слушать их пенье. Заслушаешься, и потом, одурманенный выходишь на улицу, в яркий ее свет и резкий шум. Квадратный город сохранил форму римского лагеря; улицы его идут параллельно и крест на крест. На одном конце самой длинной и широкой — триумфальные ворота Августа; на другом — мост Тиберия; величественные ворота, тяжелый и прочный мост. А на месте сердца в римском лагере этом — флорентийская мечта о Риме, и ее музыка, уже не римская, и Сиджисмондо со своими псами, и Сигизмунд в замысловатом головном уборе, равнодушно взирающий на него, и эти поющие и певучие пухлые ребятишки, пляшущие в своих узорно развевающихся рубашонках, амуры или ангелы, ангелы или амуры. И тут же все-таки, неподалеку от них, от борзых, от увековеченной на языческий лад возлюбленной Сиджисмондо, тут же в капище славы и угодной амурам, но не ангелам любви — францисканское еще, самим Джотто написанное (так теперь думают и трудно так не думать) Распятие непобедимой силы, такое человечное в своей простоте, такое в своей простоте и человечности больше, чем священное: святое.

Так вот о чем знает, что́ средь стен своих старых хранит некупальное это и небанальное Римини.

В. Вейдле

★

О детстве вспомнить хорошо,
Хотя-б оно и трудным было.
Оно цветным карандашом
В тетради жизни, не чернилом.

Нагнись над нею и прочти
Уже тускнеющие краски.
Да, стерлось многое почти,
Но потому еще прекрасней.

Смотри, как радостно легки
Над крышей крохотного дома
Цветов огромных лепестки
И крылья бабочки огромной!

Пойми чудесный этот взлет!
В рисунке детском неспроста ведь
Все то, что дышет и цветет,
Все мертвое перерастает!

Ведь в лепете карандаша
Под неуверенной рукою
Живет залетная душа
Еще не ставшая земною.

Она привыкнет и врастет
В законы, сроки и границы
И этот легкий, детский взлет
Ей перестанет даже сниться.

И все-же не утрачен он,
Лишь затаился! Скоро, скоро
Тебе он будет возвращен
И с ним ты сквозь последний стон
Вернешься к прерванным просторам!

1967

★

Есть вещи, о которых
Не надо говорить,
Порою даже шорох
Другим мешает жить.

Не говори о звездах,
О странах и морях,
О сожаленьях поздних
И отсиявших днях.

Не говори о птицах
Летящих в южный край,
О девичьих ресницах
Взлетевших невзначай.

А главное, тоскуя
По тем, кто их дарил,
О первых поцелуях,
О них, не говори!

Не говори? О чем-же
Тогда нам говорить,
Чтоб ничего не вспомнить,
Ничем не огорчить?

Молчать? Но ведь в молчаньи
И шопот прежних дней
И вздох воспоминанья
Еще, еще слышней!

1967

ПОЭТЫ

Нет, вы созданы для трагедий,
Не для праздности, не для нег!
Пусть всегда в вас поет и бредит
Неуступчивый человек!

Вспомним всех, для души и плоти
Боль приявших, и стыд, и страх,
Умиравших на эшафоте,
На задворках и рудниках.

Сосчитать их по пальцам можно,
Тех, что умерли не спеша,
Тех, чья повесть была ничтожна,
Песня — все-таки хороша.

Вспомним Блока, Уайльда, Лорка,
Данте, Лермонтова, Шенье,
Всех, что здесь умирали горько,
А иные из них — вдвойне.

Вспомним тюрьмы, суды, дуэли,
Вспомним тех наконец, что тут
С перерезанным горлом пели
И сейчас еще так поют.

Много, много еще их будет
Потому что земля — плоха
И ничто так сердца не будит
Как трепещущий зов стиха!

1967

★

На одной из самых тихих улиц
Дремлющего Царского Села
В годы, что ушли и не вернулись,
Славная гимназия была.

За ее стареющим фасадом
Юные порывы затая,
Мальчики со мной сидели рядом
И зубрили то-же, что и я.

А потом судьба их разбросала,
По винтовке дав им в руки всем,
И так скоро, скоро их не стало
Словно их и не было совсем.

Лишь меня те годы не коснулись
И всегда испытываю стыд,
Что друзья убиты вражьей пулей,
Я-же почему-то не убит.

Отчего судьба меня щадила,
Хоть строга была, но не плоха,
И всего-то лишь благословила
На певучий, мерный труд стиха?

Неужели легкою строкою
Замолю я мой тяжелый грех,
Что и я тогда на поле боя
Не остался, как любой из тех?

Неужели ангел мой когда-то
Для того меня и уберег,
Чтоб невыполненный долг солдата
Искупить я нынче песней мог?

Как пойму я это, что узнаю?
И пускай попрежнему пока
Просит за меня не уставая,
Молит за меня моя строка!

1967

★

Мне сладко думать, уходя,
Что кто-то обо мне заплачет!
Ведь если-б не было тебя —
Все было-бы совсем иначе!

Ну зашептали-бы вослед,
Что вот, мол, сожалеем очень,
Что умер неплохой поэт
(Себя уж исчерпавший впрочем)

И это все. Но потому,
Что ты светло меня любила
И сердцем к сердцу моему
Прильнула на краю могилы —

Не буду только оскорблен
Вот этим хладным сожаленьем!
Мне будет дан твой вздох, твой стон,
Твоя тоска, твое смятенье!

О, если-б я увидеть мог,
Последней милостью богатый,
Твой мокрый, скомканный платок
В ладони судорожно сжатый!

Дм. Кленовский, 1967

СВЯТОЙ МАЛЬЧИК

Что? Вас побрить? Пожалуйста. Садитесь. Я вас поброю. Я вас поброю по-каунасски. Вы знаете как броют в Каунасе? Нет? Так вы узнаете. Гарантирую. И будете довольны. Будьте уверочки.

Минуту. Что? Бритва? О, это та бритва. Второй не найдете.

Слушайте сюда, товарищ. И не вертитесь, как гражданка. Что? Хорошо, я буду брить по волосу. Нет, я не буду брить против волоса. П о, п о. Он меня учит. Слушайте сюда, товарищ. Я на волосах, к счастью или к несчастью, достиг степени архи-академика, маэстро, гроссмейстера. Я знаю у кого в какую сторону растет волос только по одному взгляду. Что? Я говорю мне стоит лишь взглянуть и все, как говорят, в ажуре.

Вы, конечно, проезжий. Сразу видно. Что? Ах, из Москвы. Так сказать, из ц и т а д е л и... Это хорошо. Мы в Каунасе любим представителей цитадели. Что? Беспокоит? Слушайте вы, не морочьте мне голову, как это может быть, если я вас пока только мылью. Понимаете? М ы л ь ю. Э, бросьте. Слушайте сюда. Если вы из Москвы, то вы наверное атеист. А? Ну вот, я же угадал. А т е и с т. Интересно. Но если вы действительно атеист, по убеждению, а не по служебной необходимости, то я вам... я вам расскажу одну литовскую историю...

Минуту. Что? Не-ет, я не Джамбул, просто в Каунасе вообще можно услыхать такое чего не услышишь даже на родине у Джамбула. Гарантирую. Можете быть уверочки. Каунас т а к о й город. Но эту, именно эту историю мы, парикмахера, обычно рассказываем проезжим атеистам. Подчеркиваю, п р о е з ж и м, потому что н е проезжи у на тут н е т.

кажите, товарищ из цитадели, вы что-либо слыхали об отце нгусе? Нет? Конечно, вы ничего о нем не слы али. Откуда вы могли о нем слышать, откуда? Вы же из Москвы, вы же проезжий, и вы же атеист. Минуту. Что? Вам неудобно сидеть в

этом кресле? Слушайте вы, не морочьте мне голову. У меня нет для вас другого. Что? Ах, вы хотите сесть повыше? Пожалуйста, садитесь повыше. Так? Оч нь орошо...

Это уникальная история.

Откровенно говоря, я лично тож отца Ангуса не видал, но Иска Тянучкис, из парикмахерской Каунгоркомхоза № 6, я его вам не рекомендую, но вот Иска его видел. Кого? Отца Ангуса. И Иска сказал, что отец Ангус ч е л о в е к. А уж если Иска сказал про кого-нибудь, что тот человек, то тот уже наверняка ч е л о в е к, потому что у Иски все — з в е р и. Вы понимаете, что я имею ввиду?

Приподнимите голову, я же не сапер и не могу, лежа на животе, видеть, в какую сторону растет у вас волос на кадыке. Вот так. Теперь вижу... справа налево. Что? Слева направо? Ха... он со мной спорит. Слушайте сюда, товарищ. Если я говорю, что ваш волос растет справа налево, то вы можете быть уверочки, что он растет именно так.

Я думаю, что для вас уже не секрет, что я еврей, каунасский еврей, хотя родился я, между прочим, в Житомире. Говорят у меня даже есть акцент, еврейский акцент, когда я говорю по-русски. Что? А, вы не находите. Ха... я вижу вы из деликатных атеистов. Тоже неплохо. Но какой еврей не имеет акцента. И потом какой же он еврей, если он не имеет акцента? А почему, собственно, еврею не иметь акцента, если это его собственный, его родной акцент?

Не беспокойтесь, не беспокойтесь, бритва идет как по маслу. Я говорю она идет по щеке, но идет как по маслу. Что? Правую щеку я уже заканчиваю. В перспективе — левая. Только не шаркайте ногами, у нас, правда, паркетный пол, но видите на стене лозунг: «Береги труд уборщицы».

Повторяю, я еврей. Однако, основное население Литвы литовцы и все они католики. Вы знаете, что такое к а т о л и к? Должен добавить, что они тут ярые католики, фанатичные католики, одержимые католики. Что? Да, да, одержимые...

Так вот, товарищ атеист. Во время минувшей войны отец Ангус был священником в одной из католических церквей в небольшой сельской местности, в горах Литвы. Днем и ночью,

вы слышите, днем и ночью, мимо этого места немецкие фашисты, эти изверги человеческого рода (вы не согласны?) провозили на грузовиках в лес евреев и расстреливали их там из пулеметов. Да, да, да, из пулеметов.

Что? Опять беспокоит? Э, бросьте. Бритва Золинген. А знаете кто в Золингене варит сталь? Сам папаша Круп. Я повторяю, в лесу евреев расстреливали из пулеметов. Да, да, да, из пулеметов. Что? Что дальше? Слушайте сюда и вы узнаете что дальше.

Как-то ночью, я говорю ночью, не днем, а ночью, отец Ангус не выдержал и тайком пробрался в лес. Перед началом экзекуции. Вы знаете что такое э к з е к у ц и я ? Представляете себе: католический священник, в длинной черной рясе, в лесу. А? Когда взошла луна, отец Ангус стал свидетелем одного из этих ужасных, незабываемых злодеяний, уничтожения ни в чем неповинных и беззащитных людей...

Что? Вы мне сочувствуете? Почему именно мне? Ах, понимаю, потому что я тоже еврей. Спасибо. Но вы бы лучше поймали этого Бормана. Не можете? Я тоже. И не дергайте плечами, как в свое время ими дергал Мацист.

Так вот я не могу говорить о внутренних переживаниях отца Ангуса, католического священника, но когда немцы уехали, не зарыв даже ров, где лежали убитые, отец Ангус приблизился к этому рву и услыхал в тишине ночи плач. Что вы моргаете? А, мыло... Прошло? Хорошо. Представляете: отец Ангус, лес, ночь и плач...

Минуту. Я не трогаю вашего носа. Причем тут нос. Скажите, пожалуйста. Если бы еще у вас был нос. Кстати, рекомендую от перхоти шампунь «Кармен».

Кто же это плакал, по-вашему?

Еврейский мальчик. Да, да, да, еврейский мальчик. Лет девяти-десяти. Его мать, когда их выстроили в ряд и дали по ним очередь из пулемета, как предполагает Иска, заслонила своим телом и падая накрыла его собой. М а т ь. Во всем мире мать это мать. Не перебивайте меня, вы, атеист. Он был жив и невредим, этот еврейский мальчик. Да, да, да, он был жив, он лежал на земле под теплым еще трупом убитой женщины. Он

лежал и плакал. Что он мог делать кроме этого? Он плакал...

Что? Еще бы! Трагическая история. А сколько было таких трагических историй, товарищ из цитадели? Моих двух сестер и моего старшего сына, Додика, тоже расстреляли эти изуверы...

Я на вас капнул? Извините. Одна только слеза. Старая рана. Но я уже не переживаю. Нет, нет, я уже не страдаю. Я уже привык. У меня уже камень вместо сердца.

Но слушайте сюда. Отец Ангус, хотя он и католик, вытащил мальчика из-под тела матери, обласкал его и сказал ему: «Бог спас твою жизнь. Ты должен жить».

Знаете, что он сделал потом? Нет, вы, конечно, не знаете, что он сделал потом. А я знаю. Подождите, не торопите меня. Вы что, работаете на железнодорожном транспорте? А? Нет, потом, под покровом ночи он привел мальчика к себе в церковь. Представляете. Он привел еврейского мальчика, иудея в к а т о л и ч е с к у ю церковь. Минуту. Он умыл его, он накормил его, он почистил его одежду и, прежде чем уложить спать, он сказал ему: «Слушай, Хаим (мальчика звали Хаим), у тебя оттопыренные уши и мышиный нос, но это не беда. Я скажу своим верующим, что ты литовец и они поверят мне, я скажу им, что ты забрел к нам в горы случайно, что у тебя погибли родители и что ты н е м о й». Вы понимаете, что сказал отец Ангус? Немой. Немой мальчик. Отец Ангус сказал: «Ты должен забыть на время свою родную речь, Хаим. Если мои селяне узнают, что ты еврей, они... они слишком фанатичные католики. Это опасно. У нас ведь разные веры...»

Так Хаим, по совету отца Ангуса, лишившись своего еврейского языка, стал служкой в католической церкви. Да, да, да, служкой. Вы знаете, что такое служка? Он зажигал свечи, он подносил прихожанам крест, он даже подавал отцу Ангусу Библию. Б и б л и ю. Разв это не символ? Нет, это вам не «мирное сосуществование», это символ.

А ночью, устав за целый день молчать, аим распевал в пустой церкви еврей кие песни. Представляете? А? В католической церкви еврейские песни, может быть, даже Фрейлегс.

Я вас спрашиваю: разве это не символ? И если это не символ, то я вас спрашиваю: что такое символ?

Закусите нижнюю губу, я брою ваш подбородок. Не так... Ну, как сладострастный павиан. Вот так. И не дергайте опять плечами, как в свое время ими дергал Мацист. Перестаньте!

Вас, конечно, интересует развязка. Всех атеистов в этом месте начинает интересовать развязка. Они народ торопливый, преимущественно железнодорожники. Кто они? Вы, вы, атеисты... Хорошо, я вам дам развязку.

Однажды, в свободное от церковной службы время, когда Хаим играл с литовскими детьми в какую-то деревенскую игру, в салки что ли, на берегу быстрой и достаточно глубокой реки, что-то случилось, мальчики поссорились, знаете как бывает среди них и почему-то набросились на Хаима. Завязалась драка. В результате Хаим оказался в реке. (Как говорят у нас: потянул локш). Обычная детская история. Да, но Хаим не умел плавать. Он никогда в жизни не плавал. Вам это кажется странным? Почему? Честно говоря, я тоже никогда в жизни не плавал, хотя мне уже за семьдесят... А знаете, что бывает с тем, кто не умеет плавать и попадает в глубокую реку? Знаете? Он просто начинает тонуть, захлебываться и тонуть.

Повторяю, Хаим начал тонуть. Однако, он, разумеется, не хотел тонуть и тут, забыв о том, что он немой, Хаим стал кричать, употребляя все известные ему слова, еврейские, литовские, немецкие, русские, словом все, все. Он звал на помощь!

Вы спрашиваете: что было потом? Ха... что было потом?

Потом прохожие, селяне, те, которые находились на берегу и те, которые стояли на мосту, всполошились. Вы слышите, всполошились. Нет, нет, не потому, что Хаим тонул, а потому что Хаим заговорил. Вы слышите, немой з а г о в о р и л...

Минуту. Не болтайте глупостей. Как же они его не спасли. Конечно, они его спасли, но прежде на берегу и на мосту возник отчаянный крик:

«Святой! Святой мальчик!»

Этот крик разнесся по всей окрестности. Ну да, они же, люди, считали Хаима немым, а он вдруг взял да и заговорил. (Не важно на каком языке, важно, что заговорил). Случилось чудо.

Ч у д о ! А вы знаете, вы, атеист, как человек, нормальный человек, не атеист, нуждается в чуде? Вы это знаете или вы этого не знаете? Минуту. Не перебивайте меня!

Хаима подняли на руки и понесли к церкви. Здесь собрались все жители деревни. И все кричали:

«Святой! Святой мальчик!» А?

А Хаим, этот несчастный евреиш, случайно уцелевший во время расстрела в лесу, спасенный отцом Ангусом и во второй раз спасенный католиками на реке, дрожал от страха и, конечно, не понимал, что вокруг него творится.

Что? Я сам подхожу к отцу Ангусу. Нельзя же все сразу. Я вам даю развязку по частям. Терпите, железнодорожник. Когда отец Ангус узнал о случившемся, он вышел к исступленному народу, да, да, да, я повторяю, исступленному, потому что он был исступленным, знаете, как на древних картинах с Христом, поднял руку и сказал:

«Этот мальчик еврей. Не прикасайтесь к нему. Вы католики. Он иудей. Но Бог даровал ему жизнь...»

И потом отец Ангус рассказал своим прихожанам все, решительно все, он упомянул даже о том, что Хаим распевал по ночам в пустой церкви еврейские песни, может быть, и Фрейлегс.

Толпа селян замерла, стихла, оторопела. Было слышно, как в груди у каждого стучало сердце. Откуда я знаю? Ну, я выразился фигурально. У меня, знаете, тоже есть немного фантазии. Но то, что у них в груди билось сердце, так за это я ручаюсь. Это я гарантирую. Толпа шарахнулась от Хаима в сторону, как от прокаженного. Вы слышите, как от прокаженного. Кто-то выкрикнул проклятия в адрес отца Ангуса. Да, да, да, отца Ангуса. Кто-то из безумцев даже схватил камень и хотел бросить его в отца Ангуса. Да, да, да, в отца Ангуса. Но сосед успел остановить его. Люди негодовали. Католики кипели так, как могут кипеть только католики. Отец Ангус совершил преступление, он совершил преступление против веры. Но каждый в эти минуты невольно думал: совершил ли отец Ангус преступление? Преступление ли сохранить человеку его жизнь независимо от того, литовец он, русский или еврей? А?

Что? Нет, я не вас спрашиваю. Я рассуждаю. Имею я право рассуждать или как? Атеистам это не положено? Знаю.

И паперть опустела. О п у с т е л а. На ней остались только отец Ангус и Хаим.

Однако, ночь прошла спокойно. В немецкую комендатуру никто не донес. На следующий день отец Ангус ждал: придет ли его паства в церковь на службу или не придет? Вот какой вопрос был перед отцом Ангусом. Придут люди или не придут?

Вас интересует уже не развязка, а финал, так сказать, то, что выдают «под занавес». Понимаю. Я вижу вы перестали дергать плечами и у вас блестят глаза, как у человека. Ничего себе атеист. Может быть, вы все же атеист по необходимости? Или, может быть, вы член ССП? А? Что? Минуту. Я это к тому, что здесь в Каунасе, на нашей орденоносной киностудии, уже пытались «создать» на этом материале «боевик», «Войну и Мир». Так что, если вы писатель, который любит, как это говорят, отталкиваться от жизни, или лучше сказать, подхватывать бесплатные сюжеты, то н е н а д о. Не надейтесь. Этот сюжет Москву не устраивает. Я вам говорю: н е устраивает. Запретили. Кто запретил? Такой атеист, как вы, может быть, а может быть, вы и не такой. Извините. Может быть, вы атеист с душой? А? Бывают ли атеисты с душой? Вот вопрос...

Что? Компресс? Получайте компресс. Не высовывайте носа, дышите прямо в компресс. Хорошо? Ай, не делайте вид, что я подвергаю вас пытке. Горячо? Это хорошо, что горячо. В ушах выстречь? Я говорю, в ушах, в ушах... Пожалуйста. И брови поправить? Можно и брови. Попудрить? О, вы таки любите п р о ц е д у р ы. И кадык? И кадык попудрю, будьте уверочки.

Минуту. Что? Ах, вас интересует финал. Вас все же интересует финал. А если я сделаю небольшую паузу «под занавес»? А? Ха...

Не возражаю. Это верно. У меня, конечно, деспотический характер. Я не очень церемонюсь с клиентами. Одного, 25 лет назад, я даже вышвырнул из кресла. Было. Но ведь теперь я уже стар и потом многим это нравится. Что? И вам? Спасибо.

Очень приятно. Должны же быть и парикмахеры-деспоты. Что, нет?

Платите в кассу 75 копеек, но имейте ввиду, что я вас побрил на рубль.

А что касается Хаима и отца Ангуса, вернее вопроса, который я поставил, то-есть, пришли ли верующие на следующий день в церковь или не пришли, то я вам скажу, что мне сказал Иска Тянучкис, а Тянучкису это сказал сам отец Ангус.

Пришли!

Что? Вы не верите в достоверность этой истории? Что? Красивая байка?

Слушайте сюда, товарищ из цитадели и зарубите это у себя на кнопке. (Разве у вас нос?) От т а к о й байки в один прекрасный день кончится многоуважаемая советская власть, то-есть, ваша власть, товарищ атеист. Извините, но мы в Каунасе иногда говорим правду...

Юрий Кротков

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ

Да ты меня не тискай-та. Стыдно. Люди вокруг. Хоть и командировочные, а люди. И не спаивай-та, я уж и так под хмельком. Достаточно. Знаешь чего? Давай закажем еще шашлычку. А? Эй, официант! Слушай-ка, два раза шашлык по-карски. Добавочные. Не наелись мы.

Дыра этот ресторан — «Восточный». Шалмаан. А накурено-та. Топор вешай. Лучше бы поехали в «Балчуг», там, говорят, слепые музыканты играют. Интересно. Правда, «Восточный» одну примечательность имеет. Нет, две. Первая, что тут рядом кинотеатр «Повторного фильма». Я иногда смотрю картины с Глупышкиным. Слыхал о таком? Смеху-та! Вторая же, что тут рядом наш циклоп. Ц и к л о п. Знаешь это чего? Нет... Это мы так называем наш дворец на Тверском бульваре. Машину нашу. А машина-огого, будь здоров! ТАСС при Совете

министров СССР.* Да, я «тассовка»... Ну куда ты, куда под юбку полез... Неудобно. Люди.

А знаешь чего? Ты очень смахиваешь на начальника нашей пожарной охраны. Молотьба его фамилия. Нос как Греция на географической карте, глаза запятыми, а челюсть лошадиная. Молотьба и только. Ты не обижайся-та. Ты кто?

А... скобяными таварами торгуешь. Где? На Землянке. И то дело. Торгуй. Главное, чтобы деньги были.

Знаешь чего? Давай еще потрепимся. Нет, меня не интересует, как ты там деньги гребешь. Гребешь и греби. Я люблю вообще потрепаться с мужиками до того, как в кровати за баловство браться. Интересно. Такая я уж...

Да нет, я не выколупливаюсь, я из себя интеллигентку не корчу. Я тебе это просто так, как человеку говорю. Чего мне скрывать, проститутка я. Это факт. Как там не пой, а проститутка. Ты что глуховат что ли? Я говорю, как там не пой, — не не пей, а не пой. Ну вот. Да, проститутка. Могу об этом хоть тысячу раз повторить. Если беру с мужиков деньги за баловство, значит п р о с т и т у т к а. Это у самого товарища Карла Маркса в «Капитале» сказано. Прибавочная стоймость. Орудия производства и все такое. Я подрабатываю телесами. Все время твержу: проститутка ты, Клавка, как прежде выражались, шмара, шлюха, хоть и семилетку и курсы машинописи окончила. Вот смотрю иной раз на себя в зеркало в нашей коммунальной ванной на шестнадцать квартировщиков, а зеркало у нас блеск, старинное, без криви, потому что в доме нашем раньше баре жили, и говорю: проститутка ты, Клавка, как прежде выражались, шмара, шлюха. Вот разденусь в ванной, разглядываю свое тело, и оттудова, и отсюдова, вижу — ничего — грудь торчком, ляжки розовые, словом, девка в соку, не зря вы, мужички, клюете-та, и говорю: проститутка ты, Клавка, проститутка. Это правда. Как там не пой, а правда. Я деньги беру. Вот и с тебя, Молотьба, возьму. Такса: десятка. Красненькая. Тебя ведь П о л ь предупредил. Расчет в конце.

Одно утешение, не опостылели вы мне еще, мужики. Я вас

---

* Телеграфное агентство Советского Союза.

люблю. Такая уж я. Люблю и все. Это кроме денег-та. Вы ведь разные бываете. Одни сразу в постель волокут, торопятся, точно сроду и женщин не видели. Другие, аккуратисты, даже не целуют. Третьи... как ты, например, в ресторан тащут. Им выпить надо. А ты еще видно лапать любишь. Бывает. Каждый по-своему баб применяет. Попадаются и рыцари.

Но скажу тебе честно, я по ресторанам не шляюсь. Да и нельзя мне. Не к лицу. Я ведь «тассовка». Из ТАСС'а стало-быть. Наблюдают. Ну, если вот иногда... Нет, сослуживцев своих я не боюсь. Они в «Восточный» не ходят...

Ну, постой ты! Опять тискаешь... Ох, от тебя водкой разит-та. Знаешь чего? Вот и похож ты на Молотьбу, и торгуешь ты скобяными товарами на Землянке, а все же есть же у тебя чего-либо в голове, в мозгах, то-есть. А? Давай еще потрепимся...

Про чего я начала-та?

Да, как там не пой, а проститутка. я. Однако, товарищ Молотьба, я ведь необыкновенная. Во-первых, я с о в е т с к а я проститутка, а это знаешь чего? А это особый, как утверждает П о л ь, статут. С т а т у т. Вот чего. Вот есть там парижские, лондонские или мадридские. А я нет. Я с о в е т с к а я, ну и московская, столичная, стало-быть. В чем разница? Есть разница, Молотьба, есть. Лондонская или мадридская о д н у профессию имеет: проститутка и все. Одним делом занимается: с мужиками, за деньги, по ночам спит. А я советская и потому мне без совместительства не обойтись, потому я два дела имею: днем работаю на нашу любимую советскую власть, восемь часов вкалываю, как машинистка, в ТАСС'е, а ночью с мужиками сплю. Это, выходит второе дело-та.

Ты не смейся! Чего гогочешь? Я что вру что ли... Я же с тобой, как с человеком. А ты гогочешь. И зубы у тебя коричневые, в никотине что ли, или гнилые?

Чего-чего? Бесстыдник ты, я погляжу. Слова-та какие употребляешь. О-ох, и ногу отдавил, балда!

Знаю я твои слоновьи нежности...

Ну, ладно, ладно. Про чего я говорила-та?

Да... ты вот гогочешь. А знаешь ты, чумак ты этакий, что

мне на мою зарплату не прожить. Не прожить. У меня мать старуха и двое клопов. Муж? Нету мужа... Ну это тебя не касается. Да что я одна, что ли проституцией занимаюсь? Пол-Москвы тело продает. Разница вся в цене. Да, да, в цене.

А знаешь чего? Я ведь на улице клиентов не цепляю. Я только по звонку П о л я. Я ему рупь плачу. Но зато чисто. И спокойно. По рекомендации-та. Да и я не жадная. Так, пяток, или десяток мужичков в месяц, мне достаточно. Концы с концами свожу.

Ну вот. А во-вторых... а во-вторых, нет, ты сначала поклянись, что это будет между нами.

Ах ты, чумак проклятый, куда руку суешь? Когда клятву дают руку поднимают кверху. Так. Слово? Могила? Это ведь тайна, что я тебе сейчас скажу. Тайна. И ты никому ни гу-гу. Ну-ка приблизь-ка ухо.

Во-вторых, я ведь з а с е к р е ч е н н а я проститутка. Понял? Нет... Да нет, не в том смысле, что я занимаюсь проституцией секретно, хотя я ею и занимаюсь, конечно, секретно. (Я же сказала, что на улице клиентов не цепляю). И не в том смысле, что я проститутка-доносчица. Нет, в том смысле, что я д о п у с к имею. Понимаешь? Нет... Сразу видно, что ты торгуешь скобяными товарами на Землянке. Тебе допуск, разумеется, ни к чему. Ох, и лопух ты...

Да ведь у нас в государственных учреждениях, в важных, в самых важных, в основном секретная работа. И вот те, которые ею занимаются, должны иметь допуск, то-есть, быть засекреченными. Ну как в военное время на оборонных заводах. Короче, это значит, что надо пройти через соответствующую инстанцию. Ну, через КГБ.

Да ты не пугайся. Я знаю, что вы, которые торгуете скобяными товарами, побаиваетесь КГБ. А я прошла. Анкеты. Фотографии. Поручительства. Три месяца тянулось. Прошла. И оттудова, и отсюдова. Прошла и все. Теперь мне секреты доверяют. Я печатаю бюллетени ТАСС'а с грифом «Совершенно секретно», и даже «Литер А». Понял? Ну вот, слава-та Богу. Допер. Эх ты, землянка! А знаешь сколько у нас таких бюллетеней каждый день печатается? Одиннадцать. И все-та для пра-

вительства и ЦК. Для верхов наших. С фельдсвязью в Кремль и всякие такие места идет.

Чего? Чего в них помещается? В ком это в них? А, в бюллютенях. Как чего? Секреты. Самые что ни есть секреты. Вот, например, чего о нашем вожде № 1 или № 2 написала вчера парижская газета «Фигаро», или чего передало радио «Свобода» о бывшем полковнике КГБ Лубцове, удравшем в США, или о том, что было написано в журнале «Ньюзуик» о наших выборах в Верховный совет. Там один журналист выразился, что, мол, это у нас марионеточное представление. Так таки и выразился. Представляешь?

Что-что? Ну, ты просто дуралей, Молотьба, просто олух и все. Ты говоришь: какие же секреты то, что было напечатано в западных газетах. Да ведь именно потому, что то напечатано в западных газетах, то и становится секретом. Для вас, рядовых, конечно. Вождям-та нашим это читать можно. И нам, засекреченным, дозволяется, потому что мы профильтрованы и оттудова, и отсюдова.

Нет, я не в партии, но придется вступить. Пока я держусь за комсомол. Но заставят и в партию записаться. Заставят...

Слушай-ка, чумак, хочешь я тебе расскажу, что я сегодня поутру печатала. Интересно. Нет, нельзя. Это же по «Литеру А» шло. Нет, не могу.

Ага! Вот и шашлык наш карский подоспел. Так... Ну что ж, как там не пой, а придется, пожалуй, тряхнуть водочки еще чуток. Ты как думаешь-та?

А шашлык ничего. Подходящий... Ну, бывай здоров, Молотьба. Зажмурилась. Поехали!

Ладно, так и быть, расскажу тебе, что я сегодня поутру печатала. Но ты давай ешь, ешь. Ты ешь, а я тебе расскажу, только в полголоса, негромко, чтобы за соседним столиком не услышали. Понял?

Э , такая я девка. Лихая. екр ты государственные клиентам выдаю. А чего? Это же всем интересно. Вот я своим мужичкам, до баловства, или после, и рассказываю кое-что из тассов-

ских бюллетеней-та. Просвящаю. А чего? Скажешь, преступление? Ну, а как же жить на свете без преступлений-та? Скажи, как? Да ведь без них скучища будет. Да ведь мужички мои дело свое сделают и на боковую, спать. А я им и говорю: «Стоп! Получи-ка порцию секрета!» Они и глаза таращут, когда эти секреты узнают. И вроде наши отношения оттого человеческими становятся. Ну, правда. Мы даже иногда спорим, если какой интеллигентный попадется, о политике говорим. Не одно же скотство на свете существует. Так что секреты в нас б л а г о р о д с т в о пробуждают. Ну, правда. Да и от того сама себе я начинаю казаться получше. Ну, правда. Меня один так и назвал: «Баба с секретами», а другой: «Б.... с допуском».

Нет, люблю я, люблю секреты рассказывать.

А шашлык ничего. Приемлемый.

Ты ешь, ешь. Но вот, раз, напоролась я. Попался мне, по рекомендации П о л я, чекист, кагебист, люксовый. Майор. И имя-та какое: Реджинальд. Запомнила я. Такое не часто встретишь. Красавец. Одет с иголочки. Все заграничное. А мужик... сказка. Он меня форелькой называл. Я даже втюрилась. Честное слово. Ну и, конечно, после баловства начала ему секреты выдавать, да и самые что ни есть секретные. А он как на меня набросится. И оттудова, и отсюдова. Я, говорит, сейчас тебя арестую и посажу на десять лет, со строгой изоляцией, за разглашение государственных тайн. (Я ему сказала, что работаю машинисткой в ТАСС'е). Да только я ведь не дура тоже. Я ему в ответ, арестуй, сажай, а я на допросе все насчет тебя заявлю, как ты со мной разные фортеля выкидывал, и оттудова, и отсюдова, и насчет купания в ванной расскажу, и что вот мы с тобой на «оперативной» квартире КГБ, которая предназначена для конспиративных встреч со шпионами, «озорничали». Думаешь, я всего этого не понимаю, говорю. Нет, я не дура. А секреты разбалтываю, говорю, просто потому, что у меня сердце есть, потому, что очу чтобы людям-та на свете жилось повеселее. А с секретами, все же, повеселее... А он мне и говорит: а может быть, я нарочно с тобой эти фортеля выкидывал, может, это мо дело, может, я между вами чего вынюхиваю. А я ему в ответ: зачем же голяком на лестничную клетку-та выходить, и там

скотством заниматься, если вынюхиваешь? Он скис. Отступился. Разошлись по-хорошему. Условились так: мне помалкивать в меру возможности и посторонним секретную информацию не пересказывать. А ему на меня не ка́пать.

А знаешь, чумак, мы с ним, с Реджинальдом-та, после этого еще не раз встречались. Опять же на «оперативной» квартире. И знаешь чего? Он сам просил меня выдать ему пару секретов, учитывая, что он майор КГБ. Он, главным образом, просил чего-либо о наших вождях-та. Я даже решила, что хоть он и люксовый, а допуска к секретным бюллетеням не имеет. Ну и выдавала ему про вождей. И про № 1 и про № 2. И скажу тебе, Молотьба, между нами, конечно, по-моему, он, Реджинальд-та, наших вождей того... не «кохает»...

Это верно, кто их, пентюхов мордастых, «кохает»?

Ты ешь, ешь. Вот хоть и дала я обещание Реджинальду-та, люксовому-та, помалкивать, а трудно. На языке зуд. Креплюсь, конечно. Сама понимаю, что опасно это, что вроде как с огнем играю. А не могу. Нравится мне опасность-та. Люблю когда дух захватывает. Да в иной момент не выдержу и расскажу коечто, и оттудова, и отсюдова. Рискую, конечно. А что же делать-та? Люблю я, люблю говорить мужикам того, чего они не знают. У мужиков глаза такими становятся, как у тараканов. Да и сама я, я уже сказала, поважнее становлюсь... Приятно это.

Знаешь чего? Только ты никому ни гу-гу. Понял? Так вот... сегодня утром я печатала о том, что по сообщениям из достоверных источников, одна королева, уж не помню какая, я их завсегда путаю. Словом, одна из них, неожиданно для своей общественности, взяла да и бац... забеременела. Вот скандал-та! Об этом в парламенте дебаты начались. Да, да, это вроде как народное бедствие... Ситуация, я тебе скажу...

Это у нас шло в бюллетени под «Литером А». Самый секретнейший. Количество копий не то двадцать, не то двадцать пять. Под номерами. Так что ты, чумак, не болтай. А то и сам влипнешь и меня за собой потащишь... Понял?

Эй ты, лопух... да ты никак спишь?

Спит... Эй, Молотьба!

Вот балда-та. Взял проститутку, повел в ресторан, лапал, да и уснул, когда она ему секреты государственные начала открывать. Это первый мне такой попался. Я ему про королеву, про беременность, а он носом шмыг и дрыхнет. Большинство моих клиентов от моих секретов, наоборот, про сон забывают. А этот... Не зря я говорю, что мужики-та все разные, разные...

Ну ты, торговец скобяными товарами, пробуждайся. Слышишь-ка. Плати деньги официанту и поехали. Бай-бай. Как там не пой, а у нас с тобой целая ночь впереди. Ведь на ночь договаривались. Уж позабавлю я тебя. Приласкаю. Ты в жмурки играть умеешь? Чего? Не знаешь чего это. Ладно, я тебя научу. И оттудова, и отсюдова. Вспоминать меня будешь.

Ну, ну, давай плати и поехали.

Увалень, честное слово, увалень.

Слушай-ка, только ты про то, что я на секретной работе и про то, что я допуск имею, и вообще про наш циклоп, никому ни гу-гу. Понял?

Ю. Кротков

★

Чем синька синее,
Белее белила,
Тем радость сильнее
Логической силы.

Но серая белка
И алая роза
Для логики мелкой
Большая угроза.

А стих не боится
Зеленой черники,
И пестрой синицы,
И бледной черницы.

Он примет на веру
Цветные чернила,
И желтую серу,
И слабую силу,

Хоть смотрит с опаской
И смехом теперь
На черные краски
И красную чернь.

ПОЭТ, ХУДОЖНИК И ЧИТАТЕЛЬ

Поэт:

Как переменны речи наши:
За шесть веков — отрезок малый! —
У нас «Не лепо ли ны бяшет»
Становится «Начнем, пожалуй».

У слов подвижны габариты,
Тона, каноны и орнамент.
Для нас дуплет «поэт-пиита»,
Как для зоологов «слон-мамонт».

Червленый обратился в красный,
Скудель дошла до каолина,
А вы все те же трете краски
И месите все ту же глину

Художник:

Но как стареют речи ваши,
Как все концы уходят в воду!
Ну кто «Не лепо ли ны бяшет»
Поймет теперь без перевода?

Скажите, разве вам не грустно,
Что труд поэта скоросмертен?
У нас подвижно лишь искусство —
Материал у нас инертен.

Не знают смены поколений
Оттенки, линии, объемы,
А слову угрожает тленье.

Поэт:

Конечно: как всему живому.

★

Ветер поземкою поднял песок,
Свистнул в расселину наискосок,
Чайки заахали наперебой,
Грохнул о берег трехрядный прибой.

Умыслом? случаем? самое лучшее
Создано было из шума трезвучие.
Эта удача едва отзвучала,
Поиски начало море сначала.

СВОЕВОЛЬЕ?

Свое-волье? Скажите-ка,
Это чье же свое?
Растолкуйте, политики:
Наше? ваше? мое?

Революционеры,
Признавайтесь, пора ведь:
Нашеволье — для веры,
Вашеволье — чтоб править.

Нашеволье лишь термин,
Что годится для фразы,
Бьющей прямо по нервам
Массы, классы и расы.

Но как семя для поля,
Как истоки для устья,
Так в любви — твоевластье,
Моеволье — в искусстве.

СБИВШЕМУСЯ С ТРОПЫ

Когда на выжженной скале
Ты встретишь ночь в упор
И холод спустится — во мгле
Раскладывай костер.

Клади в него весь мох сперва,
Которым ты оброс,
Все палки, что из озорства
Совал промеж колес.

Все щепки, что летели врозь,
Когда ты лес рубил,
И сучья все, что на авось
Ты под собой пилил.

Сор из избы (хоть и давно
Ты выносил его),
Труху из сердца, и бревно
Из глаза своего.

Н. Моршен

АННУШКА

Калитка — две сосновых перекладины, связанные проволокой — была широко открыта. Коров грузили на грузовичок соседа и они жалобно и однообразно мычали. Перед домом зеленый луг. Сосны на противоположном холме казались мрачны по сравнению с ядовито-салатной зеленью. Кудахтали куры, стесненные в клетке. Из семи кошек осталось три, жавшихся по углам, остальные разбежались.

Хозяйка фермы, Аннушка, маленькая, ладная, с распухшим от слез лицом и растрепанными волосами, все еще, как будто, продолжала остановившуюся жизнь. Ей было страшно неведомое, к которому шли они теперь только вдвоем с мужем: свекровь умерла почти накануне переезда. Аннушка плакала, по-детски глотая воздух, не утирая бегущие слезы.

— Ну, что? Все готово? — спросил Никита, по-хозяйски оглядывая узлы и чемоданы. — И перестань реветь! Прекрасно знаешь: здесь мы больше оставаться не можем. Едем не на чужое, на собственную землю! Помещицей будешь!

— Да ведь там дичь несусветная. Ни одного огонька из окна не видать! Пустыня!

— А на что тебе огоньки? Много ты здесь людей видела?

— Видеть не видела, а знала, что вот рядом люди.

Никита с досадой махнул рукой. Сколько вечеров прошло в спорах. Женщину не переспоришь. А сам был счастлив. Наконец-то, будет дома. Земли много и далеко от «проклятой цивилизации». Можно жить, как жили прадеды.

«Сколько земли! — думал он с жадностью земледельца. — Какие просторы, лес, высокогорные плато! — ему особенно нравилось это слово и он часто е о повторял. — Коровы не будут на загороженном лугу. И даже часовня есть на скале, как у всякого «шателена». — Слово «шателен» нравилось еще больше. Своеобразный романтизм был всегда свойствен Ни-

ките в противоположность Аннушке, которая не хотела принимать желаемое за существующее. Никитины «высокогорные плато» были для нее у енькими крутыми террасами, на которых скот только ноги переломает; «часовня» — жалкой развалиной, где даже алтаря не уцелело, а дом, в который предстояло переселиться, напоминал скорее кавказскую саклю из песни «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя!» До первой лавочки — километры, хлеб привозят раз в неделю и, конечно, продавший землю итальянец надул легковерного Никиту. Она была в отчаяньи, но переупрямить мужа не решалась: потом еще попрекнет, что был единственный случай и вот, из-за нее, не удалось... «Бог с ним», думала она, и мирясь и протестуя одновременно.

Но сейчас и протестовать было уже поздно. Все уложено. Едем! И тут она опять зарыдала, оглядывая стены старого жилья.

Сюда она вошла молодой женой. Свадьбу праздновали у ее матери, а потом Аннушка и Никита, радостные, нарядные, она со своим свадебным белым букетом, он с ее небольшим чемоданчиком, шли по деревенской дороге навстречу совсем не легкой жизни. Но тогда их было трое и свекровь не мешала, а скорее сглаживала и первые ссоры, и безденежье.

— А ты уступи, уступи мужу, — учила она ее. — И раз, и два уступи, а там и он смирится, тоже уступит. И будете жить мирно, как надо.

Так и вышло и беспомощный и упрямый Никита всегда носился с неосуществимыми мечтами и критиковал соседей: — Куда им до нас, разве так ведут хозяйство! — А у соседей все выростало во-время, люцерна до пояса, пшеница на диво, а у Никиты поля от засухи погорели — запоздал с посевом. Но тощая касса в руках Аннушки и она справляется. Осенью по грибы ходит, насушит, насолит; руки спорые и ловкие о ежевику перецарапает, а варенья на всю зиму запасет; сухой фасоли нашелушит — вот и сыты. А когда сосед, украинец Щирéнко, с громадным шишковатым лбом и торчащими во все стороны, как щетка, бровями постучит в кухонную дверь со своим всегдашним: «Хозяева дома?», Аннушка встретит его привет-

ливо и щи непременно сметаной заправит. А потом бегает из кухни в кладовку и обратно. Темные пряди волос выбились из-под красной повязки, легкие ноги топочут быстренько, а сама молчок: пусть мужчины меж собой говорят.

А Щиренко тем временем снимает с плеча свою полотняную сумку, хитро улыбается и, обращаясь к ней, говорит: «А во-первых строках моего вам письма — вот», и вытаскивает из сумки или спелые вишни, что растут около его хибарки или еще что. Потом ужинают. От плиты в кухне жар, но окна и дверь открыты. На керосиновую лампу мошкара летит, под ногами кошки крутятся. Южная ночь густа, как старое вино, пахнет цветами дрока, розмарином и лавром. Лягушки квакают. На соседнем холме, где — горная деревушка, уже все огни потушены. И Большая Медведица склоняется над Аннушкиным домом.

Свекровь, Елена Мартыновна, сидит теперь чаще всего в кресле, старенькая, высохшая, с заострившимся носом, в темном платье. Аннушка называет ее ласково «мамой» и первой подает пищу. А потом садится тоже к столу и слушает про прежнюю русскую жизнь. Щиренко и Елена Мартыновна медленно разворачивают старую заветную книгу: каждый — свою. Нигде воспоминания прежней барыни и украинца-землероба не переплетаются. Но слушая их попеременно, в тишине благодатной ночи, хочется слушать вечно. И Аннушка жадно впитывает сладостный мед безвозвратно ушедшего. Глаза ее широко раскрыты, губы вздрагивают, загорелые локти крепко уперлись в стол.

А потом говорит Никита. Мечты, одна другой смелее, и Аннушка верит им... Вот он, ее Никита, русский богатырь, которому ничто не страшно! Захочет — землю перевернет! Она смотрит на него влюбленными глазами молодой жены. Как он хорош в синей рубахе с распахнутым воротом! А лучше всего глаза: карие, простодушные.

Старая мать тоже смотрит на первенца, как только любящие матери умеют смотреть, и одобрительно качает седой головой. И только Щиренко хитренько щурится и посмеивается: «Ну, да ну! На словах-то ведь все легко!»

Эти далекие летние вечера все еще живы в покидаемом доме. Но и от них оторваться надо. И Аннушка медлит, держась рукою за дверь, прощаясь, прощая...

★

Когда-то в детстве мать Аннушки читала ей приключения Робинзона и Аннушка, робея и восхищаясь, втайне мечтала, что и она, может быть, очутится на необитаемом острове и как это будет страшно и интересно! Теперь же, когда для нее под косматыми оливами началось подобие робинзоновского бытия, она растерялась. Покинутая ферма казалась удобной и хорошей. Чего только стоил здесь собственный колодезь и ведро, которое непременно бухалось набок, не желая зачерпнуть воды. Вода пахла железом. Но это была «их вода» и Никита находил ее превосходной. А если над колодцем нагнуться, в глубине мелькнет маленькое озерцо и несет сладчайшей прохладой и слегка тиной. А вода холодна и летом.

Примус с продавленным боком, пролежавший на инвалидном положении в старой корзине годы, снова был призван к жизни. Его почистили, налили в давно отощавшее чрево керосин и он зашумел в кухне, где бездействовала плита: Никите все недосуг купить новые трубы.

Но самое тяжелое для Аннушки — вечера. Раньше станет у окна спальни и долго смотрит на противоположный холм. Вот у Понзио зажглось окно в кухне: садятся ужинать. У детишек, верно, глаза слипаются, ложкой еле-еле в протертом супе болтают, мать их спать торопит, отец подзатыльники дает. Все это Аннушка, бездетная жена, видит в своем воображении и в эти минуты как бы сама становится матерью. И долго так стоит в темной спальне в сладком раздумьи, сопричастницей чужой жизни.

А воскресным утром слушает колокола. Призывно зовут кампанильи, нежный звон разливается по холмам. На сердце — тишина и радость и рука перекреститься тянется.

Четырнадцатого же июля на площади городка — фейерверк. Тогда она с Никитой забираются на холмик и смотрят, как взлетают в неподвижную темную ночь золотисто-огненные

фонтаны, как осыпаются розовым цветом или падают с неба морские синие брызги.

А здесь — ничего. Ни огоньков, ни церковного звона, ни фейерверка. И только одна Большая Медведица все там же, на темном небе, как Аннушкина покровительница.

Зато Никита счастлив. Он живет, как в радостном бреду. Просыпается с песней. Раскроет игрушечное окно спальни, куда смотрит покрытый голубым маревом холм, вдохнет горный воздух и... опьянеет. Целый день по горам со стадом ходит или копает землю под огород. Там один щебень и глина, а он уверяет: «земля, как у нас под Калугой», хоть никогда он и не видел Калуги. Или возьмет рыженького толстомордого котенка, осторожненько положит на широкую ладонь, подбрасывает и играет с ним.

Аннушка грустно улыбается. Но радость Никиты так заразительна, что и ей легче. Особенно любит она его возвращение из городка, победительный звоночек мотоциклетки, словно он хочет сказать: «А вот и я сам, собственной персоной». Звоночек вносит что-то праздничное. И она бежит по крутому склону, широко раскинув тонкие руки, словно не утром уехал Никита, а будто месяцы не виделись. И пока его целует, думает: «Никита из всего умеет сделать праздник. В нем столько благословенного».

И, незаметно для себя, примирилась и с переездом, и с новой, еще более одинокой и дикой жизнью. Решила: не стоит убиваться о подписанных Никитой векселях. Буду жить сегодняшним днем. Что прошло — прошло! А может все к лучшему повернется!

На горном солнце Никита загорел. Тело стало гибко, сухощаво, как у юноши. Он еще не успел обойти границы своей земли, сам путался в неразберихе отдельных участков, пересекаемых землями соседей, но радостно рассказывал Аннушке, единственной слушательнице, что имение их не обойдешь, столь оно велико.

Вечерами, всласть наговорившись о красотах поместья, Никита и Аннушка играли в дурачки. На розовую клеенку ложились старые карты, служившие раньше Елене Мартыновне

для пасьянса, и было что-то детское в этом глуповатом занятии.

Потом Никита делился несложными событиями дня. Местная лавочница, по прозвищу «ведьма», окрысилась на него за неудачный сыр. — «Вообще она с покупателями разговаривать не хочет, только рычит: «Не теснись, разойдись!» — и все мы поджимаем хвосты». И Никита весело смеется. — «А на обратном пути видел дом чудно́й, крыша в доме провалилась, а на пороге, знаешь, такой пещерный дед: бородой оброс, как лесовик; говорить почти разучился. Сюда приехал, чтобы поменьше людей видеть. Покою ищет».

Иногда решали: «Будем у себя в гостях!» Тогда ужинали под липой. Цветистая скатерть одним своим видом напоминала о торжестве. Всё их радовало: и суп, который не провернешь, и икра из синих баклажан. Аннушка бы охотно поделилась с соседками своими нехитрыми хозяйственными тайнами. Но нет никого кругом.

Раз Никита повел ее показать пещеру в скале, которую недавно нашел. Они шли по крутому склону вверх. Над ними нависала скала, а под нею поток камней. Как дуло пушки чернел вход в пещеру, и это сравнение внезапно опечалило Аннушку. Давно уже поговаривают о войне, но газеты им попадаются редко. «Мало ли что брешут», благодушно говорит Никита.

Аннушка глянула вниз. Вон обработанные Никитой террасы сбегают к речушке. Грубеют листья деревьев. Земля растрескалась от зноя. Лето уже подошло к перевалу. Ей стало внезапно грустно. Захотелось скорее домой, под липу, через чью густую листву ни один луч солнца не проникает и где они, как в раю. Нет у них спешки. Обедают порой в час, порой в три. Не все ли равно? Жизнь течет ровно, мирно, наполненная малыми радостями. Счастливая жизнь ведь из них и состоит.

Иногда Аннушка ходила пасти стадо, следила, как коровы на косогоре степенно и терпеливо жевали сухую траву. Терпение было разлито вокруг. Тишина тоже. А если куда срочно надо поехать, а часы завести забыли, то спрашивали у почтальона.

Никита рыженького почтальона не любит. Он приносит

письма, которые читать не хочется: итальянец напоминает, что долг не уплочен и грозит опротестовать векселя; налоговый инспектор торопит с налогами; мэрия требует починки шоссе, на которую свалился кусок скалы с Никитиного «высокогорного плато»; наконец, приползают ядовитые письма на розовой бумаге: Никитина теща без конца пишет Аннушке, называя Никиту «сумасбродом», «остолопом» и еще похлеще. Аннушка ужасно смущается, но мужу письма читает — не должно быть тайн между ними! Никита натянуто посмеивается: «Одно слово — теща! Мешается не в свое дело. Что с нее требовать!»

А для Аннушки испытание — рабочий итальянец, которого мэрия прислала чинить шоссе. Аннушка его прозвала «Аква фреска». Он то и дело бегает на кухню за ведром, чтобы зачерпнуть из колодца воду. В ведре он держит пиво. Он жилист и сух. Одна щека толще другой и смешно оттопырена. Уши торчат в разные стороны, глаза жуликоватые. Курчавые волосы чуть серебрятся. У него хорошая самодельная палка и на ней вырезано какое-то заветное число, бутылочка вина, бубны и черви, и иероглифы. Объясняется с ним Аннушка жестами. А когда дует раскаленный сирокко, Никита и итальянец работают без рубашек и Аннушка целыми днями варит им черный кофе. А теперь прибавились еще досужие разговоры Никиты и итальянца о возможной войне.

Ночами Аннушка все думает об этом и ей не спится. Вот встала, подошла к окну. Только одна большая звезда стоит над островерхой горой. Тихий предутренний час. Тишина необъятна. Окно выходит на косогор. Так и простояла до утра. А утром опять яркое синее небо. Старые дубы бросают на шоссе крепкую густую тень. Она резко очерчена на белеющей дороге. И далекие колокольчики отары явственно слышны в этом зное. Но надо всем этим цельным и прекрасным миром нависло черное облако. Или это только Аннушке кажется? Вот по шоссе прошла женщина с опухшими ногами. Она еле движется под немилосердным солнцем, неся мужу обед на каменоломню. И Аннушка думает: «Будут ли еще каменоломни и женщины с узелками?» И ей кажется, что перед сеновалом

стоит Никитина телега на огромных неуклюжих колесах. Может быть, и она осиротеет?

Все чаще теперь она смотрит на мужа, словно стараясь запомнить каждую черту его лица.

И вот приходит день. Вначале он также незначителен и также полон глубокого значения, как все дни их жизни. Рассказать постороннему о таких днях — невозможно. Нет никаких событий — есть просто жизнь, прекрасная, полная, разделенная до конца.

Недаром Никита не любил почтальона и старался всегда поскорее от него избавиться. Был полдень. Аннушка накрывала на стол. На ней была полинявшая широкая юбка и пунцовая блузочка. Черные волосы схвачены гребенками. В ушах сережки: два жолудя в серебряной оправе. Она что-то мешала в кастрюлечке. На столе уже стояла приготовленная миска с салатом. Все было еще, как всегда. Но вот, даже без обычного стука, вошел этот рыженький, веснущатый, курносый. В руках газета. Всеобщая мобилизация! Каждый должен явиться на сборный пункт.

— Я тоже мобилизован! — гордо сказал почтальон. Наконец-то, мы им покажем!

Никита окаменел. — Как? Сейчас? Сегодня? И нельзя приготовиться, привыкнуть! — «Аннушка», только и мог выговорить.

— Ну, что же, Никитушка, — сказала она ему, — надо все же пообедать. До городка несколько километров. Я пойду тебя проводить.

Он молча кивнул. Надо было отдать последние распоряжения, но Аннушка предупредила: — О делах не беспокойся! Устрою. Только... береги себя!

Они сели за стол. Как и всегда бережно налила ему полную тарелку густого супа, пододвинула хлеб. Он смотрел на ее руки. Сколько заботы в этих загрубевших пальцах. А морщинки у глаз! Они появились только после переезда сюда. Зачем он завез ее в эту глушь? Что она будет теперь делать тут одна?

Потом Аннушка принесла из спальни чемоданчик, тот са-

ный, и стала укладывать чистые рубашки, кальсоны, носки все то домашнее, что может понадобиться там.

Они молча шли по горной тропинке в городок. По краям цвела дикая морковка, похожая на белое тонкое кружево. Голубая влажная дымка покрывала горы. Звон цикад — неустанный, привычный — не замечаешь его больше. Серая зелень, выцветшее небо, седые оливы. Безмолвие сорокаградусной жары. Томится все. Потом пошли пестрые лоскутки пригородных садов, скука огородов. Где-то кошка лежит на крыльце. Блюдечко с молоком — рядом. Куры ходят широко раскрыв клювы: выкупаться бы им в пыли, да пыль, как раскаленные угли. Земля оцепенела.

«И все это в последний раз», — думает Никита и переводит глаза на Аннушку. Она надела пунцовую повязку, убрала волосы так же тщательно, как тогда, на свадьбу, чтобы в памяти остаться красивой. Ему кажется, что он ее видит впервые.

А там, на небе, наперекор тишине, внезапный рев мотора. «Теперь его время», — думает Никита.

Проститься решили в роще, у входа в городок. Остановились взялись за-руки, как дети. Аннушка крепко закусила губу, чтобы не отравить прощанье воплем. Никита силился что-то сказать, попросить прощения. Но слова не шли к нему. Он сказал только:

— Ах, Аннушка, Аннушка! Аленький цветочек!

Июль 1967 года. *Екатерина Таубер*

ОТВЕТ

Попробуйте меня от века оторвать!
О. Мандельштам

Насмешливый голос
По телефонному
Проводу.

И все по тому же
Неугомонному
Поводу.

— Стихи сочиняете?
Стали поэтом горластым.
Стихи начиняете
Всяким ненужным балластом.

Рычанья растративши,
В горле мозоли натерши,
Хрипит ваша муза —
Ораторша
И резонерша!

И локти притиснув,
Кидается в самую давку,
Торгуется с жизнью,
Стучит кулаком по прилавку!

Хрипи — не хрипи,
А чем дальше — тем хуже и хуже.
Поэзия — то, что внутри,
А не то, что снаружи!

— Мой враг телефонный!
Я все это слышал частенько.
Хотите, чтоб я умиленно
И тенькал и тренькал?

Мне этого мало!
Поэт не рождается, чтобы
Копаться в анналах
Своей драгоценной особы.

Я здесь.
Я со всеми.
С моею судьбою земною.
Снаряд баллистический — время
Свистит надо мною!

И что мои ахи

И охи,
И все мои вздохи
В обвале и крахе
И грохоте целой эпохи?

Меня не отделишь
От времени. С ним не рассоришь!
Я сын его гульбищ и зрелищ,
Побоищ и сборищ!

Я сын его торжищ
И гноищ, позорищ и пиршеств!
Меня не отторгнешь
От времени. Силой не вырвешь!

Ракеты, ощерясь,
Хрипят в межпланетных просторах,
А вы мне про шопот, про шелест,
Про лепет, про шорох?!

Лечу вышиною
Стремительно, гибельно, круто
И стих для меня — вытяжное
Кольцо парашюта.

Иван Елагин

О СУТИ

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
Б. Пастернак.

Как определить книгу Г. В. Адамовича?[1] Обычно, все написанное этим автором в прозе, принято относить к «критике». Таково обаяние титула «первого критика эмиграции». Но «Комментарии» вряд ли можно назвать критикой. Нельзя их назвать и «заметками на полях», это и не «из записной книжки писателя», несмотря на короткую отрывистую форму помещенных в ней опусов. Если же это «эссэ», то опять-таки, без ясно выраженной эссэистской формы.

Лучше не ломать головы. Книга важна своим содержанием, а содержание сложилось из передуманного и перечувствованного за тридцать пять лет человеком, живущим и дышащим литературой.

Сейчас много появляется таких размышлений, но ценность их не всегда такова, чтобы стоило о них говорить. Мысли же Адамовича — достояние русской культуры и не должны пропасть или оказаться забытыми. Но разобраться в них — немалый труд. У автора органическая нелюбовь к связному изложению. То бросит хлесткое замечание вроде: «У Пастернака слово сошло с ума, впервые в русской поэзии», то пустится в рассуждение, страницы на четыре, об образе и подобии Божием в человеке, а там, глядишь, задел Маяковского, что-то сказал о Тютчеве и славянофилах, обессмертил Сартра, как «писателя с каким-то кибернетическим привкусом в творчестве» и глубоко погряз в темах братства, равенства, морали и революции. Обо всех этих вещах говорится сильно и остроумно, но это не облегчает тяжкой доли читателя, особенно после авторского предисловия, где сказано, что хоть заметки и разрознены, но связь между ними есть, «а если читатель не в

[1] Георгий Адамович. «Комментарии». Изд. Русск. книжн. дела В. Камкина. Вашингтон, 1967 (208 стр.).

силах ее уловить, значит автору, к сожалению, не удалось сказать то, что он хотел».

Вот и думай: прослыть ли тупицей не уловившим смысла книги или обидеть автора признанием его неуловимости? Каюсь, я с самого начала решил не надрываться в постижении общей связи; если она выяснится после прочтения, тем лучше, а не выяснится — Бог с ней, буду наслаждаться каждым куском в отдельности. Когда, например, встречаешь: «Серебряный век, похожий на пир во время чумы», то забываешь о связи и выписываешь это себе на память. С таким же смаком читаешь почти каждый отрывок, несмотря на «своеобразный» язык. Язык, надо сказать, — не письменный, а разговорный. Читая, представляешь себе автора говорящим и невольно вслушиваешься не столько в смысл слов, сколько в интонацию, в эмоциональную окраску речи. Стиль этот, быть может — наследие той эпохи, в которую Г. В. Адамович вступил в литературу, эпохи манифестов, деклараций, диспутов. На тогдашних сборищах и литературных вечерах не столько читалось стихов, сколько говорилось о них. Возникшие студии приучали, тоже, к «разборам» и обсуждениям. Все это вылилось в настоящий пир книжного речения. Говорят, особенными словесными яствами отличался он на Монпарнассе, в эмиграции. Там, как раз, и царствовал Адамович. Было, где развернуться и выработать эту манеру вьющейся завитками речи, состоящей из бесконечных отступлений и ответвлений мысли. Только этим и объясняю, что замечательные высказывания, достойные того, чтобы выситься мощными дорическими колоннами, расходятся, чуть не от самого своего основания купиной мелких стволов и ветвей. Читателю самому приходится воспроизводить их строгие очертания заслоненные словесным рококо.

Но можно и понять эту манеру. Кто добывает золото, от того не требуют, чтобы он был еще и ювелиром, он и без того обогащает мир благодарным материалом, а сортировать, переплавлять, делать серьги и браслеты могут другие. Значение Адамовича в том и состоит, что мысли его качественно отличаются от словесного фейерверка какого-нибудь литературного кавалериста. Они не вычитаны, а рождены. Это не переплавка находящегося в обращении, а заново найденное золото.

Говоря о мыслях, я вовсе не имею в виду стройного комплекса идей. Мы живем в эпоху разрушения систем, а не созда-

ния их. Адамович слишком хорошо понимает это, чтобы впасть в соблазн преподнести нам «учение».

Посему, читать «Комментарии» можно, как угодно — с начала, с конца, с середины. Я раскрыл их случайно на странице 94 и сразу напал на интереснейшую мысль. Прежде я встречал ее только у Чехова. Но у Чехова она выражена беллетристически, как философская канва нескольких его рассказов и драм, здесь же ей дано ясное очертание. Речь идет о «неисчерпаемой таинственности» повседневной жизни, о том, что «повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее вглядеться — самой изысканной экзотики».

К чему сны, выдумки, потусторонность, если в нашей «реальной» действительности столько непонятного, загадочного, страшного?

Уже на этом примере видно, как переплетены в «Комментариях» темы литературные с темами общего мировоззрения. Разве не свежо и не по-новому ставится здесь проблема пресловутого реализма и, разве не стирается грань между реализмом, романтизмом, символизмом и многим другим?

Отвлеченному мышлению, вытравленному с некоторых пор из литературного обихода, «Комментарии» снова открывают широкую дверь в писательский мир. Настоящий писатель, поэт, критик, не может жить одной литературной цеховщиной. «Философия есть та же поэзия, — сказал Достоевский, — только высший градус ее». В этом высшем градусе зародилось все значительное, что находим у Адамовича о поэзии, о литературе. «Вечных вопросов» поднято в «Комментариях» не меньше, чем «собственно литературных». Особенно важно отметить один, вызванный учением Тейар де Шардена о последовательных ступенях мирового развития: одухотворение материи, очеловечение земли. Понятие культуры приобретает, в свете этого учения, метафизический оттенок и метафизика явно волнует нашего писателя. Единственно важное человеческое дело состоит, по его мнению, в том, чтобы довести одухотворение и очеловечение до конца. Запомним эти слова. Они однажды звучали в русской поэзии.

О, я хочу безумно жить,
Все сущее увековечить,

Безличное вочеловечить,
Несбывшееся воплотить.

Блок считал это своими лучшими стихами.

Я вряд ли ошибусь, сказав, что тема одухотворения и очеловечения — самая большая, если не главная, в «Комментариях». О ней и будет речь.

★

Чтобы яснее выступили ее очертания, надо подойти издалека.

Уверен, что все прочитавшие книгу удивлены не столько рассуждениями о Боге, сколько количеством отведенных им страниц и, так сказать, удельным их весом. Сами по себе они ничего интересного не представляют; это, примерно, то, что наговорено о Боге со времени Вольтера и Гольбаха. Некоторую пикантность представляет, может быть, искусство, с которым Адамович ловит религиозных философов и набожных людей на нарушении заповеди, запрещающей произносить имя Божие всуе. «Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай силы...» Это из дневника Поплавского. «Если это, действительно, обращение к Богу, — замечает Адамович, — зачем бумага, чернила, слова — будто прошение министру? Если это молитва, как не вывалилось из рук перо? Если же для того, чтобы когда-нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства?» У Бердяева и Степуна, компетентно судивших о том, чего Бог требует от человека и чего не требует, он ехидно спрашивал: «Откуда вы все это знаете?»

Но, к нашему удивлению, эта нота изящного сарказма переходит порой, в страстную «антирелигиозную» проповедь: — «До чего доверчивы люди!.. Духовный опыт? Бросьте ссылаться по привычке на этот вздор!» Так темпераментно могли говорить неофиты безбожия лет двести тому назад, но не в наше время после всех Штраусов, Гарнаков, Ренанов, Анатолий Франсов.

Кто дошел до отрицания Бога, тому Бог безразличен, тот просто освобождает душу и голову от этой материи. Базаров не говорит и не думает о ней, у Адамовича же неодолимая потребность поговорить о Боге. Как это понять? Нельзя же допустить, что в наш безбожный век, на безбожном Западе, после всех революций, он вздумал с просветительской целью доказывать вздорность христианского учения. Тут что-то другое.

Меня всегда занимал образ блаженного Иеронима, исступленно глядящего на Распятие и бьющего себя камнем. Credo quia absurdum.

Скептицизм Адамовича, очень уж горячо выражаемый, кажется таким же средством заглушить внутренний голос, только прямо противоположного свойства, чем тот, что терзал Иеронима.

Один мой знакомый кричал с надрывом «России не будет!» И в голосе его слышалась мольба, чтобы кто-нибудь опроверг его и сказал, что это неправда. Не таково ли же адамовичевское «Бога нет»? Не Иероним ли это навыворот? Не Савл ли, жаждущий обратиться в Павла? И так ли уже бесповоротно решен им вопрос о Боге? Будь он решен, не было бы вопросительной формы таких предложений как: «а что если все это обман, иллюзия — эти слияния с природой, эти летние полдни... закаты не обманывают — куда они зовут? Поэзия не обманывает — о чем она? Откуда она и куда?» Раз существует «а что если?» значит не потеряна уверенность в противоположном. Сослагательное «если бы хоть в чем-нибудь метафизическом быть уверенным» — относится сюда же.

Адамович — писатель не ясного, не гранитно-очерченного мировоззрения. Он, может быть, и был бы гранитным, будь он врачем, инженером или человеком плоского ума, но он поэт и писатель. Он слишком много знает о поэзии и знает, что без Бога она сирота на земле и смысла своего существования не имеет. Надо ли говорить, что не о стихотворстве, а именно о поэзии тут речь. Полчище современных поэтов не найдет в «Комментариях» чего-либо похожего на «поэтику», там нет рецептов, как писать стихи, но им полезен будет, на первый случай, хотя бы «список того, что на смерть враждебно поэзии».

Подумают, конечно, о проскрипциях забракованных слов и оборотов, о глагольных рифмах, о «любовь — кровь», о соловьях и розах, и полной неожиданностью будет другой ряд врагов: — обман, притворство, поза, кокетство, фокусничание, комедиантство, самолюбование, развязность, баловство, ходули. С ужасом убедятся, что «яркие блестящие образы», «необычайно острые ритмы» и прочие скрижали завета современного стихоплетства, объявлены дребеденью. Под сомнение взято все, что хоть в малейшей степени «шикарно», «чуть-чуть воняет литературой», где «выделка» стоит на первом ме-

сте, где нет «одухотворяющей небрежности». Адамович враг всего «демонстративно вдохновенного», назойливо-лирического и он строго судит тех, кто «балуется стишками, пребывая, притом, в непоколебимой уверенности, что всякий стихотворец — существо избранное, отмеченное Богом и что поиски рифм и придумывание образов представляют собой занятие высшего порядка».

Поэт, по Адамовичу, не должен оглядываться на читателя и думать о впечатлении, которое производят его стихи, он должен отбросить все словесные украшения, все, что можно отбросить, «оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать».

Совершенно очевидно, перед нами не ординарный случай понимания поэзии, а редко встречающееся ныне желание добраться до основ, до сокровенных ее ключей. Человеку, всю жизнь думавшему о поэзии, хочется «подвести итог», как он выражается — «спросить себя, что же такое, в конце концов, поэзия, в чем ее сущность, в чем ее смысл и, пожалуй, даже, в чем ее оправдание».

Иннокентий Анненский, в незаконченной и посмертно опубликованной статье, ядовито замечает, что нет, кажется, в мире предмета, о котором бы больше было написано, чем о поэзии. Признается, что ничего о ее существе не знает и есть, по его мнению, реальности, которые лучше вовсе не определять. Тем не менее статью свою назвал «Что такое поэзия?»

Повидимому, не даром о ней столько написано. О смысле жизни, о смерти, о Боге, о поэзии никогда не перестанут писать и думать. И если в наши многоглагольные, но бездумные времена нашелся писатель, поднявший столь древнюю тему, то было бы недостойно отнестись к этому иначе, как с величайшим вниманием. Мотив «оправдания» — просто интригующий. Какое такое «оправдание поэзии?»

Но Адамович всю свою жизнь, посвященную ей будет считать напрасной, может быть, неправедной, если не поставит поэзию перед судом высшей правды. Этот скептик, вольтерьянец, одержим христианской этикой. Он знает, что поэзия, как всякая красота — грешница. Слова «красота спасет мир», повергают его в величайшее смятение. Красота — явление паразитическое, она всегда, достояние немногих. Толстому, по его мнению, было стыдно, когда его обворожительная Анна Каре-

нина плясала в бархатном черном платье на московском балу, в то время, как такие же люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, мыли на кухне грязные тарелки. Без их рабского труда, ни бархатного платья, ни самой красоты Анны не было бы.

На стр. 24 «Комментариев» писатель торжественно отрекается от красоты — от Версаля, от «Онегина», от Пушкина («Пушкин, золотой сон мой!»), от всякого благолепия, «потому что сколько не вглядываюсь, не вижу других оснований к нему, кроме тьмы. Благолепие держалось на тьме».

Это что-то вроде толстовского вегетарианства: не могу есть убоины. «Можно ли без кощунства произнести слово «Бог», если усомниться хоть на миллионную долю секунды, что все равны, что в доступе к духовным и жизненным благам все должны быть сравнены?»

Что-то странное, чтобы не сказать архаическое звучит во всем этом. Что бархатного платья без неравенства, без эксплоатации не может быть — это сущая правда. Но ведь и Парфенона, и Аполлона Бельведерского, и Софокла, Фидия, Перикла не существовало бы, не будь миллионов рабов, на костях которых построена греческая и римская цивилизации. Такие же кости лежат в основании романо-готической культуры. Русская литература взросла на крепостном праве, а европейская, кроме того, еще и на колониальных зверствах. Если культуре суждено и впредь существовать, вряд ли у нее будет другой грунт, кроме человеческих костей. Это ужасно, но это что-то вроде закона, его же не прейдеши. Только социалисты берутся разрешать эту антиномию. Они гарантируют одинаковый всем доступ к духовным и жизненным благам. Но социализм, так же, как Бог, служит по сей день предметом веры. Ни один из семидесяти видов социализма, включая сюда и марксизм, не явил нам преимуществ перед утопиями Фурье и Сен-Симона. Не утопического социализма мы не знаем. Сам Адамович признает, что «если все равны, если все имеют право на то же самое, то бархата на всех не хватит». Да и не он ли припечатал Сартра, «верящего в правоту социализма», ратующего за социальную и расовую справедливость, за равенство, назвав все это «вздором, который стыдно читать».

Примирить культуру и этику — вещь, повидимому, невозможная. Можно только выбирать между ними. Либо избрать

Пушкина и Версаль, либо идти в пугачевцы, в народники, в большевики, в хунвейбины. Так же, как в толстовстве: восстал против убийства животных — не ешь мяса.

Толстой, к чести его сказать, не ел, но Адамович, провозгласив торжественное «отрекаюсь», ни в большевики, ни в меньшевики не идет, но, как слышно, продолжает смаковать и Версаль, и «Онегина», и все европейское «благолепие, основанное на тьме». Тут он имеет славных предшественников в лице российских народолюбцев, над которыми едко подсмеивался Алданов. Те, пламенно протестуя против крепостного права, не освободили ни одного из собственных мужиков.

★

В чем же все-таки «оправдание» поэзии и существует ли оно? Пока что мы видим одни беспощадные обвинения. Если поэзия, всего лишь «красота» — она не имеет права на существование, она — грех. Но, вот Адамович находит в ее природе такое, что делает ее праведной и святой. Небольшая цитата из «Комментариев» поясняет все. «В поэзии должно, как в острие сойтись все то важнейшее, что одушевляет человека. Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой».

Разумеется, внимание наше сразу же приковывается к «чудотворному делу» и первая наша реакция: — Как! И тут «дело»? И тут актуализация? Да. Адамович даже лозунг выбросил: — «Поэты — надо дело делать!» Само собой разумеется, что под «делом» понимается не индустриализация, не коллективизация, ни одно из тех дел, которые требуются от поэтов в Москве, но «единственно важное человеческое дело: одухотворение бытия, того торжества духа, которое может быть и свершится в будущих веках».

Вот то, «без чего нельзя было бы дышать», требует он от поэтов. Без ярких блестящих образов, без острых ритмов и рифм жить можно, но не работая над «одухотворением бытия», не добиваясь в своем творчестве сосредоточения, как в острие всего, что одушевляет человека, поэты занимаются не поэзией, а стихотворством. В маленьком этюде о Маяковском, он, как одну из возможных версий его самоубийства, высказывает предположение, что покончил Маяковский с собой от сознания гибели своего таланта, причиной чему был он сам. «Будучи по природе избранником, он предпочел стать отступником».

После этого нет смысла докапываться, верит ли Адамович в Бога, считает ли Богом то «нечто», что есть над нами «без имени, без образа, без ответа». Пусть этим займутся его биографы, если таковые найдутся. Нам достаточно, что в том постоянном раздвоении между псалмами Давида и мудростью Экклезиаста, когда существо его готово славить Господа на гуслях, но когда язык прилипает к гортани при словах «все суета и томление духа», он все-таки склоняется к псалмам и к Давиду. Он бы подписался под определением Жуковского «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли...», «если бы в чем нибудь метафизическом быть уверенным...» Малейший знак с небес решил бы его сомнения. Но и без этого знака он верен той стезе, которую определил, как единственно достойную поэзии. «Даже если бы все оказалось иллюзией, даже если бы со своим мнимым «одухотворением» всего только разобьешь себе голову о стену, другой ставки у нас нет».

Пред нами — далеко не часто встречающийся в наши дни случай сильной и мужественной мысли. Решиться в такое сумбурное время на пересмотр и переосмысление древнего, как сама поэзия вопроса о ее природе, и придти к тому же, примерно, заключению, к которому приходили две и три тысячи лет тому назад, преодолеть все соблазны модернизма, все давление великих авторитетов — для этого требуется много силы и свободы.

Но я бы хотел вернуться к заключительным словам только что приведенной цитаты: «другой ставки у нас нет». Что-то подобное звучало уже в русской поэзии. Это, конечно, Блок с его вечным ужасом, вечным мраком и с крестом горящим над вьюгой. Вселенная с ее вихрем планет, миллионами глаз — пуста; и жизнь пустынна и бездонна. Но поэт должен метить «свои крепкие латы знаком креста на груди». Другой ставки нет. Не потому ли Блок для Адамовича — поэт особенный? Не в Блоке ли открывались ему и сокровенная сущность поэзии и ее «чудотворное дело»? Он ведь из того поколения читателей что прочли у Блока «нечто для себя крайне важное и оставались под этим впечатлением надолго». Для них «всякие другие стихи, даже и те, которые определяются, как «блестящие», «мастерские», казались рядом досужей выдумкой». Странно после таких признаний читать об образе Христа в «Двенадцати», как о «мучительно-легковесном и фальшивом», как об «эфекте под занавес». Не верится, чтобы Адамович хоть на

минуту разделял пошлые толки «об оправдании революции» и не видел в образе Христа своего рода медного змия в пустыне, воздвигнутого ради спасения всякого, кто на него посмотрит. «Двенадцать» не «злободневностью (!!!) насыщена», а все тем же вечным ужасом, вечным мраком; это поэма отчаяния, быть может, являющая «день последний ужасней всех», который довелось увидеть Блоку перед смертью. И это было величайшим испытанием поэта: остаться ли в непроглядной тьме или вспомнить, что «другой ставки нет» и, как прежде, вознести над вьюгой не крест, даже, а самого Христа. Попробуйте его убрать и увидите, что станется с поэмой; сразу будет ясно «под занавес» он или это то острие, в котором сходится все, что одушевляет человека. Блок до конца оставался верен «одухотворению бытия и торжеству духа».

Два больших человека воздвигли на него гонение и до сих пор не получили отповеди. Бунин и Маяковский. Бунину, собственно, нечего и отповедывать, он просто ругался. По-моему, он всю жизнь страдал комплексом дворянской неполноценности,[2] чувствовал, что и в литературе он не дворянин, и ему в самое сердце угодила блоковская запись в дневнике: «Маленькие современные писатели — Лазаревский, Куприн, Бунин, Кондурушкин».[3] Напиши это Бальмонт, Маяковский, он бы и ухом не повел, но в Блоке чувствовал «дворянина»... Отсюда, думаю, и его жажда мести. Бунинские выпады можно было бы молча пропускать мимо. Серьезнее обстояло с Маяковским. Он старался взять Блока со слабой его стороны, со стороны языка. На «текстологов», на подсчитывателей звуковых повторов, ассонансов, анжамбеманов, его аргументация производит сильное впечатление. Многие тайно перебегают на его сторону. Заслуга Адамовича в том, что он применил особую стратегию в деле защиты любимого поэта — подошел к задаче от «высшего измерения», от того понимания поэзии, в котором ямбы, дактили, клаузулы, синекдохи имеют второстепенное значение, зато искусство, вернее дар, глаголом жечь сердца, стоит на первом месте. В этом искусстве у Блока не было соперников. Тайна его — в ритмическом мастерстве, в интонации, в напев-

[2] С этой мыслью автора и делаемым из нее выводом мы не согласны. РЕД.

[3] Не забыл он, конечно, и убийственной рецензии Блока на его стихи в «Золотом Руне» 1908 г.

ности, в которых выражалось основное состояние его души. Слово «мастерство» берется Адамовичем в кавычки; никакого расчета при выборе формы у Блока не было, стих создавался интуитивно, нужный тон брался без специальных изысканий и всегда безошибочно, а в этом «тоне» и заключалась его сила. Брюсов и Волошин могли бы написать «Скифов» лучше Блока, «риторика была их делом, их призванием. Однако, когда Блок попадал в свой тон, в свою линию, Брюсов с Волошиным были в сравнении с ним грубыми ремесленниками».

Я привел небольшую часть сказанного в «Комментариях» о Блоке. В целом оно похоже на то, что говорил Шаляпин своим детям о Мадзини. «Певец — это я, ваш отец, а Мадзини был Серафим от Господа Бога».

Такое благоговение не помешало Адамовичу поддакнуть Бунину, когда тот, истощаясь во всяких способах уязвить ненавистного поэта, сказал однажды про «Куликово поле» — «да ведь это же Васнецов». Так ли уж это «убийственно метко», как показалось Адамовичу? Из пяти стихотворений куликовского цикла, четыре абсолютно ничего «васнецовского» не содержат ни в пейзаже, ни в «аксессуарах», ни в тональности. Только в третьем, по счету, можно еще найти «ночные птицы», «орлий клекот», «князь», «княжеская рать», но это и все почти, что можно отнести к мотивам и образам Васнецова. Достаточно ли этого для приговора: «маскарад», «опера»? И не пора ли, перестать делать из «оперы» средство террора? В первое десятилетие нашего века, в эпоху «Мира Искусств», лучшая живопись в России (да и не только в России) была декоративная, «оперная». Именно она выражала дух времени и вела за собой театр, архитектуру, поэзию. Никогда стенные росписи и всякого рода панно не имели такого распространения, как в то время. Декоративной стихией захвачена была станковая живопись. И все тогдашние большие художники — Бенуа, Бакст, Головин, Добужинский, Рерих, Сапунов, Анисфельд, Коровин, прошли через оперу Мамонтова, театр Комиссаржевской, Мариинскую и Александринскую сцены. Декорации к дягилевским балетам стоили стихов лучших поэтов. Весь стиль искусства той эпохи был «оперный», «напевный». Врубель — сплошная музыка.

Но слово «опера» возникает иногда не по совсем достойной ассоциации. Если сюжет исторический, если там по необходимости блеснет меч, шлем или кольчуга, то выработалась

манера автоматически клеймить это, как «маскарад», «оперу». Ради одного только первого стихотворения куликовского цикла — совершенно гениального («река раскинулась...») — Адамович мог бы воздержаться от участия в бунинском отзыве — несправедливом и совсем не «метком». Но не исключена возможность, что участие это не случайно. Стихи «На поле Куликовом» принадлежат к циклу стихов о России, которые у Адамовича подвергаются, постоянно, щипкам, уколам, ироническим гримасам.

Похоже, что это случай не литературного, а политического их восприятия, и как бы искусно оно ни было завуалировано, каждый может эту политику обнаружить, вчитавшись в высказывания Адамовича о России. Но за Россию будем судиться на Страшном Суде.

А пока, отметим «Комментарии», как одну из самых интересных книг последнего времени, как настоящую золотую кладовую литературных открытий и наблюдений, где рассыпаны блестящие мысли и образцы тонкого вкуса.

Прошедший мимо нее, рискует остаться провинциалом в вопросах литературы.

Н. Ульянов

★

Прозевал я, проворонил, промигал.
Улетело, утекло — видал-миндал?
Ветра в поле, шилом патоки — шалишь!
Только — кукиш, погляди-ка, только шиш.

А над речкой, переливчато-рябой,
Светит облако, забытое тобой.
И денек на веки вечные застыл,
Тот, который ты увидел и забыл.

Та же самая в реке блестит вода,
Та же бабочка над отмелью всегда.
Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот,
Реет, кружится уже девятый год.

★

Да, недужится, неможется,
В сердце прыгнула игла.
Смерть — оскаленная рожица —
Выглянула из угла.

Не поможет потогонное...
Чтож ты смотришь наяву?
Уплываю в Патагонию,
В Похоронию, Харонию,
В Погребалию плыву.

Аспирины аспиринные...
Обессилел... Кошка, брысь!
Палестины апельсинные...
Обессилы Абиссинии...

Подставляй-ка губы сини
Ближе к молодцу сади ь.

★

Наскучившая толчея
Молекул мелких бытия,
Как мошкара перед закатом.

Спешат работники толпой
Работать и — домой
С работы.
Все та же, та же колея
Орбиты, скуки и заботы.

В погасшем, мутном, тускловатом
Над парком первая звезда.
Знакомо-серые пусто́ты.

Да, путь указан навсегда
Нейтронам, звездам и — землянам.
Туда — сюда, туда — сюда.

Да, вдребезги бы дребедень.
(Как Богу созерцать не лень?)
И пахнет парком и туманом.

Так резко ветер холодел,
Был жалко прожит жалкий день
И сердце слабо дребезжало.

★

Казалось, становится небо
Жемчужной, мерцающей розой,
Рождался игольчатый стебель
Из ветра, молчанья, мороза.

А после и синяя роза
Осыпала все лепестками,
Колола шипами мороза,
Синела высоко над нами.

Но сердце, озябшее, знало,
Что это, конечно, не роза.
И в жалких лохмотьях дрожала
Простушка по имени Греза.

★

Но выше нежного сияния
Колышется трава забвения,
Туманно-бледное растение.

И расстилается молчание,
И превращаемся и день и я
В рассеянные привидения.

Из декораций мироздания
Лишь лиловатые да синие
Остались (опустелой скинией).

И над развалинами скинии
Холодная трава забвения,
Холодная река забвения.

Игорь Чиннов

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БУКВЫ

БЫЛ ЛИ ЛЕСКОВ УКРАИНЦЕМ?

Удивительно, что никто еще не задавался вопросом, был ли Н. С. Лесков украинцем? Ведь есть всякие утверждения о подлинной национальности многих больших людей. Мицкевича присваивают себе и поляки, и литовцы; поляки и немцы считают своим «земляком» Коперника; а в украинской и русской литературах Микола Гоголь давно соперничает с Николаем Гоголем. Место рождения Марии Александровны Вилинской (Орловская губерния) было не столь близко от Украины, как родное село автора «Соборян», но лишь после того, как Вилинская вышла замуж за Опанаса Марковича и поселилась с ним в украинском Немирове, она стала Марко Вовчком.

До конца жизни Лесков не скрывал своей признательности к мужу Марко Вовчка за свое «направление и страсть к литературе»;[1] а в конце 1849 года, покинув Орел, чтобы попытать счастье в Киеве, он увез с собой рекомендательные письма от Опанаса Марковича к «ценным людям» в украинской столице.[2] В течение всей своей литературной работы украинцы служили Лескову тем мерилом, которым он мерил великорусские недостатки. Например, в своей книге «Евреи в России», горячей защите права евреев на полное равноправие с остальными гражданами Российской империи, Лесков опровергал старую басню антисемитов, будто бы евреи нравственно ниже христиан. В этой работе Лесков указывал на то, что на Украине и в Белоруссии, где евреи жили по преимуществу, общий уровень нравственности был заметно выше, чем в закрытой для евреев «Руси Московской». «Малоросс боится всякого обмана, — пишет Лесков, — он боится и «жида», и москаля, хотя жида он боится несколько менее, а москаля несколько более. Москаля хохол иначе себе и не представляет как обманщика как предприимчивого, пронырливого и ловкого человека с которым человек тихого малороссий кого характера никак не может справиться».[3] К концу 80-х годов Лесков писал своему зятю, Н. П. Крохину: «После Украины уже нет равного уголка в России».[4]

Все это не раз приводилось как русскими, так и украинскими литературоведами в разных статьях о связях Лескова с Украиной. Но никто из них не указал на одно высказывани Лескова, где он сам говорит о себе, как об украинце. В общеизвестной и часто цитировавшейся статье Лескова о смерти Т. Г. Шевченко, напечатанной через 9 дней после похорон украинского поэта, мы находим такие строки, которые я сейчас приведу дословно, как они появились в 1861 г. в московской газете «Русская Речь»:

«Я стал прощаться. «Спасыби, що не забуваете, — сказал поэт и встал. — Да, — прибавил он, подавая мне свой букварик, — просмотрите его да скажите мне, что вы о нем думаете». С этими словами он подал мне книжку, и мы расстались... навсегда в этой жизни. Более я не видал уже Шевченко в живых, и весть о его смерти 26 февраля поразила, как громовой удар. Утром 27 февраля я с другим моим земляком и знакомым покойника, А. И. Н-ко, отправились в Академию».[5]

При жизни Лескова эта статья не перепечатывалась, и до нас не дошла ее рукопись. Следовательно, единственным источником является текст «Русской Речи». Если внимательно вчитаться в последнюю фразу приведенной цитаты, то мы увидим, что она недвусмысленно говорит, что Лесков считал «А. И. Н-ко» своим земляком. И кроме того, Лесков говорит о «А. И. Н-ко», как о **«другом»** своем земляке. Так как единственным лицом, упомянутым в этой цитате, является Шевченко, то слова Лескова нельзя истолковывать иначе, как свидетельство о том, что Лесков сам считал себя и «А. И. Н-ко» земляками Шевченко. Общеизвестно, что Шевченко — украинец; но кто же такой «А. И. Н-ко»? И в его национальности нет никаких сомнений. «А. И. Н-ко» это — Андрей Иванович Ничипоренко (1837-1863), уроженец украинского города Прилуки. Во время смерти Шевченко он жил в Петербурге у выдающегося киевского профессора политической экономии И. В. Вернадского, будучи домашним учителем его сына.[6] За несколько недель до смерти Шевченко, Лесков приехал в Петербург из Киева, и поселился у профессора Вернадского. Там он и подружился с Ничипоренко.

От всей статьи Лескова веет чувством гордости происходившим тогда украинским культурным возрождением. Статья кончается так: — «Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись впервые в форме ораторской речи над

гробом Шевченко. Из девяти напутствований, сказанных над могилою поэта, шесть были произнесены на малороссийском языке... У малороссийского народа, слава Богу, есть теперь своя литература, есть свои ораторы, свои историки, но теперь нет у него такого лирика, каков был покойный Тарас Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей «батьком рідного слова». Oratores fiunt, poetae nascuntur».[7]

Тут не может быть сомнений в глубоком сочувствии Лескова украинским культурным стремлениям. Но почему же пришлось ему говорить о себе, как о земляке Шевченко и Ничипоренко, когда общеизвестно, что отец Лескова происходил из семьи орловских священников, а предки по материнской линии были из Москвы?

Ответ на это зависит только от одной буквы в одном из слов цитированной выше фразы. Процитируем ее еще раз, но изменим одну букву и добавим одну необходимую запятую: — «Утром 27 февраля я с другом моим, земляком и знакомым покойника, А. И. Н[ичипорен]ко, отправились в Академию».

Заменив букву **«и»** буквой **«о»**, мы сразу сделали Лескова только другом Ничипоренко, а Ничипоренко один остается земляком Шевченко.

Советские редакторы все еще не решаются, как им поступить с этой «национально-определяющей» буквой. В одиннадцатитомном Собрании сочинений Н. С. Лескова, вышедшем в свет в 1956-1958 гг., и в русской книге «Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников», фраза с этой «роковой» буквой напечатана точно так же, как она впервые появилась в «Русской Речи».[8] Но редакторы одного украинского собрания воспоминаний о Шевченко изменили **«и»** на **«о»**, хоть и не сознались в этой своей замене и не украсили ее запятой.[9] Редакторы киевского собрания документов и материалов о смерти и похоронах Шевченко, тоже переменили букву, не обмолвившись ни словом о том, что этим они искажают единственный текст, опубликованный при жизни Лескова. [10] Зато в украинском переводе лесковской статьи, вышедшем в свет в 1928 г., буква **«и»** осталась буквой **«и»**: — «Уранці 27-го лютого я з другим своїм земляком і знайомим небіжчика, А. І. Н-ко, пішли до Академії».[11]

Какое же разночтение соответствует тому, что в действительности написал Лесков? Ответ на этот вопрос, вероятно, по-

хоронен навсегда вместе с рукописью Лескова в архиве «Русской Речи». Пока этот архив не обнаружен, загадка остается неразрешимой. Однако, если на основе микроскопического количества данных позволяется делать некоторые обобщения, то мы можем сказать, что русские редакторы предпочитают держаться первоисточника, печатая то **«и»**, что заставляет Лескова называть себя украинцем; и украинские редакторы, публикующие эту статью Лескова в украинском переводе, поступают так же; но украинские редакторы, выпуская издания русского текста Лескова, предпочитают искажать единственный дошедший до нас источник, печатая то **«о»**, которое заставляет Лескова говорить правду.

Поставив, пожалуй, впервые в истории украинско-русских литературных связей вопрос о том, был ли Лесков украинцем, мы должны ответить на него отрицательно: само собой разумеется, Лесков украинцем не был.

Однако, если украинская литература не может претендовать на Лескова, то все-таки позволительно спросить, не стояло ли действительно в рукописи его статьи о смерти и похоронах Шевченко, вместо рассудительного русского **«о»**, сочувствующее украинофильское **«и»**? В конце января 1861 г., Лесков приехал в Петербург прямо из Киева, где он прожил едва ли не все время с 1849 года. По словам покойного Б. М. Эйхенбаума, Киев — «настоящая духовная родина» Лескова.[12] Положение Лескова в русской столице («не только как провинциал, но даже как чужестранец»), потрясение смертью Шевченко, незабываемое переживание на его похоронах, когда все руководители украинского культурного возрождения вместе с сочувствующими представителями других собравшихся славян, пришли проститься с великим украинским поэтом, — все это, пожалуй, могло так глубоко тронуть Лескова, что безотчетно рука его могла написать **«и»** вместо **«о»**, под влиянием внезапно овладевшего им ощущения, будто он действительно земляк Тараса Шевченко.

Вильям Эджертон

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо Лескова от 23 июля 1883 г. к С. Н. Шубинскому в Собрании сочинений Н. С. Лескова, т. 11, М., 1958, стр. 282; В. П[ротопопов]. «Первые шаги. У Н. С. Лескова». — «Петербургская газета», 1894, № 326, 27 ноября.

[2] Андрей Лесков. «Жизнь Николая Лескова». М., 1954, стр. 91.

[3] «Евреи в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу». [Без имени автора]. В продаже не обращается. Спб., 1884. 92 стр. 50 экз. Перепечатка: «Евреи в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу». С портретом Н. С. Лескова и вступительной статьей Ю. И. Гессена. Пг., Госиздат, 1919, стр. 24-41.

[4] Андрей Лесков. «Жизнь Николая Лескова», стр. 97.

[5] «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко». «Русская Речь», 1861, № 19-20, 9 марта, стр. 315.

[6] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 53, лл. 54 и 58; цитируется у Мих. Лемке. «Очерки освободительного движения шестидесятых годов». Пб., 1908, стр. 110.

[7] «Русская Речь», 1861, № 19-20, стр. 316.

[8] Собрание сочинений Н. С. Лескова, т. 10, М., 1958, стр. 10; «Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников». М., 1962, стр. 392.

[9] «Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників». Київ, 1958, стр. 322.

[10] «Смерть и похороны Т. Г. Шевченко». (Документы и материалы). Киев, Издательство Академии наук Украинской ССР, 1961, стр. 35.

[11] М. Лесков. Вибрані твори. Переклади С. Васильченки та Мих. Зерова. «Книгоспілка», [1928], стр. 183

[12] Н. С. Лесков. Избранные сочинения. Редакция текста и комментарий Б. Эйхенбаума. М.-Л., «Академия», 1931, стр. LIV.

РОЖДЕСТВО

Пиеро делла Франческа

Ничего особенного: скалы,
Наскоро сколоченный навес,
И подробностей как будто мало —
Вол, осел, солома и навоз.

Пусто-голо, но высоко-звонко —
Оттого что звонок и высок
Крик новорожденного ребенка,
Здесь положенного на песок.

Звоны — тары-бары мандолины,
Дребезжите-пойте, пастухи,
Пробуждайте скудные долины
Хрипами, родные петухи.

Голубые-синие хламиды —
Те же — девы, отроков небес,
Тот же незначительный по виду
Наскоро сколоченный навес.

ВОСКРЕСЕНИЕ В РУТЛАНДЕ

Михаилу Андреевичу Фютреллу

Подробности знакомы, словно
Вчера растаяла свеча,
Оттенки — брюквенный, морковный —
Песчаника и кирпича.

Зажги затерянный огарок —
Зажглося солнце декабря.
Лужайка райская — подарок,
Туман дымится, серебря...

Пр шли в чьи полушубки —
Им подмигнут издалека
Растопленный камин и трубка
Полуседого старика.

Увы, брюшко, увы, одышка,
Под крышкою лежать ему.
Румяно-яблочный мальчишка
Свистит, не зная почему.

Щербатый замок на пригорке,
Уже замшевшая плита,
Воскресшему ползти из норки
Путем упрямого крота.

Нескучно-мирно, мило-кротко, —
Опять листочки теребя,
По неуверенной походке
Узна́ю самого себя.

ФУЛЬДА

Церковь Св. Михаила

Амуры резвы у замка,
Сорвал бы аленький цветик,
По пояс осела в землю
Девятого века церковь

Романское — красно, кругло
Европы раннее утро,
Но вымерли Каролинги,
Другие — старец и отрок.

А те же — чистая чаша
И звякнувший колокольчик,
И хлеб, и вино, и чудо,
И крылья, и крест, и венчик.

Сияя, вышли из церкви,
Амуры резвы у замка,
Не сорван аленький цветик,
Люблю я милую землю.

Юрий Иваск

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ ЕГО СОЧИНЕНИЙ

Осенью 1964 года исполнилась столетняя годовщина со дня смерти Аполлона Александровича Григорьева — выдающегося художественного критика, поэта, прозаика и оригинального мыслителя России XIX века. Этот юбилей мог бы послужить поворотным пунктом в изучении литературного наследия Григорьева и поводом для исследовательского к нему интереса. Ведь Григорьев является едва ли не наименее изученной фигурой из всех деятелей русской литературы 40-60 годов прошлого столетия. Между тем, столетний юбилей Аполлона Григорьева остался в Советском Союзе незамеченным.

Надо признать, что в деле изучения наследства Ап. Григорьева советское литературоведение сделало чрезвычайно мало. Все работы о нем ограничиваются несколькими обзорными статьями и предисловиями к сборникам его стихов, опубликованным два-три раза в пореволюционное время. К тому же эти редкие работы о Григорьеве отличаются крайней односторонностью и обычной тенденциозностью, характерной для советского литературоведения. Встретить имя Григорьева на страницах ведущих советских журналов долгое время было явлением исключительным.

Но вот совсем недавно, в этом году, наконец, вышел первый в советское время сборник критических статей Ап. Григорьева («Аполлон Григорьев». Литературная критика. Изд. «Худож. литература», Москва, 1967). И хотя принцип отбора работ Григорьева не объясняется, он, нам кажется, основан на стремлении представить Григорьева противоречивой и «метущейся» личностью в сравнении с последовательными и целеустремленными «демократическими» критиками — Белинским, Чернышевским, Добролюбовым. Эта тема, кстати (Григорьев и «революционные демократы»), во вступительной статье к сборнику разработана крайне неинтересно. Кроме повторений всем известных положений информационного характера, здесь ничего нового нет. По сравнению с статьями в сборниках поэ-

зии Григорьева (Громова и Костелянца) она является шагом назад; ее попытки приспособить Григорьева к современному советскому пониманию литературного процесса прошлого столетия неудачны и упрощенно аргументированы. Нельзя не пожалеть, что в сборник не вошли многие из статей Григорьева, без которых нельзя понять не только творческую личность критика, но даже и те противоречия, о которых так много говорит автор статьи, Б. Егоров.

Не трудно установить основное положение в подходе к Григорьеву советской критики и в выборе его статей. Оно в том, чтобы как можно меньше заставить говорить Григорьева о Белинском. Оттого-то изъят весь курс «Развития идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина». Опущена ценная для понимания эстетики Григорьева догматическая статья «О правде и искренности в искусстве», как, впрочем, опущены и другие статьи чисто теоретического характера. «Курсы»-циклы Григорьева в сборнике разорваны, более того, даже из статей его иногда опущены некоторые части (см. «И. С. Тургенев и его деятельность», где опущена вторая статья). Таким образом, ценность этого издания, на наш взгляд, только **в самом факте** появления в свет критических статей Григорьева которые уже давным давно стали библиографической редкостью. Справедливости ради отметим, что несколько советских публикаций предъюбилейного времени отличались сравнительной объективностью, деловым тоном и гораздо меньшей «проработкой», чем статьи этого сборника.

Какова же литературная судьба Аполлона Григорьева в советское время? Вспомним о «юбилейных торжествах» 1922 года. Тогда их возглавила Академия Наук, принимали участие многие культурные, литературные и научные общества и организации, в числе которых были и университеты обеих столиц. Это была, так сказать, «академическая реабилитация» Григорьева в столетнюю годовщину со дня его смерти. Но после этого вскоре наступило почти полное молчание. И это исключает возможность говорить о каких-либо этапах изучения Аполлона Григорьева в советское время. Дело здесь обстоит гораздо проще; идеологические установки в советской литературе исключали возможность исследования его литературного и философского наследства.

В эпоху господства «вульгарно-социологического метода» Григорьев изображался идеологом «среднего класса»; по сло-

вам В. Фриче, одного из главных «теоретиков» этого «метода», Григорьев, как мыслитель «не очень крепкий», рассматривал весь историко-литературный процесс «с позиций среднего класса» — патриархальной и консервативной купеческой буржуазии (Лит. Энциклопедия, том III, 1930). Это утверждение в основе своей оставалось неизменным и позднее, когда этот «метод» был уже осужден советскими же литературоведами.

В Большой Советской Энциклопедии за 1952 год об Аполлоне Григорьеве можно прочесть почти то же самое, даже, пожалуй, еще более резкую «классовую» характеристику. «Органическая критика» Григорьева представлена здесь, как выражение «его антинародных воззрений»; критик, оказывается, ориентировался «не на трудящиеся массы, а на отсталые слои». И в работах более позднего периода эти оценки остаются, в сущности, неизменными. Советская наука о литературе трактовала Григорьева, как «идеалиста в философии» и «врага социализма». Даже в предъюбилейных статьях советские литературоведы всячески оговаривались, что изучение Григорьева «не означает его реабилитации» (У. Гуральник. Литературно-критич. наследие Аполлона Григорьева. «Вопросы литературы», 1964, 2).

Естественно, что такое долголетнее замалчивание Григорьева советской критикой привело к тому, что имя этого выдающегося писателя все больше забывалось. Об этом можно прочесть у того же автора. «В то время, как поэтическое наследие Аполлона Григорьева доступно сравнительно широкому кругу современных читателей, литературно-критические его статьи даже иные литературоведы знают лишь по наслышке».

Объективности ради, надо указать, что в деле изучения творчества Григорьева были существенные пробелы и в дореволюционном литературоведении. Правда, ко времени пятидесятилетия со дня смерти А. Григорьева это заметно исправилось, но все-таки эти сочувственные мотивы — «трагический одиночка», «последний из романтиков», «критик-самобытник» — мало помогали делу, не создавая благоприятной почвы для разработки мыслей и идей Григорьева. Слабость и несостоятельность этих работ, как и явная «недоброжелательность» некоторых публикаций о Григорьеве, были очевидны. Во многих дореволюционных статьях читателя знакомили со всевозможными недостатками критика, включая его личные слабости. Стилистические неясности, отвлеченный характер критических

рассуждений Григорьева, даже его «тактические» промахи — все это обильно включалось в характеристику этого писателя.

Следует, пожалуй, отметить, что авторы работ о Григорьеве материал о «недостатках» этого литератора основывали на отзывах, главным образом, его «идейных противников». При этом, как правило, умалчивалось о положительных мнениях тех же его современников, признававших глубокий, оригинальный ум Ап. Григорьева, широту его литературных и философских познаний, непогрешимость эстетического чувства, творческую интуицию.

Таким образом, в вопросе изучения личности и творчества Аполлона Григорьева виновато не только советское, но и дореволюционное литературоведение: ни то, ни другое не дало о нем даже первого опыта монографии.

На эту историческую несправедливость по отношению к Григорьеву в свое время указывали известные критики, историки литературы и общественной мысли. Кроме единомышленников и прямых последователей Григорьева, сторонниками его литературной «реабилитации» были С. А. Венгеров, Р. В. Иванов-Разумник, Л. Гроссман (в ранние годы своей исследовательской деятельности), В. Спиридонов. Александр Блок, глубоко проникший в «творческую лабораторию» Григорьева, не раз указывал на его значение для русской литературы. В письме к Измайлову (от 25 января 1916 г.) Блок справедливо отмечал, что «...в Григорьеве действительно заложены искры громадной культуры, которые так и догорают до сей поры под пеплом полемики и равнодушия».

Первым сборником критических статей Григорьева — и по времени и, пожалуй, по значению — следует считать издание под редакцией Н. Н. Страхова — «Сочинения Аполлона Григорьева» (С.-Петербург, 1876). Эта книга вышла в свет через двенадцать лет после смерти критика. В нее вошли статьи Григорьева с 1851 до 1864 г., т.-е. до года его смерти. Издатель предпослал сборнику вступление, в котором излагал сущность критических воззрений Ап. Григорьева. К сожалению, по целому ряду причин первый сборник статей Григорьева успеха не имел; эта исключительно ценная книга более десяти лет не могла найти своего читателя. Иногда исследователи указывают и на «внешние» причины неуспеха страховского издания. Так, например, автор известного очерка о Григорьеве замечает: «Быть может издание книги совпало с началом вой-

ны (русско-турецкая война 1877-88 г.г. **В. К.**), отвлекшей внимание всего русского общества от философских идей к жгучим вопросам русской действительности, и этим следует объяснить задержку в ее распространении» (Л. М. Шах-Паронианц. Критик-самобытник, Пб. 1899).

Но и при жизни Ап. Григорьева его творчество не находило своего читателя. Причина тут опять-таки «внешнего» характера — непопулярность статей Григорьева при его жизни в немалой степени объяснялась тем, что из-за участия его в различных органах печати, у него не образовалось своей постоянной «читательской аудитории». К тому же, даже в самую лучшую пору своей литературно-критической деятельности Григорьев сам не только не пытался иметь многочисленных читателей, но, наоборот, как бы ограничивал их число. В предисловии к уже названному первому тому Н. Страхов справедливо указывает, что «критика по существу дела, есть некоторое философское рассуждение и... требует особого упражнения и усилия мысли». Это замечание является ничем иным, как развитием мысли самого же Григорьева, который от своего читателя требовал не только понимания философско-литературных проблем, затрагиваемых критиком в статьях-исследованиях, но и способности самостоятельно мыслить.

В статье-письме, посвященной И. С. Тургеневу («После 'Грозы' Островского», 1860), Григорьев настаивает, что остается при убеждении, что нельзя способствовать снижению интеллектуального уровня читателя. «Умственной лени — пишет он — лени мыслить и следить за развитием чужой мысли не надо... баловать ни в себе, ни в других. Сжатые формулы философского изложения... заменяют собою целые страницы резонерства... требуют от читателя самомышления, вовсе резонерством не требуемого». Эта мысль, по существу ограничивающая «массового читателя», не раз высказывалась критиком. И сочинения Аполлона Григорьева под редакцией Страхова по проблематике своих статей и общей направленности мысли, конечно, выходили за пределы интересов широкого читателя.

Но отдавая должное Страхову за его действительно ценный вклад в научно-критическую литературу, все же надо указать и на недостатки этого издания, тоже повлиявшие на его судьбу. Прежде всего, предисловие издателя было написано сухим, «официальным слогом». Живые, страстные мысли Гри-

горьева предстали в виде «благоразумного», беспристрастного и «нейтрального» пересказа. Они не только не «зажгли» нового читателя, но напротив, своей холодной диалектикой оттолкнули его. Даже самое личность Григорьева, его поистине трагическую жизнь, Страхов не сумел соответствующе показать. Все наиболее серьезные исследователи Григорьева ставили в вину Страхову не то, что в этом издании он допустил более тысячи ошибок, нередко изменявших смысл фраз, но именно то, что он слишком вяло и бегло изложил биографию и литературно-философское мировоззрение своего учителя. Страхов, по словам серьезного исследователя Аполлона Григорьева, В. Спиридонова «должен был предпослать не внешний очерк жизни и деятельности Ап. Григорьева, занимающий одну страничку, а обстоятельную биографию, ибо ему, как талантливому писателю и близкому другу критика, сделать это было легче, чем кому бы то ни было». (А. А. Григорьев. Полное собрание сочинений и писем. Вступ. статья и прим. В. Спиридонова. Пг. 1918).

В сборник Страхова вошли наиболее известные и, по мнению редактора, важные статьи, которые сам критик называл «начатые, но неконченные курсы». Все они расположены в хронологической последовательности, за исключением второго отдела, где даются две из «догматических статей» Григорьева. В книге помещены все статьи о Пушкине — главном предмете григорьевской критики и об Островском. Кроме этих писателей, в сборнике приводятся критические статьи Аполлона Григорьева о Грибоедове, Гоголе, Лермонтове, Тургеневе, Писемском, Фете, Полонском и т. д. Пятый, последний и самый краткий отдел этой книги, содержит единственную статью Григорьева, в которой критик в форме писем к Ф. М. Достоевскому хотел изложить теоретические основы «органической критики». К сожалению, этот «курс» обрывается вторым письмом, т.-е. в сущности только введением к задуманному циклу.

Но, конечно, несмотря на недостатки, «Сочинения Аполлона Григорьева» под редакцией Н. Н. Страхова были ценным изданием — и не только для свое о времени. Тот же Спиридонов отметил, что «значение издания Страхова огромно... оно было единственным изданием, по которому читатели не-специалисты имели возможность знакомиться с Григорьевым по его лучшим произведениям... если дарование Григорьева, как кри-

тика является фактом общепризнанным, то этим мы обязаны Страхову». (Полное обр. соч. и писем).

Известно, что Страхов предполагал осуществить четырехтомное издание главных, по его мнению, трудов Григорьева. В следующих, втором и третьем, томах он хотел дать статьи «об отдельных литературных явлениях, полемические заметки, обозрения журналов», а в последнем — стихи Григорьева и его переводы иностранных поэтов, а также некоторые прозаические труды и мемуары критика. Но если бы это издательское начинание и было бы осуществлено, оно оказалось бы далеко неполным. Страхову в то время многие произведения Григорьева были неизвестны.

Только через несколько десятилетий после выпуска Страховым первого тома сочинений Григорьева стала ощущаться потребность продолжения этого издания. По просьбе сына Григорьева, Страхов передал подготовленный им материал какому-то «значительному лицу» в печатном деле. Но этот издатель не только затерял полученные им материалы, но позднее, после смерти Страхова (1896) и сына Григорьева (1898), вовсе отрицал их получение. Как передает внук Григорьева, Владимир, от этой пропажи материалов Страхов «не мог утешиться до конца жизни». (Полное собр. соч. и писем). Сам же он с горечью замечает, что «как над жизнью, так и над литературным наследием Ап. Ал. Григорьева тяготеет какой-то fatum, и я отказался от мысли об издании его сочинений». (Полное собр. соч. и писем). Таким образом, сборник под редакцией Страхова оказался единственным собранием критических работ Аполлона Григорьева. К пятидесятилетней годовщине со дня его смерти предполагалось юбилейное издание, и оно стало успешно осуществляться. Но за два месяца до юбилея (Григорьев умер 25 сентября 1864 года) началась Первая мировая война и все издательские планы были заброшены.

Четырнадцать отдельных выпусков критических статей Григорьева под редакцией В. Ф. Саводника, сборник стихотворений под редакцией Александра Блока и, наконец, книга под редакцией Владимира Княжнина «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии» (Пг. 1917) — вот все, что было издано из предъюбилейных планов 1914 года. (Здесь не упоминаются отдельные незначительные публикации произведений Ап. Григорьева). Выпуски, выходившие под общим заглавием Собрание сочинений Аполлона Григорьева, печата-

лись в течение 1915-го и 1916-го годов. Упомянутые книги под ред. Александра Блока и Вл. Княжнина появились в печати в эти же военные годы и распространения не получили.

И все же было бы несправедливо отрицать значение появления в печати литературно-критических работ Аполлона Григорьева в виде отдельных выпусков под редакцией Саводника. Они не только знакомили читателя с забытым критиком и мыслителем, но и ставили вопрос о полном издании его трудов. Такой попыткой и является первый том задуманного Полного собрания сочинений и писем А. Григорьева под редакцией и со вступительной статьей В. Спиридонова.

Ученик известного литературоведа С. А. Венгерова, Спиридонов приступил к редакторской работе во всеоружии общей и специальной подготовки. Этот молодой тогда исследователь проделал большую, кропотливую работу по подготовке Полного собрания. Изучая Григорьева, Спиридонов в течение девяти лет одновременно вел усиленные розыски как затерявшихся статей Григорьева, так и вовсе неизвестных, о существовании которых он «вычитал» у критика и в переписке его друзей и современников. В результате этой поистине огромной работы, Спиридонову удалось обнаружить более тридцати новых статей Ап. Григорьева. Кроме того, он обследовал архивы библиотек и учреждений, к которым имел отношение критик при своей жизни. И хотя Спиридонов и оставался неудовлетворен обнаруженными им архивными материалами о Григорьеве, он намного пополнил эпистолярное наследие о критике. Обнаруженные им письма и документы Спиридонов обещал опубликовать в четвертом и десятом томах Полного собрания. Часть же из этих материалов он использовал для биографии критика, начало которой помещено уже в первом томе.

Полное собрание сочинений и писем А. А. Григорьева под редакцией В. Спиридонова было рассчитано на двенадцать объемистых томов. Появление первого тома этого издания (1918) обещало опубликование критических статей Ап. Григорьева, его прозы, поэтических произведений, переводов, писем и документов. Первые четыре тома, по мысли редактора, должны были составить основу всего издания. Здесь предполагалось поместить все «начатые, но неоконченные курсы», их продолжения, а также письма критика. В следующие пять томов (от пятого до десятого) должны были войти остальные литературно-критические работы, обзоры и статьи о театре.

Поэтическим произведениям Григорьева и его переводам предназначались два тома — десятый и одиннадцатый. Последний же, двенадцатый том отводился эпистолярному материалу. Таким образом, предполагаемое издание было бы первым научным собранием трудов Григорьева, которое заполнило бы большой пробел в русской литературе. Увы! И на этот раз все кончилось выпуском лишь одного, уже упомянутого первого тома. Именно это, т.-е. ограниченность издания всего одной книгой, делает и ее менее ценной: ведь даже обстоятельная биография Григорьева обрывается здесь на самом интересном и главном периоде жизни и деятельности Ап. Григорьева. Словосочетание «Полное собрание сочинений и писем» по отношению к Григорьеву до сих пор звучит иронией, вводя в заблуждение и иностранных и русских исследователей. Любопытно, что нигде не сказано ни одного слова о судьбе материала для двенадцатитомного издания. Спиридонов, наиболее компетентный исследователь Ап. Григорьева, после юбилейных торжеств 1922 года, где он произнес речь о жизни критика, нигде, как нам известно, не опубликовал какой-либо значительной работы о Григорьеве. Трудно поверить, чтобы этот литературовед добровольно отказался от своего дела жизни — исследования и изучения жизни и творчества оригинальнейшего русского критика и мыслителя Ап. Григорьева.

В первом томе под редакцией Спиридонова, кроме критических статей «москвитянского периода» 1851-1855 г.г., биографических мемуаров критика «Мои литературные и нравственные скитальчества», помещенных здесь вне хронологической последовательности, опубликована также статья Владимира Григорьева — внука критика. В предисловии редактор посвящает читателя во все стадии своего изучения и редактирования произведений Ап. Григорьева. Книга снабжена подробными примечаниями и справками.

Таким образом, весь «основной фонд» критических трудов Григорьева до сих пор ограничивается: книгой под редакцией Н. Страхова, ее перепечаткой с некоторыми добавлениями Саводником и первым томом под редакцией В. Спиридонова. Из других изданий о Григорьеве следует назвать, по крайней мере, две книги. Это — «Материалы для биографии», под редакцией Влад. Княжнина (Пг. 1917), в которой впервые приводится библиография о Григорьеве (328 названий работ), письма, документы и первый чрезвычайно ценный «опыт крат-

кой хронологической канвы для биографии Аполлона Алек-сандровича Григорьева». Книге предпосланы предисловие и вступительная статья: «А. А. Григорьев и Л. Я. Визард». Сле-дует отметить, что как Княжнин, так и Спиридонов свою ис-следовательскую работу о Григорьеве проделали до революции. «Материалы для биографии» вышли в сентябре 1917 года, «Полное собрание сочинений и писем» под редакцией Спири-донова — несколько позже — в 1918 году.

Единственным изданием советского периода является книга воспоминаний Григорьева и «Воспоминания и статьи об Аполлоне Григорьеве», ред. и комм. Р. В. Иванова-Разумника (Академия, 1930).

Естественно, что все перечисленные сборники сочинений Григорьева, а также и работы о нем являются сейчас большой библиографической редкостью и доступны только немногим.

Несколько лучше обстояло дело с поэтическими произведениями Григорьева. Как известно, первый сборник его стихов вышел под редакцией самого поэта в 1846 году. В него вошли ранние стихотворения Григорьева. Вся поэзия Григорьева, так же, как и его переводы западноевропейских поэтов оставалась не собранной до 1916 года, до времени появления книги «Стихотворения Аполлона Григорьева» под редакцией Александра Блока. В критической литературе уже отмечались достоинства Блока — редактора и комментатора этого сборника. Его вступительная статья «Судьба Аполлона Григорьева» вызвала осуждения и возражения. Это издание под редакцией Блока более двадцати лет было единственным сборником стихотворений Григорьева, вышедшем в XX веке. В советское время только в 1937 году вышла первая книга стихов Ап. Григорьева (Малая серия «Библиотеки поэта»). До появления более серьезного издания прошло еще двадцать лет. В 1959 году вышел сборник, в который вошли почти все поэтические произведения Григорьева (Аполлон Григорьев, Избранные произведения, «Библиотека поэта». Большая серия, 1959). Подробные примечания увеличивают ценность этой книги. Вступительная же статья впервые в пореволюционное время пытается охарактеризовать творческую личность Ап. Григорьева. В 1966 году вышло еще издание стихотворений и поэм Григорьева (Малая серия, «Библиотека поэта», М.-Л. 1966). Таким образом, «богатое царство мыслей» (Блок) Григорьева,

как-будто, несмотря ни на что продолжает завоевывать сердца и умы современных читателей.

Упоминая издания произведений Аполлона Григорьева, было бы несправедливо умолчать о переводе его мемуаров на английский язык. (Appollon Grigoryev. My Literary and Moral Wanderings. Translated from the Russian and with an introduction, by Ralph E. Mathlaw, New York. Dutton, 1962). Профессор Mathlaw проделал поистине героическую работу, которую могут оценить лишь те, кто знаком со стилем и синтаксисом Григорьева. Содержательная вводная статья, знакомящая читателя с основными моментами жизни и творчества Григорьева выгодно отличает этот перевод. И все же профессору Mathlaw не удалось избежать традиционных мнений и оценок, мешавших в свое время понять этого выдающегося русского писателя.

Может быть в Аполлоне Григорьеве Россия имела одного из своих наиболее оригинальных и самобытных (в лучшем смысле этого слова) мыслителей. Многие из идей Григорьева получили творческую «обработку» и в художественных, и в публицистических произведениях Достоевского. Читая Бердяева и других русских религиозных мыслителей, нередко видишь, что они повторяют многие мысли Григорьева.

Думается, что известный критик Л. Гроссман («Русская Мысль», ноябрь, 1914) не сильно преувеличивал, когда характеризовал Ап. Григорьева, как «одного из крупнейших европейских критиков новейшей формации, тонкого литературного аналитика-философа, глубокого поэта во всех своих раздумьях и оригинальнейшего новатора в излюбленной им области — изучении и толковании художественного творчества».

Но подлинному изучению всей многосторонней литературной деятельности Аполлона Григорьева, установлению его действительного влияния на развитие русской литературно-философской мысли должно, конечно, предшествовать издание полного собрания сочинений этого своеобразного русского писателя и мыслителя.

В. Крупич

I

Расссветало. Расцветало небо.
Расцветал еще туманный луг. Никог
да во Франции ты не был, Мой
далекий, одинокий друг. Никогда во
Франции не будешь. Что тебе о ней
мне написать?
О моем уже привычном чуде
Новыми словами рассказать.
Я устал от всех великолепий,
Лучших в мире сыра и вина.
Мне все чаще стали сниться степи,
Но еще в цепях из чугуна.
Наша родина в бетоне и в железе;
Но над ней уже витает дух
Не поэзии, а множества поэзий, Не
произнесенных вслух.
Здесь давно все сказано и спето:
Вековая гладь и благодать.
Вот про это, именно, про это
И хотел тебе я написать.

II

Что сохранил я для мира?
Стихов непредвиденный срок,
Кусок азиатского сыра,
Водки короткий глоток,
Запах белых акаций, Окаменевшую
мать.
Можно ли все это вкратце
Музе моей передать?

Николай Туроверов

ПАТРИОТЫ

Повело кота на крышу,
Я его стенанья слышу.
Рваны уши, хвост трубой,
Рвется кот в последний бой.

Горки Сивку укатали.
Для меня ли, для кота ли
Не житуха, а страда,
В наши зрелые года.

У меня хоть целы уши,
Ободрали только душу.
Все ж встаю во весь свой рост:
Дыбом шерсть, пружинит хвост.

Кот и я не пацифисты,
Духом смелы, сердцем чисты.
Не теряем мы лица,
Будем биться до конца.

Чтоб, как в смертной лихорадке,
В роковой последней схватке,
Скаля судорожно пасть,
На родную крышу пасть.

Глеб Глинка

ПИСЬМА М. ЦВЕТАЕВОЙ К В. ХОДАСЕВИЧУ

ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ С. КАРЛИНСКОГО

Среди крупных русских поэтов, оказавшихся в эмиграции после октябрьской революции, Марина Цветаева и Владислав Ходасевич были как бы полярны друг другу — и по литературно-эстетическим позициям и в плане общественно-политическом и даже, наконец, в порядке их личных склонностей и характеров. В течение почти двух десятилетий, несмотря на личные встречи и знакомство, этих двух поэтов разделяло взаимное непонимание и даже недоверие, которые усиливались по мере развития их поэтических дарований. Тем более знаменательно то литературное и личное сближение этих мастеров русской поэзии, осуществившееся к 1930-ым годам и отразившееся в публикуемой ниже переписке.

Цветаева и Ходасевич, оба, до революции были москвичами. Вскоре после первых литературных дебютов Марины Цветаевой, Ходасевич поместил в 1912 г. в сборнике «Альциона» довольно насмешливый разнос ее второго сборника стихов, «Волшебный фонарь», где упрекал Цветаеву в деланной наивности и детскости.

Повидимому, Цветаева и Ходасевич встретились лично еще в дореволюционные времена. В 1911 г. они оба участвовали в сборнике издательства «Мусагет» — в то время Цветаевой покровительствовал Максимилиан Волошин, хорошо знавший Ходасевича. И Ходасевич и Цветаева в те годы часто гостили у Волошина в Коктебеле. Однако, более тесное знакомство между двумя поэтами началось в первые годы их эмиграции (1922-1924 гг.). Но литературной близости или симпатии и тут между ними не наладилось. К 1920-ым гг. стиль поэзии Цветаевой приближался к квази-футуристическому; близкими себе поэтами она считала Мандельштама, Маяковского и особенно Пастернака. Поэтическое искусство Ходасевича, с его сплавом классики и романтики, мало затрагивало Цветаеву, а одно его стихотворение («Жив Бог!», опублико-

ванное в 1923г.) ее даже задело. В этом стихотворении Ходасевич писал:

Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий,
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет

Хотя Ходасевич в этих строках имел в виду заумную поэзию футуристов вроде Алексея Крученых (и более отдаленно, возможно, Хлебникова), Цветаева приняла эти стихи, как «прямой вызов Пастернаку и мне. (Мой единственный брат в поэзии!) 'Ангела, Богу предстоящего' я всегда предпочитаю человеку...» (Письмо М. Цветаевой к А. Бахраху, 25-го июля 1923 г., см. журнал «Мосты», № 5, 1960 г.). Через несколько месяцев, в письме к тому же корреспонденту, Цветаева снова упоминает о своей нелюбви к поэзии Ходасевича («до содрогания!») и свое предпочтение ей поэзии Мандельштама, с ее «магией» и «чарами». (Письмо 5-го и 6-го сентября 1923 г., «Мосты», № 6). Дело тут, повидимому, в отсутствии «созвучности, в пристрастиях и оттолкновениях», о чем Цветаева упоминает в связи с Ходасевичем в том же письме.

Со своей стороны, в середине 20-х гг., Ходасевич отзывался о поэзии Цветаевой более чем сдержанно в печати и уже совсем насмешливо-пренебрежительно в частной переписке. Так, в письме к издателю журнала «Благонамеренный», опровергая могущие, по его мнению, возникнуть обвинения в саморекламе, Ходасевич просит не приписывать ему «приемы, достойные Марины Цветаевой» (неопубликованное письмо 1926 года к кн. Д. А. Шаховскому, находится в личном архиве Архиепископа Иоанна Сан-Францисского).

Наконец, в 1926 г. в отношениях двух поэтов (к тому времени оба проживали в Париже), и без того не очень близких, наступает период полного отчуждения, в связи с выходом в свет журнала евразийцев «Версты». Журнал выходил под редакцией кн. Д. Святополк-Мирского, П. Сувчинского и мужа Марины Цветаевой, Сергея Эфрона; на обложке каждого из трех вышедших номеров фамилия Цветаевой значится на первом месте среди ближайших сотрудников журнала. Журнал «Версты» был встречен в эмигрантской печати того времени почти с негодованием, вызванным как политической позицией

редакторов-евразийцев, так и стремлением журнала знакомить эмигрантского читателя с лучшими произведениями русских писателей, проживавших в Советском Союзе. Перепечатка в «Верстах» текстов Есенина, Пастернака, Тынянова, Бабеля и т. д. вызвала у многих возмущение; самое резкое нападение на этот журнал было сделано как раз Владиславом Ходасевичем на страницах « Современных Записок». Эта статья, пристрастная и запальчивая (и потребовавшая, по свидетельству одного из редакторов «Современных Записок», М. В. Вишняка, разъяснений и извинений в последующем номере журнала) не могла не оттолкнуть Цветаеву. Правда в своей статье о «Верстах» Ходасевич воздержался от личных нападок на Цветаеву, не в пример И. А. Бунину и З. Н. Гиппиус, тоже опубликовавшим статьи об этом журнале.

После участия Цветаевой в «Верстах» все отчетливее ста-ло определяться отрицательное отношение большинства па-рижской эмигрантской критики к ее творчеству. К концу 20-х гг. могло казаться, что и Ходасевич неизбежно останется в числе ее литературных врагов. В 1928 г. Цветаева опублико-вала в «Современных Записках» трагедию «Федра», использо-вав русское просторечие и деревенский говор в своей трак-товке греческого мифа. Эмигрантская критика — в лице Г. Ада-мовича, В. Вейдле, В. Сирина (Набокова) и Ходасевича — единодушно обрушилась на такое стилистическое решение проблемы «модернизации» трагедии. Ходасевич, в частности, писал о «Федре»: « ... ничем не оправданное и безвкусное сме-шение стилей». И далее: «Если принять во внимание неудер-жимое многословие действующих лиц при отсутствии действия, то, кажется, трагедию Цветаевой придется, в память Козьмы Пруткова, назвать 'неестественно-разговорным представлени-ем', в котором нарочитость языка сочетается с небогатством содержания».

Отзыв Ходасевича не отличается по своему тону от вы-сказываний о «Федре» прочих упомянутых критиков (что, на мой взгляд, доказывает несостоятельность применения крите-риев «хорошего вкуса» и «изящного стиля» к истинно-новатор-ским произведениям).

Но уже в том же 1928 году в отношении Ходасевича к Цве-таевой наметился перелом, что явствует из его рецензии на ее книгу «После России». Рецензия, сдержанная и скупая на похвалы, показывает, что Ходасевич только начинал вчиты-

ваться в трудно-доступную поэзию Цветаевой позднего периода. Многие стихотворения он отвергает как незаконченные или чересчур усложненные; другие, написанные в той же манере, он признает удавшимися («законченные и цельные»), но не излагает оснований для такого разделения. Все же, если учесть, что за исключением М. Слонима и А. Бема, вся эмигрантская критика или обходила молчанием, или обрушивалась отрицательными отзывами на этот самый зрелый и значительный из опубликованных Цветаевой сборников, то при всей сдержанности рецензии Ходасевича в ней звучат новые для него ноты, в таких, напр., высказываниях как: «Она гораздо одареннее Пастернака, непринужденней его, вдохновенней. Наконец, и по смыслу — ее бормотания глубже, значительней». «Есть богатство эмоциональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее же словами — 'Присягаю: люблю богатых!' Сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады 'люблю Цветаеву'».

К началу 1930-ых гг. и Ходасевич и Цветаева чувствовали себя, вероятно, изолированными от общего течения эмигрантской литературы. Старшие писатели тяготели к бытописательству или к мистике, молодое литературное поколение под водительством Г. Адамовича понемногу обретало «парижскую ноту». Ни с кем из них ни Цветаевой, ни Ходасевичу не было по пути. В журнале «незамеченного поколения», «Числах», Ходасевич не принимал участия, а Цветаева терпелась на самой крайней периферии. Надо думать, что к тому времени и Цветаева и Ходасевич более внимательно вчитались в поэзию друг друга и, быть может, им открылась незамеченная раньше внутренняя близость.

Поводом к возобновлению личных отношений послужила работа Цветаевой над мемуарным очерком «Живое о живом», о поэте Максимилиане Волошине. В этом очерке Цветаева вывела сатирически обрисованный персонаж поэтессы-графоманки Марии Паппер, носившей в Москве свои стихи ко всем поэтам. В роли преследуемого Марией Паппер поэта (собирательная фигура изве тного поэта — вообще) в очерке выступает Ходасевич. Опасаясь вспыльчив сти и обидчивости Ходасевича, редакторы «Современны Записок» (для которы писало ь «Живое о живом») посоветовали Цветаевой выбросить сценку с Хода евичем, что дало ей повод обратиться лично к Ходасевичу за разрешением и таким образом возобновить прерван-

ные отношения. Ответ Ходасевича был, очевидно, положительным, так как эпизод с Марией Паппер в очерке «Живое о живом» остался. («Живое о живом» напечатано в журнале «Современные Записки», №№ 52 и 53; перепечатано в сборнике М. Цветаева, «Проза», Нью-Йорк, 1952 г.).

Именно после возобновления личных отношений, отразившегося в первых двух из публикуемых писем, начинается серьезное и внимательное отношение Ходасевича-критика к творчеству Цветаевой. Очерк «Живое о живом» открывает собой период творческой зрелости Цветаевой, как прозаика — за ним следует целый ряд мемуарных произведений на литературные и личные темы, являющихся вершиной цветаевской прозы. В своих критических фельетонах, печатавшихся в газете «Возрождение» под заглавием «Книги и люди», Ходасевич давал пространные, тепло и проникновенно написанные разборы цветаевской прозы.

Цветаева, со своей стороны, посвятила Ходасевичу свой очерк об Андрее Белом, «Пленный дух», в тексте которого с восхищением упоминается мемуарный очерк самого Ходасевича о Белом. («Пленный дух» был перепечатан в журнале «Москва», № 4, 1967 г. Как и другие прозаические вещи Цветаевой, печатающиеся в Советском Союзе за последнее время, этот очерк подвергся ряду цензурных купюр, в данном случае особенно изуверских, т. к. вырезаны все упоминания о потусторонней жизни и о тяготении Белого к иным, идеальным мирам, снято по совершенно непонятным соображениям и посвящение Ходасевичу; исключены и все упоминания о нем в очерке). Весьма положительная оценка, данная Ходасевичем этому произведению Цветаевой в газете «Возрождение» («не только художественно-блистательное чтение, но и в высшей степени любопытный источник осведомления»), сопровождалась оговоркой, что посвящение этой вещи Ходасевичу на его критическом подходе не отразилось. В назидание младшим эмигрантским литераторам, и во избежание сравнений с «кукушкой и петухом», Ходасевич заявил в конце рецензии: «Мы с Цветаевой можем хвалить или порицать друг друга ничем не смущаясь».

Будучи тонким и убедительным истолкователем цветаевской прозы, Ходасевич-критик в 30-ые гг. по новому вчитался и в цветаевскую поэзию и в ней для него открылось кое-что новое (отметим, что такие безоговорочные поборники цветаев-

ской поэзии, как Борис Пастернак или кн. Д. Святополк-Мирский, также далеко не сразу оценили ее достоинства). Так, о стихотворении «Роландов рог» Ходасевич в 1933 г. писал: «Рискованное по приемам, оно очень неровно, наряду с удачами в нем отдельные неудачи, но в самой этой рискованности, в неровности — сколько еще искания новизны, то есть именно движения и жизни». И дальше: «Ее неустанное внутреннее горение прекрасно и драгоценно». В 1935 г. о стихотворении «Тоска по родине! Давно...» Ходасевич писал, что оно «исключительно тягостно по мысли и столь же сильно по выполнению. Это одно из самых замечательных ее стихотворений за последние годы». И наконец, в 1937 г. в рецензии Ходасевича о пушкинском цикле стихотворений Цветаевой, оговорки о неровности и частых неудачах Цветаевой (обязательные для русской парижской критики 1930-ых годов) исчезают: «Стихотворение 'Петр и Пушкин' прекрасно по замыслу и восхитительно по форме». Высокая оценка цветаевского творчества, к которой Ходасевич пришел к середине 30-ых годов не просто отражение их новых дружеских личных отношений — хвалебные отзывы Ходасевича всегда подробно аргументированы и доказаны.

С 1937-го года начинается самый тягостный период эмигрантского существования Цветаевой. Ее муж, Сергей Эфрон, занимается подрывной антиэмигрантской деятельностью в парижском «Союзе возвращения на родину». К началу 1938 г. в русской эмигрантской и во французской прессе появляются статьи, изобличающие мужа Цветаевой, как террориста и агента ГПУ, после чего следует его бегство в Испанию. Парижская эмиграция отворачивается от Цветаевой в это страшное для нее время. У Цветаевой начинает назревать мысль о возвращении в СССР. Ходасевичу эти настроения Цветаевой и люди, которые ее тогда окружали, были более чем чужды, но ко времени тяжких испытаний Цветаевой между ней и Ходасевичем уже был заключен некий божественный союз поэтов, стоявший выше политических или бытовых соображений. Конечно, Ходасевич не мог сочувствовать отъезду дочери Цветаевой, А. С. Эфрон, в Советский Союз, о котором она ему сообщает в письме 13-го марта 1937 г. Но именно в этом письме так сильно звучит нота их вне-политической и даже внелитературной близости — близости двух больших русских поэтов, которым не было места в советской литературе и кото-

рые к середине 30-ых гг. остались одиноки и в эмигрантской литературе. Исключительный интерес в этом письме представляет описание Цветаевой похорон Евгения Замятина. Очень показательно и по своему верно, что Цветаева «с горечью и благодарностью» вписывает себя, Ходасевича и Замятина в некий треугольник надпартийных, надгрупповых, внутренне-спаянных своей литературной независимостью писателей.

Последнее из написанных Цветаевой в эмиграции прозаических произведений — большой мемуарный очерк «Повесть о Сонечке» (первая часть напечатана в «Русских Записках» в 1938 г.) — воспоминания о подруге Цветаевой, молодой актрисе Сонечке Голлидэй, и о дружбе Цветаевой с актерами и актрисами вахтанговской Третьей студии в Москве в 1918-20 гг. Хотя сюжет «Повести о Сонечке» как будто и не имеет отношения к Владиславу Ходасевичу, его имя там упоминается два раза в таком контексте, который дает право думать, что к 1937 г. Цветаева считала Ходасевича не только близким себе человеком, но и как бы литературным ментором. В опубликованной первой части очерка, рассказывая о том, что Сонечку Голлидэй многие считали злой, Цветаева поясняет:

«Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А —'злоба?' — как у нас с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней ответ, еще верней рипост языковой одаренности, языковая **сдача.** Либо рипост — кошачей лапы». А в рукописи неопубликованной второй части «Повести о Сонечке», делая указания наборщикам, как проставлять тире «соединительные» и «разъединительные», Цветаева добавляет — не для редактора или наборщиков, а явно для самой себя — «Так меня научил Ходасевич».

Одним из последних критических отзывов на произведение Цветаевой в эмигрантской прессе перед ее отъездом в Советский Союз был подробный разбор Ходасевичем первой части «Повести о Сонечке» («Возрождение», 25-го марта 1938 г.), где он писал: «Это — один из тех литературных портретов, в которых Марина Цветаева за последние годы обрела себя, как прозаика, и обнаружилась настоящим мастером. Тема, по существу мемуарная, в них разработана при помощи очень сложной и изящной системы приемов — мемуарных и чисто беллетристических. Таким образом, оставаясь в пределах действительности, Цветаева придает своим рассказам о людях, с

которыми ей приходилось встречаться, силу и выпуклость художественного произведения».

Ходасевич умер летом 1939 г., за несколько недель до возвращения Цветаевой в Россию. Есть сведения, что он был одним из очень немногих русских, причастных к литературе, которые, перешагнув через тяготевший над Цветаевой бойкот (вызванный деятельностью ее мужа), продолжали с ней лично встречаться в последние два года ее жизни в Париже. Присутствие Цветаевой на похоронах Ходасевича 16-го июня 1939 г. недавно описала Н. Н. Берберова в американском журнале "The New York Review of Books".

Цветаева посвятила Ходасевичу свой замечательный очерк «Пленный дух». О стихотворениях Ходасевича или Цветаевой, обращенных друг к другу — сведений нет. Между ними не было и не могло быть такого стилистического и духовного родства, какое связывало, скажем, Цветаеву с Пастернаком. Но их поэтическая и человеческая близость, преодолевшая все их расхождения и разногласия и отразившаяся в письмах Цветаевой, интересна и биографически и глубоко-значительна для понимания главной сущности поразительного расцвета русской поэзии в первой половине 20-го века.

Печатаемые ниже четыре письма М. И. Цветаевой к В. Ф. Ходасевичу получены из архива Йельского университета и публикуются с любезного разрешения Н. Н. Берберовой.

Семен Карлинский

Clamart (Seine), 10, Rue Lazare Carnot.

12-го июля 1933 г.

Милый Владислав Фелицианович,

— Не удивляйтесь —

Только-что получила от Руднева[1] письмо с следующей опаской: — в моей вещи о Максе Волошине я даю его рассказ о поэтессе Марии Паппер и, между прочим, о ее Вас посещении. Всего несколько строк: как поэтесса всё читает, а Вы всё слушаете. Вы даны **очень** милым и живым, **всё** сочувствие на Вашей стороне (верьте моему такту и esprit de corps: **я** настоящих поэтов **никогда** не выдаю, и если ругаю — бывает! — то знаю, кому: никогда не **низшим**). Словом, десятистрочная сценка,

кончающаяся Вашим скачком: «простите, мне надо идти, ко мне сейчас придет приятель, и меня ждет издатель...» А через неделю — сидит поэт, пишет стихи — нечаянный взгляд в окно: а в окне — за окном — огромные мужские калоши, из калош шейка, на шейке головка... И тут обрывается.

Вы — явно dans le beau rôle: серьезного и воспитанного человека, которому мешает **монстр.** Весь рассказ (как он и был) от имени Макса Волошина. И вот Руднев, которого научил Вишняк, убежденный, что все поэты «немного не того», опасается, как бы Совр. Запискам от Вас — за **МОЙ** рассказ!!! — не нагорело. (NB! **Авторской** ответственности они (Записки) совершенно не признают).

— Как быть? — пишет Руднев. Заменить Ходасевича — вымышленным именем? Вовсе выбросить сценку? Спрашивать разрешения у Ходасевича — что-то глупо...

А я нахожу — вовсе нет. И вот, спрашиваю. Если Вы меня знаете, Вы бояться не будете. Если забыли — напоминаю. Если же, и зная, несогласны — напишу вместо Вас просто: ПОЭТ, хотя, конечно, прелести и живости убудет.

Пишу Вам для окончательной очистки совести. Вы, конечно, можете мне ответить, что никакой Марии Паппер не помните, но она **наверное** у Вас была, ибо она — собирательное.

До-свидания, ОЧЕНЬ прошу Вас отозваться сразу, ибо должна вернуть корректуру.

Всего доброго, М. Цветаева.

«Я великого, нежданного,
Невозможного прошу.
И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу».[2]
(Мария Паппер, Париж, 1911 г.).

— вот, чем она Вас зачитывала —

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. В. Руднев (1879-1940) один из главных редакторов журнала «Современные Записки». В 1930-ых гг. Цветаева печаталась в «Современных Записках» чаще, чем в каком-либо другом эмигрантском издании. Из опубликованной переписки Цветаевой с Ю. П. Иваском и, особенно, с Г. П. Федотовым («Новый Журнал», кн. 63), как и из данного письма к Ходасевичу, складывается довольно удручающая картина постоянной и часто безуспешной борьбы Цветаевой против «отчаяния сокращений», в которое ее иногда ввергала редакторская

правка Руднева. Не подлежит сомнению, что редакционные сокращения цветаевских текстов Рудневым выходили из рамок простого редактирования. В том же очерке «Живое о живом», о котором идет речь в письме, вырезано несколько поразительных по яркости страниц о смерти матери Волошина, Елены Оттобальдовны (имеются в машинописи первоначальной версии очерка, хранящейся в библиотеке Базельского университета). Трактат Цветаевой «Искусство при свете совести» был, по свидетельству самой Цветаевой, сокращен редакцией «Современных Записок» ровно наполовину. Журнал также исключил одну строфу из стихотворения, посвященного памяти Николая Гронского и не напечатал одно из самых оригинальных стихотворений Цветаевой, «Оду пешему ходу», как якобы непонятное «среднему читателю» (см. письма Цветаевой к Ю. П. Иваску).

[2] Один из двух примеров «поэзии» Марии Паппер, цитируемых Цветаевой в «Живое о живом». См. «Проза», стр. 188.

Clamart (Seine), 10, Rue Lazare Carnot.

19-го июля 1933 г.

Милый Владислав Фелицианович,

Помириться со мной **еще** легче, чем поссориться. Нашей ссоры совершенно не помню, да, по моему, **нашей** и не было, ссорился кто-то — и даже что-то — возле нас, а оказались поссорившимися — и даже поссоренными — мы.

Вообще — вздор. Я за одного настоящего поэта, даже за половинку (или как в Чехии говорили: осьминку) его, если бы **это** целое делилось! — отдам сотню настоящих не-поэтов.

Итак —

Осенью будем соседями, потому-что из-за гимназии сына[1] переезжаем в Булонь.

Как давно я не училась в гимназии! Прыжки с кровати, зевки, звонки — даже жуть берет! И главное — на сколько лет! (Он поступает в первый приготовительный). У меня было два неотъемлемых счастья: что я больше не в гимназии и что я больше не у большевиков — и вот, одно отнимается...[2]

Итак — до октября! Тогда окликну.

Паппер (Марию) перечла с величайшей, вернее — мельчайшей тщательностью и ничего не обнаружила, кроме изумительности Вашего терпения: невытравимости Вашей воспитанности.

Спасибо. М. Ц.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сын Цветаевой, Георгий Эфрон (1925-1942?), поехал с нею в Советский Союз и погиб на фронте во время войны.

[2] «Есть в моей жизни несколько незыблемых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и — не слышать метронома». (М. Цветаева, «Мать и музыка», см. «Проза», стр. 80).

С праздником, дорогой В. Ф.!

И с очередной — срочной — просьбой (завершительные строки статьи о Гронском): **кто** из русских поэтов умер **до** 30 л.?[1] Лермонтов, Веневитинов (??), Бенедиктов,[2] Надсон, — ещё кто? Можно и XVIII в., но там, по-моему, жили поздно. А среди нас? Наверное кого-нибудь основного забываю.

— Умоляю! Если можно — pneu, п. ч. **надеюсь** к сороковому дню (31-го).

Сердечный привет Вам и О. Б.

МЦ.

2-ой день Рождества 1934 г.
Vanves (Seine), 33, Rue J.-B. Potin.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Николай Гронский (1909-1934) — молодой эмигрантский поэт, творчество которого сформировалось под сильным воздействием поэзии Цветаевой. Цветаева считала его как бы своим учеником в поэзии и чувствовала свою с ним духовную близость («Гронский был *моей* породы»). После гибели Гронского (несчастный случай в парижском метро), Цветаева написала по просьбе его отца, общественного деятеля и сотрудника газеты «Последние новости» П. П. Гронского, большую статью о творчестве Гронского, «Поэт-альпинист», которую Гронский-отец хотел поместить в своей газете. Между Цветаевой и редактором «Последних новостей» П. Н. Милюковым сложились трудные и неблагоприятные для Цветаевой отношения. Еще в 1929 г., после приветствия Цветаевой Маяковскому в евразийской газете, «Последние новости» прекратили публикацию печатавшегося из номера в номер цветаевского цикла о гражданской войне «Лебединый стан». Когда в середине 1930-ых гг. «Последние новости» стали опять печатать цветаевские вещи, ей пришлось столкнуться с редакционными сокращениями еще более «отчаянными» чем в «Современных Записках». В связи с ее мемуарным очерком «Сказка матери» («Последние новости», 17-го февраля, 1935 г.), Цветаева писала Иваску: «Мою последнюю вещь — *изуродовали:* сорок самовольных редакционных сокращений посреди фразы. Убирали эпитеты, придаточные предложения, иногда просто *два слова* (главных'

то, ради чего — вся фраза. Ведь это *детская* речь!) Сказка матери — *не моя вещь*. Отказываюсь...»

Статья «Поэт-альпинист» (первоначальное заглавие — «Посмертный подарок») пролежала в редакции газеты три месяца. Цветаева должна была ввиду объема статьи разделить ее на две части — как бы две отдельных статьи на ту же тему. Однако, и после этого редакция «Последних новостей» не напечатала статью.

Описывая перипетии этого инцидента в письме Иваску, Цветаева имела основания воскликнуть: «Надо мной здесь *люто* издеваются, играя на моей *гордыне*, моей *нужде* и моем бесправии. (Защиты — нет)». Свою большую статью о Гронском Цветаевой так и не удалось напечатать в эмигрантской прессе («Современные Записки» поместили ее маленькую, в пол-страницы, заметку «О книге Н. П. Гронского 'Стихи и поэмы'», кн. 61). Статья «Посмертный подарок» была опубликована только в переводе, под заглавием «Поэт-альпинист», в белградском журнале "Ruski arhiv", кн. 26-27. Сильно сокращенный вариант этой статьи (почти вдвое короче сербского перевода) появился в V-м альманахе «Воздушные пути».

[2] Цветаева ошибается, причисляя В. Г. Бенедиктова к рано умершим поэтам: он дожил до семидесятилетнего возраста (1807-1873).

Vanves (Seine), 65, Rue J.-B. Potin.

13-го марта 1937 г., суббота.

Дорогой Владислав Фелицианович и дорогая Ольга Борисовна,[1]

Не дивитесь моему молчанию — Аля[2] уезжает в понедельник, т. е. после-завтра, весь дом и весь день сведен с ума — завалы вещей — последние закупки и поручения, — неописуемо.

Как только уедет — я ваша.

Я, вообще, ваша — сейчас долго объяснять — но, чтобы было коротко: мои, это те и я — тех, которые **ни** нашим **ни** вашим. С горечью и благодарностью думала об этом вчера на свежей могиле Замятина, с этими (мысленными) словами бросила ему щепотку глины на гроб.[3] — **Почему не были??** Из писателей была только я — да и то писательница. Еще другая писательница* была Даманская.[4] Было ужасно, растравительно **бедно** — и людьми и цветами, — богато только глиной и ветрами — четырьмя встречными. Словом, расскажу при встрече, надеюсь скорой. Есть очень любопытный изустный рассказ о Москве **сейчас.** Обнимаю и скоро окликну.

МЦ.

С Замятиным мы должны были встретиться третьего дня,

в четверг, 11-го у общих друзей. Сказал: Если буду здоров. Умер 10-го, в среду, в 7 ч. утра — **один.** Т. е. в 7 ч. был обнаружен мертвым.**

У меня за него — **дикая обида.**

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ольга Борисовна Ходасевич, урожденная Марголина (1890-1942). Вышла замуж за В. Ф. Ходасевича в 1934 г. в Париже. Была арестована во время немецкой оккупации Парижа и погибла в Аушвице (Освенциме).

[2] Аля — дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон, уехала в СССР в марте 1937 г. К моменту возвращения самой Цветаевой, А. С. Эфрон уже отбывала срок заключения в исправительно-трудовых лагерях. Освобожденная в начале 1950-ых гг., А. С. Эфрон за последнее десятилетие выступает в роли редактора и комментатора советских изданий Цветаевой.

[3] Е. И. Замятин выехал из Советского Союза в 1931 г., в эмигрантских изданиях не печатался.

[4] Августа Филипповна Даманская, писательница и критик.

* Это сообщение М. И. неверно. Из писателей на похоронах Е. И. Замятина были кроме нее и Даманской — М. Слоним (организовавший похороны и наиболее близкий тогда к Замятину человек), Р. Гуль, Г. Газданов и др. Похороны были страшные. Шел дождь. Никакого церковного отпевания, даже никаких «речей» не было. Гроб опустили прямо в воду, залившую дно могилы. *Прим. ред.*

** Это сообщение М. И. неверно. При больном Е. И. Замятине неотлучно была, исключительно преданная ему, любящая его жена, Людмила Николаевна, скончавшаяся в 60-х гг. в Париже. *Прим. ред.*

ПИСЬМА С. АН-СКОГО*

Гржималов, 29 января 1917

...Ночь. Степь. Небо и земля слились в одну еле проницаемую белесоватую муть. Морозный ветер носится злыми порывами, гудит и звенит по телеграфной проволоке, крутит снег, метет его в глаза, за воротник, в рукава. Сани соскальзывают то направо, то налево по обледенелой дороге, вот-вот опрокинутся.

Держусь за край саней, стараюсь разглядеть сквозь мутную темь дорогу, — а в душе, в мыслях ощущение какой-то огромной нелепости: — Зачем плетусь я в мороз, вьюгу и тьму по чужой галицийской степи, в папахе и с шашкой? Не лучше, не разумнее было бы, если б я теперь сидел за письменным столом, обрабатывал бы материалы или писал драму, которая вся стоит в мыслях? — И я отвечаю себе, что не только моя поездка, но и все что я видел и слышал здесь за последние дни, нелепо и фантастично до ирреальности. Под влиянием этих мыслей и холода и ветра и тьмы я начинаю проникаться жалостью к себе. Но тотчас же чувствую, что это не я жалею себя, а через мое сознание меня жалеет кто-то другой. Жалеете Вы. Реально ощущаю эту ласковую жалость и в душу проникает тепло и радость... И я забываю и ночь и холод и вьюгу и нелепость жизни...

И в тот момент, когда в душе расцветает эту чувство, сани вдруг слетают с откоса, опрокидываются, я с возницею вылетаем, катимся вниз, застреваем в глубоком снегу, а через наши головы летят вещи и мешки с овсом. Слава Богу, ни я ни возница не расшиблись. С трудом выбираемся из снега. Отряхиваюсь, согреваю окоченевшие пальцы. Приводим сани в прежнее состояние. Катастрофа почему то не взволновала меня. Еще меньше возницу. Но он поражен, что я не накричал на него. А еще «офицер» в папахе и при шашке! Он был более

---

* См. кн. 87 «Н. Ж.».

высокого мнения о русской культуре. Сужу по тому, что он, не зная ни слова по-русским, перенял скверную русскую ругань и щеголяет ею, погоняя лошадей. Встретили мы обоз дров, которые везли по полицейскому наряду. На мой вопрос поскольку получают за возку, возчик старик спокойно и лаконически ответил: «По четыре нагайки». Моему вознице это так понравилось, что он час хохотал. А я своим поведением внес резкий диссонанс в его «мировоззрение». Боюсь, что он потеряет всякое уважение ко мне.

Устраиваемся и продолжаем путь. Возвращаюсь к прерванным мыслям. Почему мне, на тысячи верст в окружности одинокому, среди тьмы вьюжной морозной ночи стало тепло и радостно при мысли, что где-то человеческое сердце способно, и то не реально, а через мое воображение, откликнуться сочувственной нежностью на миг моей жизни?.. И вдруг перед глазами выступает юноша-портной, который перед моим отъездом из Скалата требовал у меня дрова для отопления комнаты с провалившейся стеной, где лежит его жена роженица с младенцем. Сейчас он у себя. В комнатке холодно, темно. Стоит у постели жены и самодовольно рассказывает ей, как он воевал со старым «офицером» из Комитета. Не сразу решился он пойти к «офицеру», но жалость к жене и младенцу взяли верх. И он пошел, плакал, требовал — и добился своего. Получил обещание добавочной порции молока, двойного пайка дров и три рубля наличными. Жена слушает его, проникается благодарностью за его героизм, может быть благоговением к его гению. И речи их проникают в душу закутанного в тряпки младенца и вызывают там тоже какой-то смутный душевный отклик. И между этими тремя душами ткется нить взаимной жалости и нежного родства.

Это я понимаю, это реально. А мои ощущения — мистика. Но эта мистика факт и я его принимаю. Тогда выступает другой вопрос: если это «жаление» такое дорогое и ценное чувство, заслужил ли я его? Начинаю вспоминать и разбирать свою жизнь. И на душе становится все тяжелее, неуютнее. Не сумел создать яркой и красивой жизни. Накипают слезы. Настроение становится покаянным. Хочется исповедаться перед кем-то Высшим и Светлым. И в уме складываются рифмованные строки, которые понемногу успокаивают душевное состояние:

Хозяин задал мне святую работу,
Доверил мне золото, жемчуг без счета,
Он дал мне и кисть и резец.
И молот он дал мне, и искры, и пламень,
И мачты, и сталь, и строительный камень, —
Доверил мне все, как отец.
Я должен был высечь алтарь из гранита
И келью воздвигнуть для строгого скита,
Для храма создать образец.
И колокол вещий отлить для набата,
И гордую сталь закалить для булата,
Построить волшебный дворец.
Я должен был свиток заветов составить,
Я должен был золото с жемчугом сплавить
И выковать царский венец...
Вот сроки подходят закончить работу.
Потребует скоро Хозяин к отчету, —
А с чем я пред ним покажусь?
Не внял я великим пророческим зовам
Писал я мой свиток не огненным словом,
В него заглянуть я стыжусь.
Рассыпал мой жемчуг, как камень негодный,
Безумно растратил металл благородный
На жадную прихоть свою...

На этом оборвалось вдохновение. Приехали в Гржималов. Хозяйка постоялого двора, у которой я уже раз был, растопила в комнате печь, поставила самовар, принялась готовить ужин. Суетясь, она то и дело забегала ко мне в комнату, чтобы побеседовать. Говорит почему-то шопотом, почти на ухо. Первый ее вопрос: Знаю я в Петербурге Иону Гинцбурга? Чистосердечно признаюсь, что не знаю. Хозяйка поражена, почти не верит. Как я могу не знать его, когда он из первых людей в Петербурге? Он ее брат, и ей очень хотелось бы, чтобы я его знал. Я огорчен и пристыжен, но правда прежде всего, и я жестоко стою на своем, что не знаю его. Хозяйка выбегает в кухню, возвращается и шепчет:

— Он свой человек у барона Гинцбурга! — Глядит какое впечатление это на меня произвело и прибавляет: — Барон Гинцбург приглашает его к себе обедать, сажает по правую руку. Однажды пришли какие то очень важные гости. Мой брат хотел подняться, но барон Гинцбург удержал его за руку и

сказал: «Гинцбурги не должны перед всяким вставать». Понимаете?

Понимаю и совершенно уничтожен величием Ионы Гинцбурга. Но меня ожидает еще больший удар.

Уходит, возвращается и шепчет:

— Взял приданного 30.000 руб., и своих тоже имел 10.000!

На этой кульминационной точке происходит перелом. Начинаются жалобы, что при таком богатстве и величии брат не помогает бедной разоренной сестре. В результате — просьба поговорить с ним.

В комнате тепло. Напился чаю, закусил, согрелся. Хозяйка угомонилась. Сажусь писать Вам. Пишу до 4-х утра... Спокойной ночи!

Ваш С.

Чертков, 4 февраля 1917

....Последнее письмо писал Вам из Гржималова. Прошла целая неделя и не имел ни одного свободного часа, чтобы писать Вам. За эту неделю перебывал в Хераскове, Тоусты, Копечинцах, Сухостове, Пробужно и Черткове. Каждый вечер уезжаешь из одного места в другое, каждый день новые лица, новые впечатления, новые и все те же старые драмы. В конце концов все смешалось в памяти. Кого видел в Хераскове? С кем говорил в Копечинцах? О чем слышал в Пробужно? — и не припомнишь. Выделяются рельефно только отдельные типы, отдельные эпизоды.

Пожилая еврейка. Входит стремительно и начинает скороговоркой: — «Я внучка раби Зуси Анопольского и раби Мирль Перемышлянер. Со стороны матери происхожу от Бал-Шема...» Продолжает высчитывать предков-цадиков и заканчивает Бродским, которому приходится троюродной сестрой.

За такие заслуги Комитет должен, конечно, вознаградить ее.

Старик кантор. Высокий, худой, с юношескими глазами и дряхлым телом. Пришел просить о пособии. Но когда я заговорил о легендах, забыл зачем пришел и принялся с увлечением рассказывать. И как рассказывал! Я сидел очарованный, боясь упустить слово, болея душой, что не имел возможности записывать дословно его рассказа. Предо мной был истинный поэт. Каждый его рассказ был законченным художественным произведением. И характерно, что большинство легенд имели

темой Мессию. Вот остов одной легенды. Цадик раби Исроэль Ружанский был на долгое время заключен в тюрьму по какому-то навету. Когда его освободили, хассиды, конечно, ликовали. Но один из них, узнав об освобождении цадика, зарыдал. И не хотел никому объяснить, почему плачет. Только близкому человеку объяснил: —

«Я верил, что наш цадик — Мессия и думал, что с его арестом начинаются страсти Мессии. И слыша, как его мучают в темнице, я думал: «Хорошо! Пусть! Еще немного и нарыв лопнет!»... И вдруг... его освободили. Цадик вернулся, а Мессия исчез!»

Сижу в Хераскове на заседании Комитета. Вдруг за моей спиной раздается тихая музыка заунывной еврейской песни. Сразу не сообразил, в чем дело. Оглядываюсь — у дверей стоит человек со скрипкой и играет. Человек робкий, изможденный, оборванный. И скрипка тоже жалкая и бедная. И оба плачут. У человека из глаз льются беззвучные слезы, со скрипки льется жалобный плач. И оба без слов молят о помощи. Невыразимо трогательна была эта сцена, как голодный музыкант, слившись с своей скрипкой, рассказывал о своей нужде.

И еще, и еще. Всего не расскажешь. И теперь, когда припоминаю впечатления, больше всего представляются плачущие люди. Сколько слез!

Изучая народное творчество, я часто останавливался на том, что в народных сказках и песнях часто говорится о плаче. В еврейских легендах, при малейшем несчастьи сейчас же «hot men ongefangen zu weinen un zu klogn». То же и в русских, особенно солдатских песнях. Солдаты то и дело «во слезах купаются», «слезами уливаются».

Теперь воочию увидал это «уливание слезами». Повидимому есть такая грань, когда слезы льются из глаз легче, чем слова сходят с языка...

Проехал за эти дни несколько сот верст на лошадях, по снежным равнинам. И столько красоты в этой однотонной простой природе, «белое с черным». Третьего дня ездил днем. Сияло яркое-яркое солнце. Снег богатый, пушисто-серебряный, сверкающий неземной белизной, со своими причудливо изогнутыми, но закругленными мягкими извивами. Точно Господь, ожидая гостей на великий пир, разостлал свои белые покровы.

И вдруг среди этой безбрежной белой глади появляется заяц. Стоит как выточенный, подняв ушки, трепетно прислу-

шивается — и быстро ускакал. Спускается стая воронов, рассыпается по снегу и кажется, что это разостлана чистая белая ткань с черными крапинками. Через некоторое время появляется другой зверек с острой мордочкой и пушистым хвостом, пытливо глядит на нас. «Волк», шепчет извозчик. Но я вижу, что это лисица. Она бочком пробирается, приближается, удаляется, хитро изучает нас. «Эх, жалко, что у нас нет при себе леворвера! Какой воротник хороший», жалеет возница.

Любуюсь солнцем, снегом, лисицей. И радуюсь, что живу в этом необъятном красивом мире. И чувствую свое кровное родство с ним, а через него свое бессмертие.

Много Вам солнца, поменьше снегу, и ни одной лисицы на Вашем пути!

Ваш Семен

Черновицы, 11 февраля 1917

...Уже два дня живу в этом большом красивом европейском городе, имею уютную комнату, мягкую постель, обедаю в хорошем ресторане, гуляю по широким оживленным улицам, мимо магазинов с изящными товарами, и — что особенно странно, — не вижу ни одной развалины, ни одного опустошенного здания. За последнюю неделю глаз настолько привык к картинам разрушения, что невольно ищешь их и — страшно сказать, — чуть-ли не тоскуешь по ним. Внутреннее бессознательное ощущение такое, что все эти огромные дома и магазины, в которых все окна целы и идет обычная будничная жизнь, заключают в себе ненормальность, дисгармонию! Поймите весь ужас этого меланхолического феномена, по которому немного дальше, где гремят орудия и вместо сожженных домов валяются трупы, должно казаться ненормальным, негармоничным отсутствие искалеченных людей, отсутствие крови, стонов и огня.

Город с первого взгляда поражает своей «мирной» жизнью. Множество магазинов, оживленное движение по улицам, афиши о концертах и спектаклях. Однако, присмотревшись, видишь, что все это так же «мирно», как румянец на лице чахоточного. В магазинах большинство полок пусты, точно после распродажи, ни одного ювелирного или торгующего драгоценными товарами. В движущейся по улицам толпе только десятая часть штатских и среди них нет ни богато ни элегантно одетых. С 9-ти час. вечера замирает всякая жизнь для населения. Концерты жалкие, спектакли любительские. Среди улич-

ной толпы особенно рельефно выделяются киргизы и сарты, присланные в большом числе в Галицию для земляных работ. Их много во всех городах и по дорогам. Здесь они разгуливают большими группами в своих ватных халатах, остроконечных шапках, с обнаженными шеями, иногда и грудью, смуглые, с нелепыми для нашего взгляда чертами лица. Но, присмотревшись, замечаешь в их лицах какую-то особую тонкость очертаний, точно на тонких гравюрах больших мастеров... Вместо резких определенных штрихов лица европейца, еле намеченные, незаконченные. И чем более присматриваешься, тем интереснее кажутся эти лица, в которых чувствуется мистика незаконченного.

Видел их несколько раз на дорогах при расчистке снега. Там они провожали меня неподвижным, внутренним, загадочно спокойным взглядом. Здесь же они держатся иначе. Ходят вразвалку, останавливаются возле каждого магазина, с любопыт-ством рассматривают товары, оживленно разговаривают и смеются. Много и громко смеются. Трудно, конечно, знать, о чем говорят. Но по их развалистой походке и смеху можно предположить, что европейская культура, с которой эти кочевники востока здесь повидимому впервые столкнулись, не очаровала их, не внушила к себе благоговейного отношения.

* * *

Знакомлюсь с положением местного еврейства, обсуждаю с местными людьми вопросы помощи. Здесь нужда большая, но менее острая, чем в Галиции. Из 25-28 тысячного еврейского населения города осталось 3.500, из которых половина беженцы из окрестных городов и местечек. Но осталось не мало богатых и зажиточных — и они могли бы собственными силами справиться со своей нуждой, если бы им разрешили организовать комитет помощи. Хлопоты об этом я веду здесь и мне предстоит по этому поводу быть у генерал-губернатора Галиции и Буковины Трепова.

Выяснилась довольно любопытная картина положения евреев в Буковине до войны. Здесь нет ни польской, ни немецкой влиятельной интеллигенции. У руссинов же, населяющих край, еще не образовалось своей интеллигенции. Вследствие этого роль культурно-интеллигентных верхов края заняли евреи. Большинство административных постов было в их руках. Бургомистр здесь был еврей. Тоже и в культурно-просветительных учреждениях евреи занимали первое место. Никакого антисе-

митизма не было. Население признавало «гегемонию» евреев и считало ее естественной: одна из больших площадей города носит название «Theodor Herzl Platz». Много других улиц тоже носят названия еврейских писателей и ученых. Во всех учебных заведениях соблюдались праздники в зависимости от религии большинства учеников. Где большинство было еврейское, праздновалась суббота и другие еврейские праздники.

Еще одно любопытное явление. В то время, как во всех европейских странах имеются ассимилированные евреи, здесь их нет. Ни ополяченных, ни германизированных, ни обрусев-ших. Еврей интеллигент, европейски образованный, ушедший от религиозных традиций, оставался национальным евреем. И в слово «еврей» он вкладывал не только национальный смысл, но и представление о европейской культурности. Не правда-ли, любопытно? А ведь мы ничего не знали об этом. А какая судь-ба ожидает эту маленькую страну, бывшую Эльдорадо для ев-реев, которые чувствовали себя здесь носителями высшей куль-туры? ..

* * *

Только что вернулся от генерал-губернатора. Выслушал он меня внимательно, очевидно склонен удовлетворить мое ходатайство, но потребовал, чтобы я представил ему ходатайство в письменном виде от имени Киевского комитета. Таким образом мне необходимо поехать в Киев на день и вернуться сюда. Поеду сегодня или завтра. Придется ехать около трех суток по здешней ужасной железной дороге.....

Ваш С.

Киев, 5 мая 1917

...Пишу несколько слов с оказией. Все время, при болезненной потребности писать Вам — не мог. Сложное очень было настроение.

Скажу сейчас только несколько слов о себе. Организовал в Москве и Киеве подписку на Альбом Евр. Художественной Старины, которая почти обеспечена, занимался галицийскими делами, писал и заканчиваю программу «Лиги национально-социального объединения», работал по партийным с.-р. делам в Москве и здесь, продал еще не написанную книгу о Галиции, продал право перевода моих рассказов на древне-еврейский язык. И еще другими делами занимался. Главным образом же волновался событиями в Петрограде и их откликами здесь.

Пьеса (Дибук) в конце мая будет разделена на роли на лето. Студия взяла обе пьески («Семидесятник» и «На Конспиративной Квартире») и будет с ними ездить по фронту. Была у меня долгая беседа с К. С. Станиславским о положении Художественного Театра. Лично расскажу.

Все время настроение было упаси Бог какое...

6-8-го здесь с.-р. конференция при участии бабушки (К. Брешко-Брешковской. Прим. Р. М.). 10-го уеду и 12-го буду в Петрограде. Застану ли Вас, не уедете ли куда?

Всего Вам светлого.

Ваш С. Раппопорт

Москва, 30 мая 1917

...Какими маленькими, жалкими и безголосыми являемся мы — члены небольшой группы «Воли Народа» на съезде партии соц.-революционеров! К нам относятся с презрительным снисхождением, называют нас правыми, а в полемических речах — социал-шовинистами и социал-патриотами. Мы огрызаемся, доказываем, что мы не шовинисты, что мы истинные, самые истинные интернационалисты. Но репутация наша слишком испорчена, чтобы кто-нибудь слушал наши доводы.

Пять дней, с 10 утра до 12 ночи просидел на съезде, выслушал добрую сотню речей, сам выступал. И вот теперь, когда сижу глубокой ночью в своей комнате в гостинице и хочу разобраться во всем услышанном за эти дни, у меня в душе нет ни горечи, ни возмущения, ни удивления, а одна только тупая усталость и чувство безграничного одиночества. Не удивляюсь, ибо для меня очень ясна психология участников съезда. Для всех и каждого из них, за исключением нашей горсти, которая в самом деле состоит из плохих с.-ров, на первом плане стоит не Россия, а Партия. Ее интересы, верность букве программы, это прежде всего, это является исходным пунктом, который заслоняет собою всякие другие интересы и вопросы. Самые крайние левые у нас, требующие социалистической революции, восхваляющие Кронштадт и смело идущие навстречу анархии, являются самыми дисциплинированными солдатами Партии. Они верны присяге и готовы положить живот и свой и всей России за торжество и чистоту партийного принципа. Я их отлично понимаю, понимаю, потому что сам себя ловил на этом же гипнозе. Ведь мы на съезде Партии, свели нас вместе не интересы

страны, а программа Партии. Естественно, что русская действительность применяется к задачам партии, а не наоборот.

Чернов все время на съезде. Последние два дня он ведет интенсивную дипломатическую работу, перебегает из одной совещательной комнаты в другую, стараясь примирить всех на одних резолюциях. Для этого они делаются путанными, допускающими двоякое толкование. И он удовлетворен. Он министр, но его министерство дала ему не страна, а партия, и ему гораздо важнее санкция партии, чем санкция страны.

Это психология не одних с.-р.-ов, а членов всех партий. Особую струю в наши дебаты внес Керенский. Он два раза выступал. Призывал к спасению России, говорил сильные, яркие, полновесные слова. Всю свою тактику, единоличную дерзость в борьбе с анархией, вывел он из программы партии, построенной на признании огромной роли личности в истории. Его слушали, сделали ему овацию, но он остался чужим и посторонним партии. Не через те двери вошел, не те слова произносил, не ругал буржуазии, не выводил философской системы, а говорил о делах чужих и далеких — о России, даже кажется употребил сакраментальное слово «родина». И я слышал по его адресу: «он не наш». А один из ораторов, 18-летний неграмотный мальчик назвал его (за критику немецкой соц.-демократии) школьником, проявляющим озорство по отношению к седовласому учителю.

Вы понимаете мое настроение. Прибавьте ко всему этому закулисное политиканство, карьеризм, страстное желание попасть в Ц.К. — и получите ту картину, которая вероятно повторяется и на других съездах. А пока Россия идет ко дну. И самое страшное это сознание, что ничего не поделаешь. Не хотелось писать об этом, но настроение такое убийственное, что все же легче, если скажешь...

Будьте счастливы.

С. Раппопорт

8 (21) марта 1918
Москва, Б. Полянка 54

Р дная Роза Никола вна!

Доехал благополучно. Продолжалось 32 часа. хали в нетопленном вагоне, но было просторно и публика все была своя.

Здесь всю неделю провел без каких-нибудь ощутительных дел. Не особенно надеюсь, чтобы в ближайшем будущем они

были. Общее настроение — спокойного маразма, хотя здесь дышется легче, чем в Петрограде: выходят несколько газет, даже с объявлениями, нет уличных расстрелов, хотя грабежи настолько часты, что после 9-ти вечера очень немногие решаются ходить и ездить по улицам. Дороговизна, пожалуй, более сильная, чем в П-де, но все можно достать и зажиточные люди живут хорошо, т. е. не голодают. Разговоры всюду на ту же тему, все проникнуты злобою бессилия и пессимизмом обреченных.

Театры, литературные кабарэ и тому под. — их множество — битком набиты. Был вчера в «Летучей Мыши», где писатели Бальмонт, Бунин, Белый, Балтрушайтис и др. читали свои произведения. Публики было мало, встречали писателей холодно. Витала скука и никчемность.

С Художественным Театром одна грусть. Станиславский серьезно болен, лежит. Чехов болен, нервно расстроен, был у него вчера и чуть не плакал. Гейрот тоже болен на нервной почве. А в Студии идет «Двенадцатая Ночь» в каком-то бешеном темпе веселья.

Моя пьеса не включена в репертуар этого сезона. Сушкевич сообщил мне это чуть ли не со слезами. «Нам всем ваша пьеса очень нравится, мы сжились с нею. Но когда зашел вопрос о ее постановке теперь, мы не решились. Она требует такого напряжения, какого мы не можем дать теперь при наших расшатанных нервах. Вы видели, что стало с Чеховым и Гейротом. Есть и еще кандидаты. Затем, при теперешнем общем настроении публика не пошла бы ее смотреть, уж очень она тяжела и грозна. Публика теперь хочет развлечения. Поэтому мы отложили ее до следующего сезона». — Грустно, но ничего возразить не мог. В еврейской студии на-днях начнутся репетиции.

Еврейское издательское дело здесь довольно сильно развито. Выходит несколько десятков книг на древне-еврейском языке. Организуется жаргонное издательство и русско-еврейское. Во всех них предлагают работать, даже стать во главе одного издательства, уговаривают остаться здесь в Москве. Община еврейская предлагает перевести сюда еврейский музей, обещая взять на себя его организацию и содержание. Ничего, конечно, сейчас решать не буду, но пока остаюсь здесь.

Ехать сейчас в Киев и дальше, о чем Вы мечтали, абсолют-

но нет возможности. Прерваны все сообщения, даже почтовые. Но надеются, что в ближайшее время восстановятся.

Вот все «новости» какие могу сообщить отсюда. Как видите — мало интересные и ради них, пожалуй, не стоило и письма писать. А уходить в более личную область интимных переживаний нет охоты... Скажу искренно — мне до физической боли тяжело писать. Точно вылезаю из скорлупы, нарушаю свое одиночество, к которому худо ли хорошо ли, но приспособился.....

Много желаю Вам хорошего и светлого.

С. Раппопорт

23 марта
5 апреля 1918
Москва, Б. Полянка 54

Милая, родная Р. Н.

Как мне объяснить Вам то душевное состояние, в каком нахожусь последние месяцы.

Мне припоминается тяжелая сцена, свидетелем которой я был много лет тому назад. Близкий товарищ, безнадежно больной чахоткой, лежал в постели. Жена ухаживала за ним днем и ночью. Временами, когда он задыхался от кашля, он просил, чтобы ему поправили подушку, плотнее укутали и т. п., но это мало помогало ему. И вот однажды он вдруг обрушился на жену и на меня: Ну, чего вы сидите возле меня? Ведь ничем вы не в состоянии помочь мне. Сколько бы ни поправляли подушку, я все равно задохнусь от кашля. Уйдите лучше, оставьте меня одного, легче мне будет. По крайней мере, не будет иллюзии какой-то помощи...

И раскашлялся. Потом заплакал. А жена глядела на него молча своими большими голубыми глазами, в которых выражалась мучительная скорбь.

Ну, скажите. Был ли прав мой несчастный товарищ? Он, конечно, не имел никакого основания упрекать жену и меня в том, что мы не в состоянии облегчить его недуг. А между тем его упреки были нам очень понятны, казались естественными, законными.

Поймите и Вы мое душевное состояние. Поймите, что мой выкрик психологически не вытекал из наших личных отношений, которые мне так же дороги, как раньше. Поймите еще

одно. Ведь не всякому дано счастье иметь родного человека, кому можно было бы крикнуть: «как я одинок!»

Никаких утешительных новостей отсюда сообщить не могу. Все тот же маразм как нашей фракции, так и Партии. Не видно ни просвета, ни исхода. Вся жизнь пропитана безотрадностью, тревогой, недоумением. И все это постепенно претворяется в безнадежность, отчасти в отвращение... Каждый день какая-нибудь новая гнусность, большая, маленькая, которая уже не трогает, не волнует. Закрыли «навсегда» «Русские Ведомости», осудили «контр-революционера» Мартова, разгромили с.-ровский клуб, и т. д. Нисколько не трогает это. Важно другое. С каждым днем усиливается борьба между большевиками и анархистами, которые превратились в большую организованную силу, имеющую свою вооруженную черную гвардию. В общем, в городе теперь две власти. И по иронии судьбы, большевикам приходится то и дело с оружием в руках защищать жизнь и достояние буржуазии. Вчера я был по делу у Г. Златопольского (одного из видных сионистов). Только что вышел от него в соседнюю квартиру, как к нему ворвались вооруженные черногвардейцы и под видом обыска начали грабить и ломать все в доме, требуя под угрозой револьверов денег. Узнав об этом, мы из соседней квартиры вызвали по телефону красную гвардию, которая приехала с пулеметами. Был пулемет и у анархистов. Только благодаря случайности была избегнута стрельба — и Златопольские отделались сравнительно дешево.

И тем не менее, здесь все же лучше, настроение не так подавлено, как в Петрограде.

Живу все еще на бивуаках, у друзей. Собираюсь взять квартиру, устроиться, но удерживает меня то, что раньше, чем обосноваться здесь, мне необходимо съездить в Петроград, а когда смогу поехать — не знаю. Думаю уговорить Вас переехать сюда в Москву. Если б вопрос шел о работе, то мог бы Вам доставить таковую. Здесь и еврейская работа могла бы найтись для Вас по душе. Подумайте об этом и напишите...

О моих литературных делах и планах я писал Вам в предыдущем письме. Много различных предложений, но вплотную к чему-нибудь приступить не могу из-за неустроения. Это обычное горе мое. Совершенно беспомощен я, когда вопрос идет о том, чтобы взять квартиру, устроиться. То же было в Петрограде, то же повторяется здесь.

Пишу большую еврейскую сказку.[1] Если выйдет удачно, пришлю Вам. Как меня огорчает, что Вы не знаете древне-еврейского языка. Перевод Бялика моей пьесы — одна музыка. Я послал с оказией экземпляр книги, где пьеса напечатана, Ид Николаевне.[2] Для Вас у меня отложен другой экземпляр...

«Не покидай меня, ибо скорбь близка, а заступника нет».

Много Вам счастья, весны и радости.

Семен

Москва, 15 (2) августа 1918

...Ваши письма получил. Первое уже давно. Второе и третье одновременно сегодня. Что писать о здешнем житье-бытье? То же, что и раньше было, только постепенно все более и более сгустилось. И репрессии и голод и слухи. Газет, кроме советских, абсолютно никаких нет. Ни митингов, ни собраний, кроме правительственных. Телефон в городе упразднен, большинство друзей и знакомых разъехались. Каждый день аресты. Газеты полны яростными статьями против правых с.-ров и меньшевиков с призывом стереть их с лица земли и т. д. Все это, как видите, не весело. Тем не менее люди живут, волнуются мелочами дня.

Лично о себе нет охоты писать. Отстранился от политических и культурных работ и всецело отдался составлению книги о Галиции. Работа разрослась в капитальный труд, который потребует много месяцев усидчивой работы. Кроме этого пишу, по просьбе Мякотина, статью для «Русского Богатства» о политической песне во Франции во время Великой Революции.

Иногда встречаюсь с Мякотиным. Он и Пешехонов живут все время здесь. На-днях даже устроили собрание «обозрения», что по нынешним временам редкость.

Лето хорошее, хотя слишком дождливое. Провел недели две отдельными днями у знакомого в имении, где чувствовал себя как на Марсе. Большой парк, пруд, оранжереи, птичий двор с 300 кур. По пруду плавают лебеди, в парке ходят павлины, целые аллеи роз. К столу подают столько хлеба, что остатками кормят собак. Все очень фантастично, но больше двух дней подряд усидеть там не мог.[3]

[1] Я этой сказки никогда не получила и не знаю содержания ее.

[2] И. Н. — моя старшая сестра, изучавшая тогда еврейский язык.

[3] Подмосковное имение «Малаховка», принадлежавшее богатому человеку.

Иногда с большой грустью вспоминаю «московскую неделю», которую мы провели вместе. Как давно это было и как далеко ушло...

От души желаю Вам всего лучшего.

Ваш С. Р.

Москва, Б. Полянка 54
6 июня 1918

...Целую неделю здесь и еще не устроился. Причина отчасти большое количество дел и поручений, которые отнимают много времени, а главное то, что во время моего отсутствия большевики забрали мою комнату, так что, приехав, я нашел в ней вместе с моими вещами и вещи поселенного сюда большевика. К счастью он куда-то командирован и я живу в комнате, конечно, на бивуаках, подыскивая другую. Вероятно, завтра, послезавтра буду иметь таковую, переселюсь и устроюсь. Тогда приступлю к работе.

Дел, конечно, много, но я от всех стараюсь избавиться, чтобы иметь возможность закончить книгу о Галиции и приступить к обработке этнографического материала. Кроме этого буду, конечно, заниматься подготовкой издания «Альбома» и писанием время от времени статей в партийной газете «Возрождение» (объединение «Дела Народа» и «Воли Народа»). Две статьи уже успел там написать, пришлю их Вам.

Настроение здесь более напряженное чем два месяца тому назад. Система террора в полном разгаре. Уж третий день идут расстрелы «заговорщиков» без суда. Третьего дня расстреляли 27 человек (студентов и офицеров), вчера опять были расстрелы. Говорят 1.500 человек арестовано. Все видные кадеты, которым не удалось бежать. Слухи самые нелепые приходят из Питера. Каждый день сообщают «из самых верных источников», что там свергнута советская власть, идет бой на улицах и т. п. Газеты четыре дня были закрыты. Сегодня вышли, но газетчикам запретили продавать «буржуазную прессу».

Дороговизна почти сравнялась с питерской, некоторые предметы еще дороже. В общем голод и здесь щелкает зубами.

А все же здесь больше жизни и идет культурная работа во всех областях. Особенно в еврейских литературных предприятиях. Издательство «Дешевой еврейской библиотеки» временно задержано, так как главный инициатор этого дела, Якобсон,

скоропостижно умер. Теперь, если дело состоится, придется мне одному взять его на себя.

Хотелось бы знать, как Вы порешили относительно себя: едете ли и куда или остаетесь в Питере? Могу ли на Вас рассчитывать, если возьмусь за издание «Евр. ешевой библиотеки»? Напишите.

Посылаю газету «Еврейское Слово» и маме несколько фунтов муки, которую сегодня случайно достал. Всем вашим самый теплый привет. Всего Вам лучшего.

С. Р.

27 сентября 1918

...Пишу Вам из Вильны, куда мне с большим трудом удалось бежать из Москвы. Положение мое, как с-ра и члена Учредительного Собрания, уж много месяцев было довольно сомнительным: шли беспрерывные аресты с-ров, а в печати на них призывались все громы и кары. Но я тем не менее не помышлял об отъезде, во всяком случае до окончания работы о Галиции. Но с момента покушения на Ленина и с началом режима красного террора пошли в Москве и Петербурге такие аресты, такая бешеная расправа, что я мог ожидать с часу на час ареста. В течение первых дней были арестованы все, кому не удалось во время скрыться, между прочим Мякотин, Пешехонов, Волк-Карачевский, Беркенгейм, Арманд, Руднева и около десяти и менее видных с.-ров. Среди 512 казненных в Петербурге и 300 в Москве, говорят было более двадцати с.-ров. и меньшевиков, имен которых мне не удалось узнать. Не удалось узнать расстреляны ли Эльяшевич и другие с.-ры, ранее арестованные в Москве. Шла молва что в Петербурге в первые дни расстреляны не 512, как объявлялось официально, а около 5.000 человек. Несколько тысяч человек арестованы там заложниками. Из имен, которые удалось узнать, укажу на раввина Айзенштадта, сиониста Алейникова, Самуила Львовича Гуревича (моего друга). Заславскому, Канторовичу и др. бундовцам удалось бежать и они уже в безопасности. А. Р. Гоца арестовали на границе, везли в Москву, но ему удалось бежать от стражи и скрыться. Еще до покушения на Ленина были арестованы на рабочей конференции до ста бундовцев, в числе их Абрамович. Последнего хотели вместе с 30-ю товарищами освободить, но он отказался покинуть тюрьму пока не освободят всех вместе с ним арестованных. И какова их участь теперь — неизвестно.

Где Брамсон и Слиозберг — неизвестно. О последнем были слухи, что он убит, но это, кажется, не верно. Передавали, что Ц.К. Советов высказался отрицательно о деятельности Чрезвычайной Комиссии и будто приняты меры к приостановлению террора. Но все это слухи. Говорят еще, что среди вожаков на этот счет разногласия. Ленин и Радек против кровавого террора; они требуют усиления экономического террора. Напротив, Троцкий стоит за продолжение расстрелов.

Перед самым моим отъездом узнал, что Пешехонов освобожден на поруки Бонч-Бруевича. Освобождены также Беркенгейм и Арманд.

Недели две прожил в Малаховке, где, впрочем были также повальные обыски. Собирался я ехать в Киев, но на Брянск и Курск не было возможности пробраться, так как на этих дорогах идут сплошные обыски и аресты, и границы теперь очень охраняются. Пришлось ехать на Псков и Двинск. Дорога продолжалась шесть дней, но прошла вполне благополучно. Беда только, что не мог взять с собою ни одного листка из своих материалов, и пока их мне не перешлют, не имею возможности работать, а это страшно угнетает.

Здесь в Вильне встретили меня старые знакомые и уговорили остаться здесь. Помимо того, что очень трудно получить отсюда разрешение на проезд в Украину, меня напугали, что в Киеве и квартиру нельзя будет достать. Да признаться, боюсь немного и киевской сутолоки. Здесь густо-еврейская атмосфера. И то, что здесь придушено и безжизненно и что у меня здесь никого нет близкого, пожалуй, более соответствует моему теперешнему настроению. Таким образом, на ближайшее время, по крайней мере, пока получу из Москвы материалы для работы, останусь здесь. А дальше — обстоятельства покажут...

Часто вспоминаю Вас. Хотел бы получить от Вас подробное письмо, хотел бы знать, как живете и каково настроение. Очень хотелось бы знать обо всей Вашей семье, о которой вспоминаю как о родной.

Крепко жму руку,

Ваш м и

РЕВОЛЮЦИЯ НА СЕВЕРЕ: ОХОТСКО-КАМЧАТСКИЙ КРАЙ В 1917-1922 Г.Г.

Камчатская область, как она официально называлась, расположена на окраине северо-восточной Азии и граничит с Ледовитым океаном и американской Аляской. Омывается тремя морями: Камчатское, Охотское, Берингово. Эта обширная территория, около 470.000 кв. миль (в четыре раза больше Японии), состояла из пяти уездов: Петропавловский, Охотский, Анадырский, Гижигинский, Чукотский и Командорские острова. Областной центр — Петропавловск в Авачинской бухте. Камчатка вошла в состав Российской империи в начале XVIII века, после завоевания ее казаками под начальством Владимира Атласова. Население оставалось чрезмерно мало (в сравнении с громадной территорией) еще до двадцатых годов нашего века: около 28.000 туземцев (главным образом, чукчи — 13.000, коряки — 7.900 и около 9.000 русских. Главные промыслы — добыча пушнины и рыболовство; земледелие было развито мало. Связь с материком поддерживалась рейсами Добровольного Флота из Владивостока.

Я попал на Камчатку совсем случайно. Я жил в Петербурге, где и учился, сначала в гимназии, потом в университете. После демобилизации армии в 1918 году я уехал в Сибирь, где еще не утвердилась власть советов и жизнь, по слухам, была легче, чем в голодном Петрограде. В Сибири, не задерживаясь на Дальнем Востоке, я отправился на Дальний Север, куда надо было плыть семь дней пароходом. Камчатка была настоящей заморской колонией России.

Ближайшим к Камчатке центром на материке был Владивосток, раскинувшийся на горах, прямо на берегу океана, по соседству с Китаем и Японией. В городе я увидел множество китайцев-рабочих и торговцев продававших товары, от которых мы уже отвыкли в России. Соседство с Японией было не столь приятно; в гавани находился японский броненосец «Асахи» (бывший русский «Орел»), а в разных пунктах города

стояли караулы японской морской пехоты. В первый раз я мог видеть на территории России иностранную военную силу, да еще в командной роли.

Положение во Владивостоке было тогда весьма неопределенное. Здесь существовал Совет, при наличии японского десанта (с апреля 1918 г.), который все расширялся и переходил в интервенцию; сохранялась и старая власть, в лице Приморской земской управы, получившей политическое значение. При национально пестром населении и присутствии иностранных военных властей, Владивостокский совет имел мало опоры и держался, так сказать, по общероссийской инерции. Когда восстание чехословаков, приведшее к падению советской власти в Сибири, докатилось в конце лета до Владивостока, перестал существовать и местный совет. Однако Владивосток оказался изолированным от Сибири, где действовало правительство Директории. А здесь явились местные претенденты на власть: железнодорожный генерал Д. Л. Хорват, распоряжавшийся в Харбине, и автономное правительство П. Дербера, не имевшего ни людей, ни средств. Все было в текучем состоянии, и местное управление вышло из хаоса лишь когда укрепилось положение Сибирского правительства, которому подчинился и Владивосток. В это время я уже находился на Камчатке.

Прибыв в областной центр, Петропавловск, я увидел, что это был небольшой город, почти все население которого состояло из чиновников, не имевших никакой, кроме телеграфной, связи с остальной областью и совершенно незнакомых с жизнью туземного населения. Поэтому, расставшись без сожаления с городской жизнью в ее местном варианте, я взял себе небольшую работу, которая привела меня в среду туземного населения на северной границе Камчатки. Расстояния здесь не считались ни во что, и я имел возможность дважды проехать по Западному берегу этой области, летом на лошади и зимой на собаках. Позже в 1920 г. мне представился случай побывать с административным поручением на крайнем севере (до Чукотки включительно) с рейсом парохода по побережью от Петропавловска.

Пребывание в Заполярьи, жизнь в тундре, поездки и плаванья открыли предо мной суровый, но прекрасный край и дали материал для моих статей о нем в русских и иностранных журналах, а знакомство с бытом и нуждами туземного населения пригодилось, когда пришлось занимать старшие должности в

этой стране. При своих путешествиях я испытал и снежную бурю и аварию нашего корабля — и мог почувствовать, хоть и в меньшей мере, трудности, с которыми сталкивались первые русские насельники на Камчатке.

Этот обширный край, с малым населением в несколько десятков тысяч, резко отличался от губерний Европейской России, даже от областей Сибири. Во-первых, русский колонизаторский талант как будто споткнулся на этой окраине; русского населения здесь почти не было, т. к. оседлое население Камчатского полуострова ни по физическому типу, ни по характерному произношению не походило на русских людей; это были потомки пришельцев-казаков, смешавшиеся с камчадалами. Зато здесь больше, чем где-нибудь в Сибири, сохранилось туземное население — коряки, чукчи, частью тунгусы и эскимосы. Здесь дольше, чем в иных местах, шла борьба с русскими завоевателями; чукчи даже в XIX в. признавались «не совершенно подданными».

Во-вторых, эта окраина была отрезана от России и стояла ближе к соседним странам, Японии и Америке. Япония имела здесь большие экономические интересы; по Портсмутскому договору 1905 г. она получила здесь права рыболовства, которые осуществляла каждое лето с помощью 30.000 рыбаков, работавших на морских участках Камчатки. В революционный период, когда Камчатка оказалась плохо лежащим достоянием, у Японии явились и политические планы относительно этой территории. Таких поползновений не было у Америки; американские торговцы и промышленники работали на Чукотке в своих личных интересах, но и они в разговорах с туземцами были не прочь сравнивать ее с Аляской, и сравнение было не в пользу России.

Состав населения и геополитическое значение Камчатки вызвали внимание еще царского правительства, когда здесь были введены областные учреждения (1909). Предполагалось улучшить управление, использовать природные богатства, поднять культурный уровень страны; в отличии от российской практики, первым губернатором был назначен Перфильев, по профессии врач, уездными начальниками назначались люди с хорошим образованием. Но вообще губернский аппарат был не совсем пригоден для этой окраины; создался чиновничий город Петропавловск, появились такие учреждения как окружной

суд, которому некого было судить, и жандармская команда в стране, где не было никакой политики.

На губернаторский период падает открытие и развитие Камчатского рыболовства, установление рейсов добровольного Флота между Владивостоком и Петропавловском, регулирова-ние местной торговли. Последний вопрос был больным на севере; власти должны были бороться с торговлей спиртом, которым спаивалось туземное население, и принимать меры к снаб-жению края необходимыми товарами, для чего были устроены продовольственные склады. В Петропавловске была основана небольшая газета и появился театр. Была создана сеть началь-ных школ и высшее училище в областном центре. Была органи-зована медицинская помощь в более значительных пунктах. Революция не вызвала здесь ни сопротивления, ни насилия; и. д. губернатора Чаплинский, доброжелательный к населению и некорыстный человек (качества здесь не слишком частые) — спокойно передал власть образовавшемуся Областному коми-тету.

Как сказано, Камчатка достигла к 1917 г. некоторого бла-гополучия и вышла из долгой спячки, значит, была готова к переменам. С другой стороны, здесь действовали факторы, ко-торые мешали сколько-нибудь сознательно отнестись к собы-тиям. Управление страной было чисто бюрократическое; кроме Петропавловской городской думы, не существовало никаких органов местного самоуправления. Более половины населения, чукчи, коряки, и другие туземцы не имели никакой связи с русскими жителями, даже не говорили по-русски и, конечно, не могли понять, что происходило в России. Среди самого рус-ского или обрусевшего населения не было «классовых группи-ровок» с чётко выраженными интересами. При таких условиях единственной организованной группой в области оказалось пе-тропавловское чиновничество, которое и продолжало управ-лять страной под видом новых учреждений — комитетов или советов. Единственное, что выводило Камчатку за пределы мест-ных интересов, было снабжение деньгами и продовольствием, которое было возможно только через Владивосток, откуда оно и получалось, после многих упрашиваний от существовавшего в данный момент правительства. Этим создавалась политическая зависимость от Владивостока; каждый переворот там автома-тически повторялся на Камчатке, с некоторым запозданием и порой в искаженном виде.

После падения царского правительства, власть здесь перешла в руки областного и местных комитетов. Во главе первого стали местные деятели А. А. Пурин и П. В. Сусляк, имевшие местный служебный опыт, люди с демократическими стремлениями и реформаторскими планами, первый несколько увлекавшийся, а второй более осторожный и честолюбивый. Первый вопрос, с которым они встретились, относился к организации местной власти. Уездные управления были заменены уездными комитетами, работа которых ничем не отличалась от старых полицейских управлений; а члены комитетов были озабочены главным образом получением жалования. Лучше обстояло дело с волостными комитетами; правда сюда часто выбирались бывшие старшины, но в общем эта форма самоуправления была доступна пониманию местного населения. Для туземцев сохранилось без перемен родовое управление с их старшинами.

Больше интереса вызвали областные съезды, первый из которых собрался в 1917 г. Хотя на нем не были представлены более отдаленные уезды, однако он занялся вопросами общеобластного масштаба и выработал программу реформ, которая нашла выражение в «Протоколах первого Камчатского съезда». Из добрых пожеланий выполнено было очень мало. Но самый съезд установил традицию, которая привилась на Камчатке: до 1922 г. таких съездов состоялось четыре, а его программа стала основой для работы последующих.

В это время возникла идея «Камчатской автономии», которая была формулирована Пуриным и включала такие пункты: областное управление должно быть приспособлено к краевым особенностям; нужды местного населения, материальные и культурные, должны получить больше внимания, чем прежде; и самое важное — Камчатка имеет право на долю в доходе, который получался российским правительством от рыбных промыслов. На эту программу потом нападали и справа и слева; но, в сущности, она не шла дальше принципа областного самоуправления, и если была неправильно понята местным населением, то в этом не были виноваты ее авторы.

Наступила зима, и как обычно, Петропавловск был отрезан от остальной области; зато сохранялась телеграфная связь с материком, откуда шли известия одно тревожнее другого. Октябрьская революция вызвала переворот и на Камчатке; не следует думать, что он был произведен хотя бы малочисленной партией большевиков, такой там не было. Если прежде тон за-

давали старшие чиновники, то теперь у власти оказались мелкие служащие во главе с И. Е. Лариным, их типичным представителем; коммунистическая идеология имела здесь мало значения. Делами попрежнему управляла старая канцелярия с новыми названиями и новыми бланками.

Областной совет не имел никакой опоры в населении и пал, как только была свергнута в 1918 г. советская власть в Сибири. Решающую роль при этом сыграл местный вопрос: было опасение, что на Камчатку не будет выпущена из Японии соль, что грозило гибелью здешнему рыболовству. Восстановилась власть Областного комитета с теми же Пуриным и Сусляком, которые поторопились созвать новый областной съезд. Он имел такой же состав как и первый, и в общем повторил его пожелания; видным лицом на нем был член Учредительного собрания от Камчатки К. П. Лавров.

Состоя в секретариате съезда, я мог познакомиться и с его участниками и с его стилем работы. Мне даже было поручено составление доклада о регламентации пушного промысла на Камчатке. Не зная ни этого промысла, ни самой страны, я смело составил доклад на основании проектов б. генерал-губернаторской канцелярии; делегаты слушали и одобряли, что они делали и при других докладах, которые были, видимо, такого же свойства. Самым важным результатом съезда было подтверждение власти Областного комитета, деятелям которого открывался, наконец, простор для выполнения намеченной программы.

Но тут Камчатка оказалась втянутой в российские, точнее сибирские события, и возобладали политические вопросы. Первым из них был вопрос о бюрократическом или демократическом управлении Камчаткой. Ее официальный представитель К. П. Лавров организовал во Владивостоке Управление рыбными промыслами Д. В., что само по себе давало ему влияние на камчатские финансы, а когда, после образования Сибирского правительства, он был назначен комиссаром Камчатки, он решительно разошелся с тамошними областниками; новое правительство, видимо, по-прежнему смотрело на эту страну как на колонию. Столкновение между правительственным комиссаром и местными деятелями завершилось отстранением Пурина и Сусляка и уничтожением областного самоуправления. С приходом к власти правительства адм. А. В. Колчака в Сибири, на

Камчатке тоже появилась твердая власть в лице управляющего областью Н. Н. Червлянского.

Восстановился губернаторский режим, осложненный личностью его нового представителя. Это был полицейский чиновник, расстроенный выпавшими на его долю неприятностями; он направил всю свою энергию против своих врагов, порой мнимых, и возбудил против себя все местное общество. Надо однако сказать, что у него не было специально реакционной программы, и деятельность его не привела к политическим преследованиям. Борьба между белыми и красными в Сибири никак не отразилась на Дальнем Севере, потому что здесь не было противоположных вооруженных групп. Единственное, что напоминало о гражданской войне, была мобилизация в Петропавловске. Она дала некоторое количество солдат, но и они не могли быть отправлены на материк, а значит, и ни с кем не воевали. Тем не менее, когда в начале 1920 г. здесь произошел очередной переворот (по телеграфу), пролилась первая кровь, были убиты три офицера здешнего гарнизона. Но произошли кровавые события в Охотске и Анадыре — маленькие поселения, где скопилось много ненависти (особенно в Охотске среди рабочих на золотых приисках), там произошла взаимная резня.

В Петропавловске образовался Областной совет с П. С. Маловечкиным во главе. Это был человек из «сочувствующих» коммунизму, беспорядочный в практической работе и новый на Камчатке; он прибыл сюда, как инструктор кооперации, и главное внимание уделил этому делу. Так как переворот в Сибири был произведен силами большевиков, новая власть нуждалась в такой же опоре и здесь. Но откуда было ее взять? На помощь пришел способный, но очень неустойчивый в политических симпатиях журналист и оратор, полк. Бабкин (у него были и другие фамилии); он быстро организовал коммунистическую партию из местных чиновников; деятельность ее получила характер фарса и позже она была не признана во Владивостоке. Затем занялись насаждением кооперативов на Камчатке. то было адумано в противовес частной торговле, но выразилось только в захвате ка енных товаров и разбазаривании их реди населения. Понятая в таком смысле кооперация просуществовала два года и закончила свои дела тем, что у нее ничего не осталось, кроме долгов. Пушнина досталась частным торговцам.

Солдаты, от поддержки которых зависел Областной совет, были заинтересованы лишь в освобождении от военной службы, и после их демобилизации власть повисла в воздухе. Чтобы несколько укрепить свое положение, был решено собрать съезд, который и состоялся весной 1920 г. В то время я жил в Палланском районе, самом отдаленном от Петропавловска, и был оттуда послан делегатом на съезд. Власти, не без тревоги ожидавшие этот съезд, успокоились; после декламационной речи председателя, лишенный всякого руководства съезд занялся мелочными делами своих районов, обсуждение которых получило характер кляуз — старая привычка северного населения. Надо, впрочем, помнить, что северная торговля, бывшая синонимом обмана, всегда вызывала возмущение населения, и для него вопрос о ее ограничении был важнее всяких других.

Все эти действия камчатских властей не имели никакого значения, потому что на материке произошли события, в корне изменившие положение на Д. В. В связи с японским выступлением 5-го апреля 1920 г. во Владивостоке, Москва, и без того не имевшая возможности продолжать наступление далее Байкала, отказалась от установления советской власти на Д. В. Было предположено создание «буферного государства» между Сибирью и Японией, против чего не возражала и эта последняя. Такое завершение гражданской войны на Д. В. могло быть приемлемо и для демократических кругов русского общества. Но был вопрос, каков будет политический характер этого буфера; все три стороны понимали его по своему. В конце 1920 г. буфер был оформлен, как Дальневосточная республика, номинально независимая и демократическая, со своим флагом и конституцией, в действительности же — инструмент советской политики на Д. В.

Самая важная область Д. В. — Приморье — оставалась вне ее влияния. Во Владивостоке существовала формально власть Приморской земской управы, осуществлявшаяся через законодательное Народное Собрание и Совет управляющих ведомствами. Конструкция правительства несколько раз менялась; оно было то коалиционным с местной буржуазией, то право-социалистическим и наконец, в него вошли коммунисты. Во Владивостоке находились и некоторые войска под командой известного в Сибири ген. В. Г. Болдырева; оставался здесь и значительный золотой запас в Государственном банке, что со-

здавало правительству наиболее авторитетное положение на Д. В. Самым неблагоприятным фактором было присутствие здесь японских войск под командой ген. Оой, который имел и свою политику, и с ней всякое правительство во Владивостоке должно было считаться. Все происходившее здесь отражалось как в зеркале на Камчатке. Советы были и здесь заменены комитетами, и их деятельность пошла по руслу владивостокской политики.

Областной комитет, опираясь на более широкие слои населения, приобрел больше авторитета, и с прибытием продовольствия и денег из Владивостока (взамен выпущенных на месте), получил возможность выполнять нормальные функции управления. После столь частых перемен власти это управление пришло в полное расстройство на местах. При таких условиях порядок на севере восстанавливался, можно сказать, самопроизвольно: наученное горьким опытом, население привыкало к самоуправлению. Исключением был Охотск, который находился в состоянии анархии, приводившей к насилиям и грабежам. Здесь сказывалось влияние близкого Николаевска н/Амуре, где произошло выступление банды, которая сожгла город и перебила японский гарнизон. Ввиду изменившегося положения на Д. В. понадобилось собрать новый съезд, по установившейся на Камчатке традиции.

Я получил интересное назначение: пользуясь рейсом парохода от Петропавловска до Берингова пролива, — информировать население о положении на материке, принять местные жалобы, доставить товары в продовольственные склады и произвести выборы на областной съезд. Выполнив все это, к осени 1920 г. я вернулся в Петропавловск. Плаванье было продолжительное, высадка на берег по беспокойному морю всегда сопряжена с опасностью, около мыса Дежнёва нам встретились льды. На Чукотке я мог видеть положение русского дела: русская администрация была представлена тремя лицами, я должен был говорить с береговыми чукчами и эскимосами по-английски, что было для них понятнее русского, и меня там спрашивали, правда ли, что Чукотка передана американцам.

Этот Областной съезд более широко представлял страну, чем предшествующие, хотя выборы были в некоторых местах по необходимости несовершенные. Вероятно, благодаря моим дальним поездкам, меня больше знали, почему и выбрали пред-

седателем съезда. Обстановка на Камчатке была сложной: хотя здесь не было японской интервенции как на Д. В., все же в Петропавловской гавани стоял крейсер, готовый защищать японские интересы; возник туземный национализм среди якутов в Охотске и камчадалов на полуострове, где даже говорили об изгнании русских. В самом Петропавловске более отчетливо выделилась правая группа, надеявшаяся на возврат к старому, и левая с симпатиями к советскому режиму.

При таких условиях необходимо было соблюдать особую осторожность, чтобы не вовлечь Камчатку в международные осложнения, и, разделяя демократическую программу, сосредоточиться на внутренних делах: местная администрация, северная торговля, культурные нужды, положение кочующих. Съезд поддерживал меня против правых и левых, принимал пункты намеченной программы и предположил избрать меня председателем Областного комитета. Хотя мне и соблазнительно было стать во главе управления, а не только быть его критиком, как прежде, я отказался от этой должности потому, что, прожив три года на севере, чувствовал, что я отстал от событий на материке и хотел видеть сам, куда же шло их развитие. Кроме того, я мог быть полезен для области и во Владивостоке, где находился золотой ключ ко всем нашим планам.

Съезд, согласившись с этим, поручил мне отправиться туда в качестве уполномоченного по делам Камчатской области; особой инструкции не требовалось, так как по прежней работе я хорошо знал, что было нам нужно. По пути я имел приключение, которое было как бы предзнаменованием будущего. Наступила зима, плаванье в северных широтах стало опасным, и мы в самом деле потерпели аварию около Курильских островов; дрейфуя «без руля и без ветрил», мы получили помощь от американского парохода, который доставил нас буксиром на о. Хоккайдо в Японии. Оттуда мы кое-как добрались до Владивостока.

В 1921 г. мой интерес к событиям на материке был удовлетворен: я мог познакомиться не только с дальневосточной, но и российской политикой. Положение Камчатки оказалось неопределенным; формально связанная с советской территорией, она фактически полностью зависела от Дальневосточного правительства, каково бы оно ни было. В это время в печати передавалось известие, что Москва уступила всю Камчатку с ее рессурсами, как концессию, американцу Вандер-

липу на 99 лет. Возможно, что такой план существовал; но как совершенно авантюристический, он не получил хода и был в дальнейшем вовсе забыт, как что-то неприличное. Об этом стоит упомянуть, так как он шел гораздо дальше, чем все планы камчатских автономистов.

Каково же было Дальневосточное правительство? По идее буфера, это была демократическая республика с центром в Чите; скоро я убедился, что это был только фасад советской власти. Представитель ДВР во Владивостоке Р. А. Цейтлин без обиняков заявил мне, что они против камчатских «вольностей» и ожидают от нас поддержки их политики, на что я не мог согласиться. Но сама ДВР не распространяла своей власти на Приморье, где фактически действовало областное правительство с центром во Владивостоке, с которым мы должны были иметь дело, как это было и прежде. Это было наверное единственное место в России, где осуществлялась демократия: правительство было ответственно перед Народным Собранием, где были представлены все партии, даже монархисты. Премьером был В. И. Антонов, по партии коммунист, которого давно противники называли «тишайшим». В Народное Собрание были включены члены, выбранные от Камчатки, что облегчало наши переговоры с правительством. Не буду говорить о понесенных хлопотах; их оказалось больше, чем я ожидал: посещения властей, доклады и заседания, газетные статьи. Приморское правительство, хоть и неохотно и со спорами (особенно по части денег), но удовлетворяло наши пожелания. Должен вспомнить с благодарностью помощь, которую мне оказали представители от Камчатки в Народном Собрании, А. Д. Батурин и И. Д. Добровольский, дружеские отношения с которыми у меня сохранились и после этих событий. Наконец, когда все было кончено, летом я мог вернуться в Петропавловск.

Там возобладала группа с коммунистическими симпатиями, которая провела постановление о подчинении Камчатки непосредственно Советскому правительству. Очередной переворот во Владивостоке еще более подлил масла в огонь. Местные власти встретили меня враждебно, мешали дать отчет в работе, и наконец, прибегли к прямому нападению. Большой дом, в котором я жил со своими знакомыми, подвергся осаде, которая длилась две недели, и если не пришла к плачевному для нас концу, то только благодаря тому, что мы были воору-

жены, хотя и меньше, чем думали наши противники, которые не отличались храбростью. Конфликт разрешился вмешательством местного (не городского) населения, которое просило обе стороны прекратить распрю и обещало мне охрану, пока я оставался на Камчатке.

Прожив спокойно в одном пригородном селении до осени 1921 г. я уехал на материк, как хотел и раньше. Тогда во Владивостоке было Приамурское правительство (бр. С. и Н. Меркуловых), пришедшее к власти при поддержке остатков Каппелевской армии; это была белая власть, которая однако сохранила Народное Собрание, исключив из него коммунистов. Это правительство смотрело на Камчатку как на край, подлежавший завоеванию, и отправило туда экспедицию эсаула Бочкарёва, состоявшую из людей, от которых само было радо избавиться. Гражданская власть была вручена рыбопромышленнику Х. П. Биричу, предположительно знакомому с Камчаткой. Завоевание совершилось быстро; новая власть утвердилась в Петропавловске, а старая в лице Ларина с коммунистами, ушла в безопасные окрестности.

На Камчатке с 1922 г. началась гражданская война, при том в самой примитивной форме, особенно на Охотском побережье — насилия, грабежи, убийства. Казалось, воскресла недобрая традиция казацкого завоевания, и туземцы почувствовали озлобление против русских. Правительство во Владивостоке не могло успокоиться на таком положении, и для информации о Камчатке учредило «Особое совещание по Охотско-Камчатскому краю» из лиц, работавших на севере (в том числе я), под председательством С. П. Руднева. Под влиянием этого совещания правительство отказалось от завоевательных методов на Камчатке и назначило туда ген. Иванова-Мумжиева, дав ему в помощь популярного там Пурина. Но было уже поздно; в конце года Петропавловск был занят советскими силами. Несколько позже Бочкарёв был убит на севере, далеко от Охотска, озлобленными против его насилий туземцами.

Так, Камчатка последовала за Владивостоком, где в конце 1922 г. утвердилась советская власть. Каковы были причины поражения белых? В общем те же, что и в других частях России в 1920 г.; но на Д. В. к этому присоединились и причины местного характера. Самой важной было наличие японской интервенции, властно вмешивавшейся в борьбу сме-

нявшихся правительств. Хотя Приамурское правительство и пришло к власти при помощи остатков сибирских войск (каппелевцы), но также и при сочувствии японского командования. В дальнейшем было потеряно и то и другое. Правительство повело наступление против красной армии и вначале имело успех, взяв Хабаровск. Но силы его были недостаточны для такого предприятия, и оно сменилось отступлением. Японское сочувствие тоже не было неизменным, потому что японские военные вообще не хотели никакой русской власти в Приморье, ни левой, ни правой. И когда белое правительство стало искать американской поддержки, через Вашингтонскую конференцию в 1922 г., японцы повели против него закулисные интриги. Ко всему этому прибавились личные раздоры среди самих белых.

Происшедший летом кризис разрешился заменой братьев Меркуловых оказавшимся тогда во Владивостоке ген. М. К. Дитерихсом. Чтобы подчеркнуть национально русский характер своего правительства, он щедро пользовался термином «земский», видимо, по аналогии со Смутным временем: земский край, земский собор, земская рать, и наконец, во главе ее сам воевода. Но эти слова мало помогли делу; силы правительства были ничтожны, и через несколько месяцев, с выводом японских войск из Приморья, пропал и земский край. На другом конце Д. В. прекратило существование, за ненадобностью, маскарадное учреждение Д. В. Р. Во Владивосток 22 ноября в 1922 г. вошли красные войска, и была установлена еще не виданная здесь советская власть — военно-революционный комитет.

Остается еще несколько «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Приамурское правительство, со своими служащими и частью населения, эвакуировалось на юг, за пределы России, главным образом в Шанхай, бывший открытым портом. Не могли ли они отступить на север, в Петропавловск, и оставаться там, спрашивал Руднев. Вряд ли это было возможно. Население было настроено против белой власти, Камчатка не могла прокормить такое множество народу, и главное, они не могли держаться без помощи извне, которой не было и не ожидалось.

Борьба на севере однако не закончилась. Охотское побережье было мало доступно и с суши и с моря (трудно проходимые горы, нет удобных бухт). Остатки белых сил, действи-

тельно, держались здесь дольше, и тут разыгрался последний эпизод этой драмы, когда отряд ген. Пепеляева сдался в 1925 году. При нем находился известный в прошлом соц.-рев. Н. Н. Кулаковский; прежде он немало боролся с царским правительством, а теперь встретился, к его несчастью, с советской юстицией: следователь убил его во время допроса.

Бурный период моей жизни пришел к концу. После 1922 года я потерял связь с Камчаткой, а позже и с Россией вообще, когда ушел в эмиграцию и поселился в Шанхае, как многие русские из Владивостока. Большая часть лиц, которые упоминаются в моем рассказе, умерли насильственной смертью; даже Пурин, уже живя в Шанхае, не избежал этой участи, захваченный китайскими коммунистами. Поэтому я и решил отметить эти события, которые иначе были бы забыты; по той же причине я старался быть сдержан, рассказывая о людях, которых нет в живых. Что же я могу сказать о себе самом? У меня была вера, которую я разделял со всей русской демократической интеллигенцией, вера в возможность «третьего пути» для русской революции. Вера эта не оправдалась в самой России, и тем более это было невозможно на далекой Камчатке. Для меня лично следом, оставшимся от четырехлетней там жизни, осталась книга, в которой я описал колонизацию Камчатки в прошлом и состояние ее в мое время.*

И. И. Гапанович

* И. И. Гапанович. Россия в северо-восточной Азии, т. I, II. Пекин, 1933-34.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 ГОДА БЕЗ ЛЕГЕНД[1]

В средневековой Германии образовалась странная политическая формация, которая именовалась «Священная Римская Империя германской нации» (ибо она считалась наследницей франко-германско-римской империи Карла Великого). Скептические современники считали ее каким-то «уродом» или «чудовищем» («монструм») и утверждали, что она, во-первых, не священная, во-вторых, не римская, а в-третьих, не империя (ибо титулярный выборный «император» фактически не имел в Гер-

---

[1] Материалами для настоящей статьи послужили, главным образом, документы, изданные в Сов. Союзе. Наиболее важным для меня источником были два следующих обширных собрания документов: 1) Петроградский Военно-революционный комитет. Документы и материалы. Т. I. Москва, 1966 (цитируется: ВРК). 2) Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Москва, 1957 (цит.: «Окт. восст»). Далее, разнообразные документы и материалы, опубликованные в советских исторических журналах «Красный архив» (цитир.: «Красн. арх.») и «Красная летопись» (цит.: «Красн. лет.»). Из многотомного собрания сочинений Ленина (я пользовался 2-м изданием) к 1917 году относятся томы 20, 21 и 22 (сочинения расположены в хронологическом порядке, поэтому при цитатах достаточно указать дату).

Важным источником является известная книга американского «интернационалиста» Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Она не раз издавалась по-русски и по-английски; я пользовался нью-йоркским изданием 1960 г., но цитаты привожу по-русски. Слепо влюбленный в (воображаемую) социалистическую революцию, Рид, в своей книге, однако, стремится правдиво рассказать о том, что он видел и слышал в Петрограде в октябрьские дни. Интересны (хотя слишком эмоциональны и многословны) записки одного из защитников Зимнего дворца, поручика А. Синегуба: «Защита Зимнего дворца» («Архив русской революции», кн. IV, Берлин, 1922). Интересны «Воспоминания» В. Б. Станкевича (Берлин, 1920), бывшего осенью 1917 г. комиссаром Северного фронта, а потом комиссаром при Ставке вер-

мании никакой власти за пределами своего наследственного княжества).

О том странном государстве, которое образовалось в результате ленинской революции 25-го октября 1917 года и которое именует себя «Союзом Советских Социалистических Республик», тоже надлежит сказать, что это — не союз, ибо многие части его (как Грузия, Эстония, Латвия, Литва) не добровольно примкнули к «союзу», но были покорены военной оккупацией; это — не советское государство, ибо советы являются лишь исполнительными органами, подчиненными господствующей коммунистической партии; социально-экономический строй СССР — не социализм, а государственный капитализм с закрепощенным крестьянством и бесправным рабочим классом, который при Сталине был формально прикреплен к государственным предприятиям; наконец, это вовсе не республика, ибо вся власть в ней принадлежит или одному диктатору или кучке коммунистических олигархов, а «широкая публика», советские «граждане» имеют «право» подавать «избирательные» бюллетени — только за коммунистические списки (ибо иных списков не существует), да в указанные дни маршировать по улицам, выражая или восторг или негодование, как будет приказано.

Наконец, возникает вопрос: есть ли основанная Лениным квази-государственная формация действительно государство в юридическом смысле этого слова, или это есть некий «монструм», основанный исключительно на силе и насилии? По этому вопросу мы попросим высказаться самого Ленина, а пока напомним основной принцип государственного права, установленный в Европе в средние века: «справедливость (т.-е. право и правосудие) есть основа государства» (iustitia est fundamentum regni). В соответствии с этим великий учитель ранне-христианской эпохи, блаженный Августин писал в своем знаменитом трактате «О граде Божием»: «Если мы отбросим (или

ховного главнокомандующего. Пришлось мне заглянуть и в книгу большевистского командарма В. А. Антонова-Овсеенко, «Записки о гражданской войне», т. I, Москва, 1924.

Историческая и псевдо-историческая литература, посвященная октябрьской революции, поистине необъятна. Из нее я выделю только одну книгу, которая дает наиболее обстоятельное и правдивое описание октябрьского переворота: С. П. Мельгунов, «Как большевики захватили власть». Октябрьский переворот 1917 года. Париж, 1953.

устраним) право и справедливость, то что́ такое государство, как не большая шайка разбойников? И что́ такое шайка разбойников как не маленькое государство?»[2] А великий учитель коммунистического мира, Ленин, взявши у Маркса идею «диктатуры пролетариата», как формы пролетарского государства (и осуществив ее впоследствии путем установления диктатуры головки коммунистической партии), так определяет эту квазигосударственную форму: «Диктатура означает — примите это раз навсегда к сведению, господа кадеты, — неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон, власть». «Неограниченная, внезаконная, опирающаяся на силу, в самом прямом смысле слова, власть — это и есть диктатура». «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (Сочинения, изд. 2-е, т. 25, стр. 436, 439, 441).

Бросив беглый взгляд на то странное государство, которое возникло в результате октябрьского переворота, посмотрим теперь внимательно на то событие, которое получило величественное название «Великой Октябрьской Социалистической Революции».

Советские авторы по обязанности, а западные — по невежеству и легковерию, изображают октябрьский переворот в Петрограде, как какое-то всенародное восстание петроградской рабочей массы и петроградского гарнизона под знаменем социализма, который обещал построить для них великий Ленин. Из рассмотрения исторических фактов мы увидим, что ни рабочая масса, ни гарнизон Петрограда не принимали в «революции» 25-го октября почти никакого участия, а о социализме вожди восстания сначала даже и не заикались. Теперь, когда мы видим монгольскую и албанскую «социалистические» республики и мао-цзе-дуновскую «культурную» революцию, мы можем ничему не удивляться, но в то время не только интеллигенция в целом, но и марксисты, которые сколько-нибудь «всерьез» принимали теории Маркса, видели и утверждали, что Россия, при настоящем ее социально-экономическом строе, еще далеко не «созрела» для введения в ней социализма; однако, Ленина эти подробности нисколько не смущали. В своем

[2] Remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna?

письме в ЦК большевистской партии, 24 октября, Ленин, настаивая на немедленном начале восстания, писал: «Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия».

Стало-быть главное это — захватить власть, а там будет видно. Однако, под каким же лозунгом поднимать восстание? Хитрый и хищный демагог скоро придумал — военно-патриотический лозунг: восстание нужно для... защиты Петрограда от немцев! Керенский, будто бы, хочет сдать Петроград немцам, чтобы «удушить революцию», и «только наша партия» может мобилизовать массы для защиты Петрограда (с этой, будто бы, целью и был создан петроградский «военно-революционный» комитет). Далее следует ряд столь же заманчивых сколь обманчивых лозунгов. Временное Правительство саботирует Учредительное Собрание, и «только наша партия» обеспечит созыв Учредительного Собрания (на одну ночь...). Временное Правительство не дает крестьянам землю, и «только наша партия» даст землю крестьянам (известно, как «наша партия» решила земельный вопрос).

Но главным козырем в ленинской игре фальшивыми картами было его обещание утомленной и озлобленной солдатской массе: «только наша партия даст вам справедливый демократический мир, тогда как Керенский гонит вас на империалистическую бойню», тогда как действительный смысл ленинского плана — «превращения войны империалистической в войну гражданскую» означал поход Красной армии на Европу и непрерывный ряд войн для свержения «буржуазных» правительств и установления, с помощью местных коммунистических партий, всеевропейской коммунистической республики.

Наконец, возникает вопрос: был ли удавшийся октябрьский переворот революцией? Это зависит от того, что́ понимать под словом: революция? Если понимать революцию, как некое прогрессивное, народное и освободительное движение, то, конечно, ленинский переворот 1917 года, как и гитлеровский переворот 1933 года, были не революциями, а контр-революциями: как гитлеровский переворот опрокинул демократическую Веймарскую республику, так ленинский переворот опрокинул самое демократическое, но, увы, самое слабое Временное Правительство. С точки зрения политических понятий, октябрьский переворот надлежит характеризовать, как захват власти кучкой хорошо организованных заговорщиков, воспользовавшихся

исключительно трудным положением страны и правительства.

После этих предварительных замечаний посмотрим, как же протекала в Петрограде эта ленинская не-великая, не-социалистическая (а по новому стилю даже не-октябрьская) контрреволюция.

*

Положение новорожденной Российской республики осенью 1917 года было в высшей степени безотрадным.

Ее политический строй характеризовался известной «формулой»: двоевластие в центре и безвластие на местах. Перед Временным Правительством, которое возглавлял Керенский, стояли задачи необычайной трудности, но оно не имело средств для их разрешения и находилось в состоянии перманентного кризиса. Органы «революционной демократии» — советы рабочих и солдатских депутатов и возглавлявший их Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), — в которых до осени 1917 г. господствовали эсэры и меньшевики, поддерживали правительство «постольку-поскольку» или не поддерживали вовсе. Созданный на «демократическом совещании» в сентябре «Совет Республики» (или «Предпарламент») оказался бессильной и безвольной говорильней и не содействовал политической стабилизации. Между тем большевистская партия, под командой Ленина, вела яростную кампанию против правительства Керенского и против «социал-соглашателей» (или «социал-предателей») под лозунгом «вся власть советам», и агитация эта встречала отклик в солдатских и рабочих массах, утомленных затянувшейся войной и все возраставшей хозяйственной и финансовой разрухой.

Особенно тяжелым и трагичным становился вопрос о продолжении войны. Временное Правительство, с одной стороны, не решалось разорвать союзные договоры с западными державами и не помышляло о заключении сепаратного мира с Германией; с другой стороны, оно отвергало прежний лозунг «война до победного конца» и принимало лозунг «революционной демократии» — мир без аннексий и контрибуций, без победителей и побежденных. Но если победа признается не только ненужной, но и нежелательной, то кому охота идти в бой и умирать? Естественно, что армия на фронте, заливаемая с двух сторон — с немецкой и с большевистской — потоками пацифистской, а по существу пораженческой пропаганды, раз-

лагалась все более и более, превращаясь в огромную вооруженную толпу (теперь известно, что большевистская антивоенная печать финансировалась секретными субсидиями императорского германского правительства). А многочисленные гарнизоны в городах внутри России, состоявшие, главным образом, из пожилых «запасных» и «ополченцев» или из юных «новобранцев», с начала революции сидели в казармах без всякого дела и надзора, слушали бесконечные речи и споры митинговых ораторов разных социалистических партий, лузгали «семечки» и ждали только одного — «когда же этой проклятой войне будет конец».

Естественно, что в этих условиях политической, хозяйственной, военной и моральной разрухи большевики «плавали, как рыба в воде», и их бессовестно-демагогическая агитация встречала отклик в солдатской и рабочей массе. После неудачи своего июльского «выступления» большевики должны были на некоторое время «стушеваться», но в результате корниловского выступления в конце августа, раздутого напуганным воображением революционной демократии в опасный контрреволюционный «мятеж», большевики получили «индульгенцию» и, будучи приглашены для совместной с эсэрами и меньшевиками защиты «завоеваний революции», они начали организовывать среди рабочих свои боевые дружины «красной гвардии» для подготовки своей будущей контр-революции.

При перевыборах советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде и в Москве в самом конце августа большевики получили в них большинство, и Ленин решил, что теперь настало время для осуществления лозунга «вся власть советам», что в действительности для него означало: захват власти партией большевиков.

В середине сентября Ленин (скрывавшийся в Финляндии) начал бомбардировать ЦК большевистской партии письмами с настойчивыми требованиями — начинать восстание. Но что сказать народной массе? Для чего нужно восстание? Для введения социализма? За власть советов? Но советы сами могли бы взять власть, если бы хотели. Ситуация на войне помогла Ленину. Во второй половине августа немцы перешли в наступление на Северном фронте и заняли Ригу (без большого сопротивления со стороны русской 12-й армии). Дальнейшее наступление немцев на север могло бы создать угрозу для Петрограда. Ленин или сам придумал, или подхватил придуманный

кем-то клеветнический слух, что Керенский хочет сдать Петроград немцам «для удушения революции», и потребовал начать восстание «для защиты Петрограда» (от немцев и от Керенского). В своих письмах к центральным органам большевистской партии (ЦК, петроградскому и московскому комитетам) в сентябре и октябре Ленин подробно и настойчиво развивал свой план немедленного восстания: «Керенский сдаст Питер немцам, вот что яснее ясного теперь... Именно для спасения Питера надо свергнуть Керенского и взять власть советам обеих столиц» — «вот лозунг восстания, который мы должны пустить в обращение как можно шире и который будет иметь громадный успех» (письмо от 8 октября).

«Только наша партия, победив в восстании, может спасти Питер» (14 сент.). Большевистские главари напоминали Ленину о том, что в 20-х числах октября должен собраться 2-й всероссийский съезд советов, который и может сделать постановление о переходе власти к советам. На это разгневанный верховный вождь отвечал, что нельзя пропускать удобный для восстания момент и что «ждать съезда советов есть полный идиотизм или полная измена», «ибо съезд ничего не даст и ничего не может дать». «Теперь взять власть можно, а 20-29 октября ее вам не дадут взять». «Сначала победите Керенского, потом созывайте съезд» (29 сент. и 7 окт.). Власть должна захватить большевистская партия и тем поставить съезд советов перед совершившимся фактом — вот директива Ленина.

Под натиском Ленина большевистский ЦК, в резолюции принятой 10 октября, признал, что современное политическое и военное положение (в частности, «несомненное решение русской буржуазии и Керенского с компанией сдать Питер немцам») «ставит на очередь дня вооруженное восстание» (ВРК, стр. 37). В связи с этим было решено образовать «революционный штаб по обороне Петрограда», но скоро это название было найдено слишком уж «оборонческим» и заменено другим: «Военно-революционный комитет» (при петроградском совете рабочих и солдатских депутатов). Комитету была вменена в обязанность «разработка плана работ по обороне Петрограда» (ВРК, стр. 40).

В заседании ЦК большевистской партии 16 октября доклады с мест рисовали вовсе не радужные перспективы грядущего восстания. Отзывы о настроении рабочих масс в разных районах звучали не весьма обнадеживающе: «боевого настрое-

ния нет»; «настроение учесть трудно»; «настроение бесшабашное»; «стремления выступить нет»; «дело плохо»; «настроение выжидательное», и только в двух или трех районах «настроение в нашу пользу» (но и это ведь еще не означало готовности к вооруженному восстанию). Крыленко от большевистского «военного бюро» сообщает, что у них «резкое расхождение» в оценке настроения в полках петроградского гарнизона; работники на местах «говорят, что для выступления нужно, чтобы что-нибудь их решительно задело, а именно, вывод войск», т.-е. вывод из Петрограда на фронт[3] (ВРК, стр. 42-44).

Отряды красной гвардии были немногочисленны и плохо вооружены, и вообще обстановка не внушала большевистским главарям больших надежд на победу. Они предлагали Ленину отсрочку восстания на несколько недель для лучшей подготовки его, но он с маниакальной настойчивостью требовал начинать дело немедленно и угрожал своим уходом из ЦК.

Наконец ВРК, толкаемый Лениным в шею, решил действовать. 21 октября он созвал общее собрание полковых комитетов петроградского гарнизона, которое приняло резолюцию, обещавшую «полную поддержку ВРК во всех его шагах, направленных к тому, чтобы теснее связать фронт с тылом в интересах революции» (ВРК, стр. 60). Эта довольно туманная резолюция вовсе не обещала участия гарнизона в вооруженном восстании против Временного Правительства, но все же «полная поддержка» — в чем-то — была обещана, и 22 окт. ВРК послал своих представителей в штаб петроградского военного округа «для совместной работы». Штаб отказался от этого непрошенного «сотрудничества» и ВРК объявил, что «порвав с организованным гарнизоном столицы, штаб становится прямым орудием контрреволюционных сил», и что отныне «никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные ВРК, недействительны» (стр. 63).

Это уже было, в сущности, открытое объявление войны Временному Правительству, дополненное тем, что 23 окт. ВРК назначил в полки и в «особо важные пункты столицы» своих комиссаров «для охраны революционного порядка от контрреволюционных покушений». Но прямого вооруженного вос-

[3] Петроградский гарнизон, как известно, имел завидную привилегию не идти на фронт, а пребывать в столице для охраны завоеваний революции.

стания ВРК все еще не начинал и 24 октября нетерпеливый и негодующий Ленин писал своему ЦК:

«Нельзя ждать!! Можно потерять все!! Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске. Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство... Теперь уже поистине промедление в восстании смерти подобно». (Ленин опасался, что Керенский призовет казаков и «ударников» с фронта и тогда революция погибла).

Готовясь начинать восстание для захвата власти, ВРК, однако, 24 октября опубликовал следующее сообщение: «Вопреки всякого рода слухам и толкам, ВРК заявляет, что он существует отнюдь не для того, чтобы подготовлять и осуществлять захват власти, но исключительно для защиты интересов петроградского гарнизона и демократии»; по предложению Троцкого (бывшего в то время председателем петроградского совета) были добавлены слова: «от контрреволюционных и погромных посягательств» (ВРК, стр. 99).

Было одно обстоятельство, которое очень беспокоило большевистских главарей накануне восстания: это была наличность в составе петроградского гарнизона трех донских казачьих полков. Вожди ВРК прекрасно понимали, что если бы три полка донцов атаковали слабые и плохо обученные отряды «красной гвардии», то они разбежались бы, и тогда «великая октябрьская революция» не состоялась бы. Поэтому большевики, от имени петроградского совета, 21 октября обратились к «братьям-казакам» с красноречивым воззванием, в котором они уверяли их в своем дружеском отношении к трудовому казачеству и в том, что слухи о враждебных намерениях совета против казаков и о подготовке в Петрограде вооруженного восстания распространяются негодяями и провокаторами. Воззвание заканчивалось любезным приглашением «братьев-казаков», но не на революцию, а на... концерты: петроградский совет протягивал казакам «братскую руку» и сообщал: «На 22 октября совет назначил мирные митинги, собрания и концерты, где рабочие и солдаты, матросы и крестьяне будут слушать и обсуждать речи о войне и мире, о народной доле. На эти мирные, братские митинги мы приглашаем и вас. Добро пожаловать, братья-казаки!» («Окт. восст.», стр. 233).

Мне неизвестно, пожаловали ли казаки на братские митинги и концерты, но защищать вооруженной рукой шатавшееся правительство Керенского они не были склонны. Во время «кор-

ниловского выступления» правительство Керенского обвиняло донского атамана Каледина в соучастии в «корниловском мятеже» и тогда создалось такое положение, когда, по выражению одного современника, «казаки боялись Керенского, а Керенский боялся казаков». Когда затем большевистское «выступление» стало фактом и казакам пришлось решать вопрос: на чью сторону стать, они решили соблюдать нейтралитет.

А как же реагировало, возглавляемое Керенским Временное Правительство, на объявленную ему большевиками войну? Увы, оказалось, что самое демократическое правительство в мире не имело под собою сколько-нибудь крепкой и устойчивой опоры. Керенский, бывший весною и в начале лета 1917 года кумиром интеллигенции и толпы, потерял свою популярность и подвергался нападкам справа и слева; «справа» офицерство, казачество и буржуазия обвиняли его в демагогии и в потворстве большевикам, тогда как яростная агитация большевиков обвиняла его в том, что он «продался» русским помещикам и капиталистам и западным империалистам, и хочет «сдать Питер немцам».

«Революционная демократия» — эсэры и меньшевики — сначала поддерживали Керенского «постольку, поскольку», а потом и вовсе перестали поддерживать, находя его внутреннюю и внешнюю политику недостаточно радикальной и относясь отрицательно к идее «коалиции с буржуазными элементами». Когда в начале большевистского выступления Керенский обратился за поддержкой к Предпарламенту, то последний, после долгих разговоров и споров, принял такую резолюцию, в которой было гораздо больше критики и упреков по адресу Временного Правительства, чем обещания поддержки в борьбе с большевиками; да и поддержка-то эта могла быть только «моральной», ибо «революционная демократия» находила недопустимой вооруженную борьбу с большевиками, так как хоть они и «заблуждались» в теории и в тактике, однако же, они были «партией пролетариата», т.-е. частью революционной демократии, и военный разгром большевистского движения повел бы к торжеству «темных сил реакции». То пугало (воображаемой) контрреволюции справа в е время стояло перед глазами революционной демократии и заслоняло от нее реальную опасность контрреволюции слева.

Вот как описывает В. Б. Станкевич реакцию Совета Рес-

публики на просьбу Керенского о помощи против большевистской угрозы:

«...Было волнение. Партии совещались по фракциям, столковывались между собой, но безрезультатно, так как эсэры проваливали в своей фракции пятую по счету резолюцию и, повидимому, теряли надежду столковаться на чем-нибудь. Я, между прочим, заговорил о необходимости организовать гражданскую оборону из студенчества, но меньшевики отшатнулись от меня, как от зачумленного. И так правительство наделало много глупостей, а вы хотите еще белую гвардию устраивать!» (стр. 259).[4]

Кроме всего прочего, большевикам помогало то, что петроградская интеллигенция, будучи идейными противниками большевиков, не дооценивала большевистскую опасность и не относилась достаточно серьезно к предстоящему выступлению большевиков, считая его «авантюрой» и думая, что захватившее власть большевистское правительство не продержится дольше 2-3 недель или месяцев.

Что касается народной массы, то она, конечно, плохо разбиралась в разногласиях и спорах большевиков, меньшевиков и эсэров по вопросам программы и тактики, но она к осени 1917 года при продолжающейся войне и при возрастающей политической и хозяйственной разрухе внутри страны, не чувствовала никакого облегчения в своем положении, а фактическое отсутствие какой-либо авторитетной власти на местах повело к многочисленным «эксцессам» не только в области аграрных отношений, но и в области алкогольных напитков.

Осенью 1917 года в ряде городов произошли пьяные «бунты»: солдаты, рабочие и прочие жители разбивали закрытые винные склады, на которых с 1914 года хранились неприкосновенными огромные запасы водки (или, по официальной тер-

[4] Один из двух главных вождей революционной демократии 1917 года (я имею в виду Чернова и Церетели) впоследствии честно признал ошибку этой демократии, не видевшей, что «главная опасность, угрожавшая революции, шла слева», что «левый экстремизм представлял для демократии несравненно более реальную опасность, чем экстремизм правый», и что противники большевиков «не отдавали себе отчета ни в подлинном характере, ни в истинном значении большевистской опасности» (И. Г. Церетели. «Воспоминания о февральской революции», книга 2-я, 1963. 'Причины поражения демократии', стр. 410, 414, 417).

минологии, «водочных изделий»), напивались и пьянством, буйством и разгромами «праздновали» новую свободу.

Наконец, и армия не оказала поддержки падавшему Временному Правительству, которое, несмотря на все миролюбивые заявления, не «дало» мира, тогда как большевики, с полной уверенностью, обещали «дать» всеобщий демократический мир. Солдатская масса, конечно, плохо разбиралась в вопросах партийных программ и тактики («а чорт вас разберет, кто из вас прав») и в споре Ленина и Керенского видела какую-то личную борьбу за власть. Интересный случай, несомненно, далеко не единственный, приводит в своих воспоминаниях В. Б. Станкевич. 26 октября, на другой день после большевистского переворота в Петрограде, комиссар низложенного Временного Правительства на вокзале в Царском Селе обратился к собравшейся толпе солдат с горячей речью, в которой он призывал солдат не слушать большевиков и поддержать Временное Правительство, стремящееся «дать народу честный мир, Учредительное Собрание и землю». «Но едва я замолчал, уверенный в успехе речи, как какой-то пожилой солдат плюнул и со злобой, неизвестно на кого, начал кричать, что теперь уж он ничего не понимает. 'Все говорят и все по разному. Всякий со своими программами, партиями. Все перепуталось, ничего не пойму, к чорту всяких ораторов', — кричал он в исступленном негодовании. Впечатление речи сразу пропало, ведь все чувствовали тоже, что в голове (все) перепуталось» (стр. 269).

Комиссар ВРК, посланный в 171-й пехотный полк, доносил (во время движения войск Керенского-Краснова на Петроград): «В полковом комитете мнение, что они дерутся за кого-то, а не по необходимости» (ВРК, стр. 520).

В заседании ВРК 31 октября была принята делегация от Лужского совета рабочих и солдатских депутатов. «Цель делегации: переговоры о мирной ликвидации создавшегося положения. Рассказы делегатов о настроении лужских войск и степени их осведомления о событиях в Петрограде противоречивые. Так, один делегат заявляет, что они знают только, что есть две воюющие стороны, чего требуют — не знают» (ВРК, стр. 424).

В «борьбе Ленина с Керенским» солдатская масса, в огромном своем большинстве, сохраняла нейтралитет (как многотысячные гарнизоны Гатчины и Царского Села при занятии этих городов казаками Краснова 27 и 28 окт.). С другой

стороны, командный состав, генералы и офицеры весьма скептически относились к штатскому верховному главнокомандующему, которого они обвиняли в развале и дезорганизации армии (хотя солдатское «самоуправление» было введено до того, как Керенский стал военным министром и главнокомандующим). Неудивительно, что когда Керенский 25 октября выехал из Петрограда на Северный фронт, чтобы собрать верные Временному Правительству войска и послать их к Петрограду для подавления большевистского восстания, то он не нашел там почти никакой поддержки; солдаты не хотели воевать «против своих», а командование не хотело снимать войска с противонемецкого фронта и посылать их в Петроград для участия в междоусобной гражданской войне. Получив известие о петроградских событиях 25 и 26 окт., главнокомандующий армиями Северного фронта ген. Черемисов телеграфировал (27 октября) подчиненным ему высшим военным начальникам директиву о невмешательстве армии в политическую борьбу: «Политическая борьба, происходящая в Петрограде, не должна касаться армии, задача которой остается прежняя — прочно удерживать ныне занимаемые позиции, сохраняя порядок и дисциплину» («Красн. арх.», т. 23, стр. 176).

Начальник штаба верховного главнокомандующего ген. Н. Н. Духонин был склонен оказать помощь Временному Правительству в его борьбе с большевиками, но оказался бессильным победить преобладавший в армии «нейтрализм».

В конце концов, Керенскому и комиссару Северного фронта Войтинскому удалось двинуть на Петроград только «3-й конный корпус» под командой ген. Краснова, но под громким названием «конного корпуса» скрывалось лишь несколько сотен казаков (около 1.200 чел.). Движение красновского «корпуса» (26-28 окт.) до смерти напугало петроградских большевиков, но слабость отряда и встреченное им (под Петроградом) сопротивление остановили продвижение казаков и повели к заключению «перемирия» (в Гатчине) и бегству Керенского. Таким образом главной причиной столь прославленной (и еще прославляемой) победы большевистских войск в октябре 1917 года было то, что у них не было сколько-нибудь серьезного вооруженного противника.

Перед лицом большевистской опасности правительство Керенского оказалось совершенно изолированным, не имевшим ни военной, ни политической силы. Все же оно сделало попыт-

ку сопротивления: 24 октября утром министр юстиции Малянтович предписал судебным властям «начать расследование (!) деятельности ВРК, направленной против законной власти», и одновременно правительство решило закрыть две большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат» (заодно были закрыты «правые» газеты «Новая Русь» и «Живое слово», как мера против мифической контрреволюции справа).

Закрытие (или попытка закрытия) двух большевистских газет дало ленинцам желанный предлог для начала их атаки на правительство под видом «защиты» революции от «нападения» реакции. 24 окт. ВРК издал воззвание: «Солдаты! Рабочие! Граждане! Враги народа перешли ночью в наступление. Штабные корниловцы пытаются стянуть из окрестностей юнкеров и ударные батальоны, замышляется предательский удар против Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Газеты «Рабочий путь» и «Солдат» закрыты, типографии опечатаны. Поход контрреволюционных заговорщиков направлен против Всероссийского съезда Советов накануне его открытия, против Учредительного Собрания, против народа. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов стоит на защите революции. Военно-революционный комитет руководит отпором натиску заговорщиков. Весь гарнизон и весь пролетариат Петрограда готовы нанести врагам народа сокрушительный удар» (ВРК, стр. 83).

С утра 25 октября ленинцы начали активную «защиту» своей революции. Большевистские военно-революционные силы, под командой «Военно-революционного комитета», перешли в открытое наступление. Отряды рабочих-красногвардейцев и небольшие кучки солдат из разных полков без всякого сопротивления заняли вокзалы, мосты, электростанции, почту, телеграф, телефонную станцию и иные пункты общественного значения. Заняли также Мариинский дворец и распустили заседавший в нем Предпарламент. Оставалось взять только Зимний дворец, где заседало Временное Правительство, и здание главного штаба, но здесь вышла продолжительная задержка.

После своих легких успехов ВРК немедленно опубликовал несколько торжествующих обращений к населению, гласивших: «Революция восторжествовала!» «Временное Правительство низложено». «Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского». «Единодушно восставшие солдаты и рабочие победили без всякого кровопролития» (т.-е. без вся-

кого сопротивления). «Зимний дворец, штаб и прилегающие пункты окружены» (ВРК, стр. 106-107).

После этих бескровных побед происходит длительная задержка со взятием Зимнего дворца, несмотря на повторные сердитые понукания Ленина и на то, что защищавшие дворец военные силы были, как сейчас увидим, совершенно ничтожны. Задержка эта была бы совершенно непонятна, если бы слова большевистских реляций о «единодушно восставшем» (стотысячном) гарнизоне Петрограда были правдой. Из подробных советских описаний «военных действий» в Петрограде 25 октября можно усмотреть, что, повидимому, только солдаты Павловского полка (неизвестно в каком количестве) принимали непосредственное участие в «осаде» и «штурме» Зимнего дворца, тогда как примкнувшие к большевикам солдаты других полков (которые председатель ВРК, Подвойский, в своем описании военных действий 25 окт. считает в составе своей военно-революционной армии) развлекались более мирными и безопасными занятиями: «высылали заставы» (которые иногда обезоруживали встретившихся им офицеров и юнкеров), «охраняли мосты», «прикрывали тыл наступающих (к Зимнему дворцу) цепей», «охраняли подступы к Смольному» (на который никто не нападал) и т. п. («Красн. лет». № 8, 1923, стр. 23-27).

Косвенным, хотя весьма важным и интересным подтверждением того факта, что действительное поведение большинства полков петроградского гарнизона в день 25 октября весьма сильно отличается от официальных сказок об их «единодушном восстании», служит весьма примечательный пробел в архивах ВРК. Недавно советской Академией Наук (институтом истории) были изданы в 3-х томах документы и материалы из архива Петроградского Военно-революционного комитета. Собрание это содержит множество самых разнообразных документов, более или менее важных и совсем неважных, как всякого рода удостоверения, записки, предписания по всяким случаям и т. д. Есть в нем, конечно, и донесения комиссаров ВРК, назначенных в разные воинские части петроградского гарнизона, но — «донесений комиссаров ВРК накануне восстания и в дни самого восстания, к сожалению, не сохранилось» (Предисловие, стр. 9), т.-е. самая важная группа документов, действительно «к сожалению», исчезла из архива ВРК. Очевидно, донесения комиссаров о настроении и поведении полков

петроградского гарнизона в дни восстания так далеко расходились с официальными лубочными картинками, рисующими всеобщий революционный энтузиазм полков «единодушно восставшего» гарнизона, что донесения эти решено было уничтожить.

А что́ же происходило 25 октября в Зимнем дворце и какие военные силы были собраны для защиты дворца и заседавшего в нем Временного Правительства? Увы, силы эти, с военной точки зрения, были совершенно ничтожны: несколько сот юнкеров из разных военных училищ, 130 (или 137) женщин-ударниц из женского батальона, 40 человек георгиевских кавалеров-инвалидов, небольшой отряд казаков; но когда казаки увидели, что во дворце только юнкера и «бабы», они скоро угрюмо удалились во-свояси. Ни боевых, ни продовольственных запасов для защитников во дворце заготовлено не было; в управлении «военными силами», защищавшими дворец, царил беспорядок, близкий к хаосу. Вечером и юнкера стали расходиться, когда надежда их на приход Керенского с фронтовыми войсками не осуществилась, а силы осаждавших все увеличивались. Впрочем, и осады настоящей не было; большевистские цепи частично окружали Зимний дворец, но задние двери оставались открытыми и не охранялись достаточно юнкерскими караулами, так что люди через эти двери приходили во дворец и уходили из него.

Джон Рид, со своими двумя спутниками и одной спутницей, беспрепятственно прошли во дворец и долго четверо американцев свободно бродили по коридорам и залам дворца и разговаривали с встречавшимися офицерами. Рид сам отмечает в своей книге странность положения, когда четверо неизвестных людей свободно разгуливали «в тылу оборонительных линий армии, ожидающей атаки неприятеля» (стр. 117). Приходили во дворец (и уходили из него) и большевистские парламентеры для переговоров с юнкерами о сдаче.

А что́ же происходило 25 октября в Петрограде за пределами той площади, на которой «революционные войска» осаждали «правительство помещиков и капиталистов»? Ничего особенного. Все наблюдатели, и русские и иностранцы (включая Джона Рида), согласно свидетельствуют, что жизнь города протекала совершенно нормально, без всяких признаков социальной или иной какой-либо революции; фабрики и заводы работали, как обычно, огромное большинство солдат сидело по

своим казармам, в учебных заведениях шли обычные занятия, по Невскому, как обычно, гуляла публика, все магазины были открыты, трамваи ходили, как обычно, кинематографы и театры давали свои представления. Лишь изредка по улицам, привлекая любопытные взоры публики, проносились грузовые автомобили с кучками большевистских солдат.

Вечером, наконец, на помощь бессильной революционной «армии» пришли долгожданные балтийские матросы, повидимому, тысячи три или четыре («Окт. восст.», стр. 706-7). Теперь большевистское командование имело огромный перевес сил и могло начать активные военные действия. Временному Правительству было предъявлено ультимативное требование — сдаться, но ультиматум был отвергнут, и тогда началась пресловутая «бомбардировка» Зимнего дворца. Стоявший на Неве большевистский крейсер «Аврора» начал стрельбу, но «выстрелы, возвестившие рождение нового мира», были холостыми. Затем должна была начать бомбардировку артиллерия Петропавловской крепости, но тут вышла задержка. Вот что рассказывает об этом один из большевистских комиссаров Ф. Хаустов: «Накануне переворота солдаты крепости вынесли резолюцию — поддержать советы. Но резолюцией дело и ограничилось. Когда же настал час решительных действий, они заколебались, начали митинговать и заняли нейтральную позицию: огня не открывать, а ждать, когда юнкера и министры сами сдадутся. Попытки т. Сахарова переубедить солдат не имели успеха» (Ф. Хаустов. «В октябре», «Красн. лет.», № 2 (53), 1933 г., стр. 193). Пришлось большевистскому командованию звонить в Смольный с докладом о затруднительном положении, и «не прошло и часа как в крепость прибыли большевики-артиллеристы». Теперь крепостная артиллерия, наконец, заговорила и сделала 30 или 40 выстрелов, частью холостыми, частью боевыми снарядами. Но, повидимому, и «большевики-артиллеристы» умышленно давали перелеты, ибо в здание дворца попали только два (шрапнельных) снаряда, повредившие карнизы и поцарапавшие штукатурку. После такой «артиллерийской подготовки» большевистское командование решило начать «штурм» дворца, но большевистские цепи, продвигавшиеся по площади к фасаду дворца, были остановлены пулеметным огнем юнкеров, которые соорудили баррикаду из дров, заготовленных на зимнюю топку.

Тем временем настала глубокая ночь и большевики пред-

приняли более мирный и более безопасный «штурм» Зимнего дворца — с задних дверей, не охранявшихся или плохо охранявшихся юнкерами. Вот, что рассказывал об этом Дж. Риду матрос, принимавший участие в этом своеобразном штурме: «Около 11 часов вечера мы открыли, что у входов во дворец со стороны Невы не было юнкеров. Тогда мы ворвались в двери и начали по разным лестницам подниматься наверх, поодиночке или небольшими группами. Когда мы поднялись в верхний этаж, то юнкера задержали нас и отобрали у нас оружие. Но наши товарищи все подходили и подходили до тех пор пока мы не оказались в большинстве. Тогда мы обратились против юнкеров и отобрали оружие у них» (Рид, стр. 223). Эта картина мирного заключительного «штурма» с задних дверей, в общем, совпадает с рассказами офицеров, защитников Зимнего дворца. Вот приведенный в сборнике «Октябрьское восстание» рассказ одного офицера: «...ввиду нашей малочисленности и того, что мы, как оказалось, не везде расставили караулы там, где это было необходимо, в Зимний дворец стали проникать небольшие группы красногвардейцев... До той поры, пока группы красногвардейцев были немногочисленны, мы их разоружали, причем разоружение совершалось по-семейному, без всяких столкновений. Однако, красногвардейцев становилось все больше и больше, появились матросы и солдаты Павловского полка. Началось обратное разоружение — юнкеров, причем опять-таки оно совершалось довольно мирным путем. Для переговоров в Зимний дворец прибыл комиссар Военно-революционного комитета Чудновский,... и как раз во время этих самых переговоров в Зимний дворец проникли большие массы красногвардейцев, матросов и павловцев и т. д. Они не желали кровопролития. Нам пришлось сдаться. За всю осаду с нашей стороны были легко ранены три юнкера. Как мне передавали, имеется несколько раненых из женского батальона» («Окт. восст.», стр. 426).

В несколько иных словах, но совершенно то же по существу докладывал 26 окт. (в разговоре по прямому проводу) генералу Барановскому (генерал-квартирмейстеру Северного фронта) поручик Данилевич (исполн. обяз. штаб-офицера для поручений при начальнике кабинета военного министра): после отъезда Керенского из Петрограда 25 окт. около 11 час. утра, «в его отсутствие оставшиеся члены Временного Правительства, как и полагается ему, заседали и разговаривали. Петро-

градский штаб бездействовал. Было решено передать власть над Петроградом Кишкину и Пальчинскому и Рутенбергу, как его помощникам... В течение дня незначительные группы большевиков без всякого сопротивления заняли Мариинский дворец, телеграф и Государственный банк, в семь часов вечера и Петроградский штаб. Захват последнего был произведен группой человек в тридцать... До 11-ти было совершенно спокойно, лишь изредка юнкера, по своей нервности, открывали стрельбу по пустой Дворцовой площади. Примерно в полночь несколько десятков большевиков забрались во дворец через открытые и никем не охранявшиеся входы и пробрались на третий этаж, в люки которого бросили во второй этаж, где находилось Временное Правительство, несколько бомб. Это произвело необычайный эффект на юнкеров, и они рассыпались, как пыль. Когда стихло, они начали подбираться и арестовывать забравшихся. Таких оказалось человек 50, которые сдали свое оружие и бомбы. Наступило успокоение. Примерно через час большинство юнкеров забрало оружие и ушло в школы, и у нас осталась одна прапорщичья инженерная школа.

В два часа утра поступило сведение, что четыреста повстанцев уже находятся в нижнем коридоре и идут наверх. Временное Правительство решило оружие не применять, и повстанцы вошли в числе до двухсот человек, объявили Временное Правительство арестованным и около половины третьего отправили в Петропавловскую крепость. Все это вышло просто до изумительного и может быть объяснено лишь невероятной халатностью и полным отсутствием сопротивления» («Красн. арх.», т. 23 (1927), стр. 158).

Подобную же картину мирного заключительного «штурма» с задних дверей находим в упомянутых выше записках поручика А. Синегуба, адъютанта школы прапорщиков инженерных войск («Архив русской революции», кн. IV (1922), стр. 179-182).

Наконец, следует привести запись П. И. Пальчинского, б. товарища министра торговли и промышленности при Временном Правительстве; 25 октября он был помощником последнего петроградского генерал-губернатора Кишкина. Запись — короткими отрывочными фразами или отдельными словами — была, повидимому, сделана вскоре после ареста министров: «...Нет продовольствия. Нет плана. Отсутствие даже плана дворца. Растерянность и вялость офицеров и отсутствие на-

строения у юнкеров, о которых не было достаточно забот...» «Арест Чудновского (член ВРК, пришедший для переговоров с юнкерами), освобожден по требованию юнкеров. Уход юнкеров...» Оставшиеся (школа инженерных прапорщиков) «не уходят, но волнуются, мнутся и почти ничего не делают.... Прорыв по разным лестницам». «Разоружение прапорщиками группы человек 50, прорвавшихся по Эрмитажному ходу. Сдача без сопротивления. Павловцы внизу. Все двери открыты... Вновь прибывшие теряются и отдают оружие мне одному. Сообщение Ананьева (подполковник Ананьев, начальник обороны) о переговорах. Опять Чудновский... Занятие низа. Защита лестницы и коридора. Достаточно наличного числа для защиты, но при офицерах и организации. Слишком поздно. Нет офицеров, духа и провизии... Делегации из города... Каждые полчаса возвращение и уход. Решимость остаться до конца, не сдаваясь. Отвержение ультиматумов. Антонов и Чудновский. Прорыв наверх. Решение не стрелять. Выход к наступающим. Антонов теперь за руководителя. Арест Антоновым и Чудновским меня... Вывод... Марш. Мост — крепость» («Красн. арх.», т. 56 (1933), стр. 137-8).

Сведения о ничтожности потерь «воюющих сторон» подтверждаются и с другой стороны. В разговоре 26 октября по прямому проводу председателя «Центробалта» Дыбенко с комиссаром «Центробалта» Ховриным (который с балтийскими матросами «штурмовал» Зимний дворец) Дыбенко спрашивает: «Скажи, сколько убитых и раненых у дворца?» Ховрин: «Убито 5 матросов и 1 солдат. Раненых много». Дыбенко: «Сколько с другой стороны?» Ховрин: «Никого» («Окт. восст», стр. 666).

Наконец, сам Ленин на собрании членов полковых комитетов петроградского гарнизона 29 октября заявил: «Мы взяли власть почти без кровопролития. Если были жертвы, то только с нашей стороны». Если без кровопролития, значит, без сопротивления и без сражений, ибо при сражениях, как известно, кровопролитие неизбежно.

А теперь, когда мы выслушали ряд участников и свидетелей «штурма» и обороны Зимнего дворца — и матросов, и комиссаров, и офицеров, и Пальчинского, и Ленина — и установили с несомненностью, что никакого «штурма» не было, послушаем, что рассказывает об этом «штурме» председатель ВРК Подвойский, командовавший большевистскими войсками 25 октября: «Уже утром 25-го, при наступлении к дворцу, всех

красногвардейцев и солдат влек вперед штурм Зимнего дворца и пленение Временного Правительства. Цепи нервничали. Руководителям восстания приходилось десятки раз бывать на позициях и в каждой цепи доказывать, что задержка происходит потому, что в самом наступлении необходимо организовываться, накапливая силы, группируя их и перераспределяя». И так большевистские цепи «нервничали и «перераспределялись» до вечера. Вечером началась «общая усиленная перестрелка...» «В 23 часа перестрелка возобновилась вновь до того времени, пока «Аврора» не послала во дворец шестидюймовый снаряд, разорвавшийся в коридоре дворца и внесший смущение и расстройство в толпу его защитников.[5] Воспользовавшись этим, матросы, красногвардейцы и солдаты ринулись вперед. Это был героический момент революции, ужасный, кровавый, но прекрасный и незабываемый. Во тьме ночной, озаренные бледным затуманенным дымом светом и кровавыми мечущимися молниями выстрелами, со всех прилегающих улиц и из-за ближайших углов, как грозные, зловещие тени, неслись цепи красногвардейцев, матросов, солдат, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, но ни на секунду не прерывая своего стремительного, урагано-подобного потока. Смолкли дикие завывания и грохот трехдюймовок и шестидюймовок с Петропавловской крепости, и в воздухе, заглушая сухую непрерывную дробь пулеметов, винтовок, стоял сплошной победный крик «ура» вперемежку с другими дикими, неподдающимися ни передаче, ни восприятию звуками. Страшный, захватывающий все существо, объединяющий воедино всю разнородную массу, но крайне короткий момент. Мгновенная задержка перед баррикадами и трескотня пулеметов, на мгновение заглушившая крики. Упавшие тени, но уже более не поднимающиеся. Мгновение, когда во тьме и самые баррикады, и их защитники, и на них наступающие слились в одну темную сплошную массу, кипевшую, как вулкан, и в следующее мгновение победный крик уже по ту сторону баррикад, а людской поток заливает уже крыльцо, входы, лестницы дворца, а по сторонам трупы, разваленные баррикады, толпы людей, без шапок, с бледными лицами, трясущимися челюстями, поднятыми ввер , как призыв к пощаде, руками —

[5] Не странно ли, что никто из бывших во дворце не заметил разрыва шестидюймового снаряда, который должен был бы произвести в здании огромны разрушения.

враги... Дворец взят... С этой минуты Петроград — красная первая в мире столица рабоче-крестьянской власти. Эта минута — первая минута, как будто рассекшая мир на две половины: на капиталистов, насильников, угнетателей, в одной части, и ранее загнанных, полузадушенных — в другой, но уже не загнанных в подполье, не бессильных, а могучих, разящих, торжествующих. Однако, не видно еще тех, из-за кого шла пальба, по чьей вине лилась кровь, из-за кого на улицах, на дворе, в роскошных покоях дворца лежали костенеющие трупы». Наконец, эти преступники, министры Временного Правительства («бледные, с трясущимися нижними челюстями») были найдены и арестованы. «Все было кончено. Из победы сверкал новый строй и новая рабочая и крестьянская власть» (Н. Подвойский. Военная организация ЦК РСДРП(б) и Военно-революционный комитет 1917. «Красная летопись», № 8 (1923), стр. 25 и 28-30).

Вот с таких-то батально-лубочных картин, ничуть не похожих на историческую действительность, и срисовывается доныне «история великой октябрьской революции».

Зимний дворец был взят и министры были арестованы в 2 часа 10 мин. ночи на 26 октября, и утром 26-го ВРК выпустил победное сообщение: «Зимний дворец, где засели под охраной юнкеров и женского батальона члены Временного Правительства, был взят штурмом революционных войск. Министры арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Юнкера и женский батальон разоружены. Потери со стороны наступающих исчисляются в шесть человек... В городе царит образцовый порядок» (ВРК, стр. 129).

Это правда — город спокойно спал в ночь на 26 октября (кроме политических деятелей различных партий), но в Зимнем дворце и после сдачи юнкеров и прекращения «военных действий» было весьма неспокойно, ибо толпа «победителей» произвела изрядный разгром и расхищение дворцового имущества, начиная от художественных ценностей и кончая содержанием винных погребов. 28 октября новый комендант Зимнего дворца и «комиссары ВРК по охране музеев и художественных коллекций» обратились «ко всем гражданам» со следующим воззванием: «Товарищи и граждане! В ночь с 25 на 26 октября, во время взятия Зимнего дворца революционными войсками, ворвавшейся с ними толпой дворец был разгромлен. Похище-

ны предметы исключительной художественной и исторической ценности. Мы призываем всех граждан к содействию революционным властям в розыске предметов, составляющих национальную собственность». Далее воззвание угрожает скупщикам и укрывателям похищенных предметов суровыми карами и просит «все отбираемые предметы направлять в комендантство Зимнего дворца» (ВРК стр. 266).

Хотя приведенное воззвание и говорит о какой-то особой «толпе ворвавшейся во дворец с революционными войсками», но тут возникают два недоуменных вопроса: во-первых, как и почему спящий город к двум часам ночи подготовил и послал ко дворцу какую-то особую толпу воров и громил, терпеливо ожидавшую окончания военных действий (кто мог знать, когда они окончатся)?, а во-вторых, почему победившие «революционные войска» не поставили у дверей стражу и не отогнали толпу громил? Не естественнее ли предположить, что дворцовые сокровища разграбили те самые «революционные войска» — красногвардейцы и матросы, которые только что «завоевали» дворец.

Одержав свои бескровные «победы» над «буржуазией», петроградский гарнизон, на радостях (и от нечего делать), предался разгулу и пьянству, разыскивая повсюду и «потребляя» запасы спиртных напитков. К концу ноября пьяная «эпидемия» достигла угрожающих размеров. Смущенный этим пьянством Дж. Рид наивно приписывает его — происками «контрреволюционеров», которые, де, «распространяли по полкам планы, показывающие расположение складов алкогольных напитков» (стр. 364).

Командовавший в то время большевистскими войсками в Петрограде В. Антонов-Овсеенко рисует яркую картину состояния петроградского «революционного» гарнизона в то время: «Гораздо больше хлопот, чем учредиловцы (т.-е. сторонники Учредительного Собрания), мне лично доставил самый гарнизон, начавший совершенно разваливаться. До сих пор толком не выяснено, не было ли тут и хитроумной провокации, но только никогда невиданное бесчинство разлилось в Петрограде. То там, то сям появлялись толпы громил, большей частью солдат, разбивавших винные склады, а иногда громивших и магазины. Караульная служба замучивала немногих сохранявших дисциплину солдат и красную гвардию. Никакие увещания не помогали. Особенно остро встал вопрос с погребами Зимне-

го дворца. К этому времени сохранявший ранее свою дисциплину Преображенский полк, неся караул у этих погребов, спился окончательно. Павловский, — наша революционная опора, — также не устоял. Посылались караулы из смешанных частей перепивались. Ставились «комитетские» караулы — не выдерживали. Посылались броневики разгонять толпу, команда их после некоторого променада также начинала подозрительно шататься. Как только наступал вечер, разливалась бешеная вакханалия. «Допьем романовские остатки!» — этот веселый лозунг владел толпой. Пробовали замуровать входы — толпа проникала сквозь окна, высадив решетки, и грабила запасы. Пробовали заливать погреба водой, — пожарные во время этой работы напивались сами. Только когда за борьбу с пьяницами взялись гельсингфорские моряки, погреба Зимнего были обезврежены» (В. Антонов-Овсеенко. Записки о гражданской войне, т. I, 1924, стр. 19).

Дело дошло до того, что ленинское правительство нашло нужным создать особый «комитет по борьбе с погромами», который 6 декабря объявил Петроград на осадном положении и издал обязательное постановление, в котором угрожал: «Попытки разгромов винных погребов, складов, заводов, лавок, магазинов, частных квартир и проч. будут прекращаемы пулеметным огнем без всякого предупреждения» (текст у Рида, стр. 366 и 392-3).

★

Такова была реальность «великой октябрьской социалистической революции» в Петрограде. Из приведенного выше описания событий (основанного почти исключительно на советских источниках) явствует, что с точки зрения военных действий (включая мифический «штурм» Зимнего дворца) революция эта была только фарсом, или, как выражается Мельгунов, «трагической опереткой», однако, по своим последствиям ленинская революция стала величайшей трагедией международного масштаба, ибо Ленину и ленинцам удалось не только покорить Россию, но и ажечь тот мировой пожар, оторый постепенно охватил, в большей или еньшей степени, четыре континента и ныне, как 50 лет тому назад, стои угрозой всему вободному миру.

С. Пушкарев

К 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ

О русской революции и Советском Союзе написаны горы книг и статей. Тем не менее, трудно вспомнить хоть одну из них, о которой можно было бы сказать, что автор ее предвидел то, что в действительности случилось. Разумеется, кое-кто верно улавливал те или другие черты, тенденции или общее развитие, присущее революции и режиму. Однако, «черты» или «общее развитие», которые каждый волен толковать по-своему и «диалектически», это одно, а конкретная действительность — это другое.

В настоящей статье я хочу изложить некоторые интерпретации и прогнозы, которые, как мне кажется, оказали значительное влияние и на ход событий в самом Советском Союзе и за его пределами. Судьба этих прогнозов, я думаю, может послужить примером и напоминанием для тех, кто и сейчас пытается объяснить и происходящее в Советском Союзе и предвидеть его будущее своими кажущимися, на первый взгляд, логичными и убедительными, но на самом деле весьма упрощенными интерпретациями и теориями.

Начнем с общеизвестного факта: никто, включая самих большевистских вождей, не верил в возможность длительного удержания власти большевиками, если революция, долженствовавшая по замыслу быть мировой или, по крайней мере, европейской, локализуется в одной России. Известно, что это всеобщее убеждение в неспособности большевиков удержать власть, имело роковые последствия, ибо оно чрезвычайно облегчило Ленину и Троцкому захват власти.

Нужно отметить, что, раз установившись, коммунистический режим был отмечен какой-то «счастливой звездой» или, если угодно, особой способностью выходить живым из самых опасных положений. Его стабилизации способствовала, с одной стороны, неспособность антибольшевистских сил в стране (которые, как показали выборы в Учредительное Собрание,

были численно преобладающи) к объединению и непонимание сущности большевизма за пределами России, с другой стороны. Достаточно прочитать воспоминания лиц, имевших отношение в первые годы советской власти к так называемой капиталистической «интервенции». Такие, во всех других отношениях, умные и талантливые люди, как Ллойд Джордж, Клемансо, президент Вильсон очень плохо разбирались в целях большевизма и особенно в употребляемых им средствах в России. Для них большевизм был только одной из разновидностей радикализма и социализма, неизбежной во всех революциях. По мере стабилизации нового режима, эти эксцессы революции, предположительно, должны были исчезнуть. Даже западные социалисты, бывшие в тесной связи с российскими социалистами-антибольшевиками, плохо понимали разницу между Советами февральского периода и Советами послеоктябрьского типа. По аналогии с французской революцией, они многих эмигрантов-демократов рассматривали как реставраторов и реакционеров.

Через несколько лет, когда большевистская ставка на европейскую революцию оказалась миражем и, когда большевики соответственно изменили тактику, непонимание большевизма, его сущности и потенций, стало почти всеобщим. Из этого непонимания родились и в эмиграции и на Западе те памятные теории и прогнозы, которые очень скоро доказали всю свою несостоятельность. НЭП был воспринят в очень широких кругах Запада и эмиграции как окончательный отказ от активного построения социализма в России.

Характерна в этом отношении была позиция видного лидера демократического сектора эмиграции П. Н. Милюкова. В своей книге «Россия на переломе», которую он написал и опубликовал именно в те годы, Милюков настойчиво проводил мысль, что, независимо от стремлений, воли и попыток большевистской власти, Россия находится в состоянии перехода от фазы разрушения к фазе созидания. Автор был уверен, что, в борьбе между разрушительными и созидательными началами, перевес будет на стороне последних и что в результате их победы, Россия превратится в демократическую страну. «Мы присутствуем при рождении русской демократии», утверждал Милюков без тени сомнения. С помощью своей исключительной эрудиции, приводя обширную документацию, автор доказывал, что большевики остались у власти или выхлопотали

себе «отсрочку у истории» только потому, что «изменили всем своим принципам».

В этом смысле показательно, что антимарксист, но знаток марксизма (на Западе его бы теперь звали «марксологом») Милюков пользовался для уточнения своей главной мысли известной фразой Энгельса о доктринерах, которых «история принуждает делать противоположное тому, что предписывала им доктрина». Доктринеры Ленин и Троцкий, доказывал Милюков, взяв власть, хотели перестроить Россию на социалистических началах. Действительность заставила их отказаться от утопических планов и прибегнуть к НЭП'у — к сохранению и возрождению капитализма, т.-е. к тому, что они хотели уничтожить. Аналогичное — по Милюкову — происходило и в сфере международных отношений. Действительность заставила большевиков отказаться от попыток большевизации Запада и Востока; наоборот, им пришлось добиваться признания и кредитов у капиталистов и даже давать последним концессии. Вывод, прогноз Милюкова относительно будущего? Большевистская революция, поставившая себе невыполнимые задачи, вынуждена ограничиться малым: аграрной реформой, уничтожением крупного капитала, мирным развитием и строительством. Первая страна коммунизма, так громогласно угрожавшая Западу на словах и в резолюциях Коминтерна, по существу, большой опасности не представляет. И это был отнюдь не вывод одного Милюкова. Нет, с бóльшими или меньшими поправками, такой взгляд на развитие событий в России разделяли и государственные деятели на Западе и тогда еще сравнительно немногочисленные «специалисты по советским делам».

Через несколько лет, вопреки оптимистическим предвидениям специалистов — отечественных и западных — началась **вторая** революция, с сопутствовавшей ей коллективизацией, индустриализацией и небывалым террором. Ни «крестьянская» по своему составу Красная армия, ни «корпоративный дух» ее офицеров, лойяльность которых к большевистской власти Милюков ставил под большое сомнение, ни «разлагающаяся изнутри партия», которая, «растворяясь в окружающей массе... и сливаясь с окружающими ее элементами — специалистами, чиновниками и т. д....», ни «новое поколение, чуждое старой традиции» не могли предотвратить уничтожения миллионов крестьян, интеллигентов и рабочих, беспартийных и партийных.

Прогноз, таким образом, оказался неверен. Большевистская система оказалась гораздо более жизнеспособной. Террор, обрушившийся на все слои населения, в том числе и на партийные кадры, не пошатнул ее основ. Не только восстания, но даже попытки восстания, ни в армии, ни в партии не произошло. Что же касается «капиталистического окружения», то оно восприняло происходящее в России, как «внутреннее дело» страны, которая к тому времени уже вступала в Лигу Наций и заключала разные союзы с наиболее влиятельными членами этого «окружения». Кроме того, как я уже упомянул выше, эта власть родилась под «счастливой звездой». В тридцатых годах, когда она переживала опаснейший внутренний кризис, она перестает быть врагом номер первый для капиталистического Запада. В центре Европы к власти приходит гитлеризм. Из сущего и потенциального врага, большевистская Россия превращается в потенциального, а потом и в действительного союзника. Власть получает новую, пользуясь терминологией Милюкова, «отсрочку у истории». История, идущая извилистыми путями, повторяется через четверть века. Роль, которую выполняла нацистская Германия в тридцатых годах, в шестидесятых, в большой степени выполняет коммунистический Китай. Остепенившаяся коммунистическая Россия опять начинает играть роль заслона и потенциального, а в будущем, возможно, и действительного союзника капиталистического Запада.

★

Еще более разительным примером непонимания того, что действительно происходило в Советском Союзе — и в двадцатых и в тридцатых годах — являются оценки и прогнозы Троцкого, человека, который, в виду его прошлого и сохраненных им в России связей, должен бы, казалось, проявить бóльшую осведомленность и проницательность. В 1927 году, т.-е. в период, когда Сталин уже расправлялся с оппозицией и укреплял свою собственную диктатуру, Троцкий продолжал считать, что главная опасность исходит не от аппаратчиков (Сталин, Молотов, Киров, Каганович), а от правых и военных, опиравшихся якобы на крестьянско-кулацкую стихию. В поползновениях к бонапартизму, термидорианству и другим грехам, он обвинял таких перепуганных людей как Рыков или таких политических и умственных простачков как Калинин, Ворошилов и Буденный. Применяя всюду «марксистский» кри-

терий классовой борьбы и не видя в этой борьбе ничего другого как давление уже несуществовавшей «буржуазии» и уж давно обессиленного «пролетариата», он сравнивал Сталина с... Керенским (наизнанку), определяя сталинизм как «переходную форму» или «как спалзывание власти пролетариата к буржуазии», так же как Керенский, якобы, олицетворял собой «переходную форму власти буржуазии к пролетариату». Когда Сталин приступил к коллективизации и индустриализации, Троцкий даже считал, что в главном для него вопросе — сохранении промышленности, орудий и средств производства в руках «пролетариата» — Сталин оставался верен революции. Наоборот, крестьянству и армии Троцкий до конца не доверял. Даже в насильственно-созданных колхозах, крестьянство могло, по мнению Троцкого, оказывать «классовое» сопротивление советскому социалистическому государству.

Этим ослеплением, кажущимся теперь невероятным, объясняется сравнительно умеренная тактика Троцкого и троцкистов в их борьбе со сталинским аппаратом. Сталинская бюрократия — как бы плоха она ни была — в их глазах все же и защищала «завоевания пролетариата» и оберегала революцию от опасности реставрации справа и проводила (пусть в утрированном виде) такие «прогрессивные» меры, как коллективизация и индустриализация. С тех же позиций «классовой борьбы», Троцкий предвидел, что бюрократия (эта извращенная прослойка, действующая все же именем и в интересах пролетариата), должна будет уступить или передать власть настоящей советской демократии, как только страна достигнет более высокой степени экономического и культурного развития.

Ход мыслей и выводов Троцкого заслуживает особого внимания, ибо, при всей его кажущейся нам сегодня несуразности, он породил целый ряд теорий и прогнозов, которые упрочились в западной литературе после войны и особенно после смерти Сталина. Многие «неомарксисты» и даже антимарксисты (назовем, хотя бы недавно скончавшегося И. Дейчера и американского социолога Джеймса Бернхама, автора «Революции менеджеров») вышли из рядов троцкизма и были отмечены его детерминистским и механическим подходом. Совершенно естественно, что вопрос о Советском Союзе, его прошлом, настоящем и будущем в послевоенные годы стал кардинальным вопросом. Советский Союз после войны, победы, расширения

своих границ, стал мировым фактором, судьба которого все теснее сплетается с судьбой Запада. Железный занавес, герметически закрывавший Россию в годы Сталина, начал, после его смерти, немного приоткрываться. В самой России начали не только призадумываться и раздумывать, но иногда, правда, весьма робко, и высказываться. Западные ученые, студенты, туристы получили бóльший доступ и бóльшую возможность наблюдать и изучать советскую действительность; с другой стороны, тысячи советских людей, перед которыми приоткрылись границы Запада, оказались в состоянии сравнивать Запад и Сов. Союз и делать заключения.

Изучение Советского Союза, предположения и теории относительно его будущего, теперь основываются, разумеется, на создавшейся **новой** и усложненной советской действительности. В Советском Союзе выросли новые и мощные социальные слои, новые поколения, огромные аппараты, миллионные кадры — технологические, государственно-бюрократические, партийно-политические, сельско-хозяйственные, военные, академические. Борьба между этими слоями, кадрами и аппаратами (в более или менее скрытой форме) казалась неизбежной. В официальной печати начали появляться отголоски этой борьбы. В аппараты и кадры начали все больше вливаться молодые элементы, знавшие революцию только по литературе и по интерпретациям, дававшимися сверху. Отрыв детей от отцов или конфликт между поколениями казался не менее неизбежным, чем антагонизм между разными «кратиями» и аппаратами. В их стремлениях понять и раскрыть новую советскую стать, западные советоведы, которые, по понятным причинам, все больше оттесняют эмигрантов, пользуются новыми методами, почерпнутыми из современной социологии, психологии и других наук. Советскую действительность изучают уже не только со старых упрощенных марксистских, неомарксистских и позитивистских позиций. Новый тип исследователя, более «научен», осторожен в своих выводах и менее эмоционален. В отличие от марксиста-меньшевика Б. И. Николаевского, позитивиста-либерала Милюкова или многочисленных разочаровавшихся бывших коммунистов, исходящих в своих оценках из ассимилированных ими идеалов и ценностей, и пытающихся поэтому не только изучать, но и убеждать, новый тип советоведа рассматривает большевизм как обычное социально-исто-

рическое и политическое явление, которое он хочет изучить и познать независимо от его моральной сущности.

★

К чему сводилась суть этих послевоенных и послесталинских интерпретаций и прогнозов? В журнальной статье приходится ограничиться только кратким изложением тех интерпретаций, которые, как мне кажется, оказали наиболее сильное и длительное влияние на политические и академические круги Запада.

Как я говорил, некоторые наиболее влиятельные интерпретаторы вышли из рядов бывших коммунистов и, преимущественно, троцкистов, которые естественно унаследовали и ход мыслей и предрассудки своих учителей. Жемчужное зерно (мысль о том, что в Советском Союзе наступит демократия, как только страна достигнет высокой степени экономического и культурного развития) было брошено Троцким. После, и даже уже во время войны, эту мысль начинает усиленно культивировать один из его последователей, бывший польский коммунист и троцкист Исаак Дейчер, занявший, в виду его неоспоримой эрудиции, влиятельное положение в наиболее авторитетной английской печати. Согласно Дейчеру, мнение которого, с известными поправками разделяли и английский историк русской революции Карр и известный меньшевик Ф. И. Дан, сталинская диктатура была исторически «неизбежным» этапом русской революции. 1920-ый год был переломным годом революции. Усталость, деморализация рабочего класса и советского населения вообще достигли высшей точки. Если бы в России были тогда произведены свободные выборы, то большевики должны бы были несомненно сдать власть. Только железная воля большевистских вождей спасла революцию. Однако, это «спасение» оказалось возможным только... при уничтожении в партии демократии (запрещение фракций, борьба против оппозиций и т. д.). В результате, согласно этим интерпретаторам, создалось довольно парадоксальное положение. «Пролетарская» и «социалистическая» революция была спасена без участия пролетариата. Однако, в виду того, что социализм является, согласно Дейчеру, более высокой ступенью развития общества, его надо было строить даже без рабочих или вопреки их желанию...

Бывшая необходимой до создания советской промышлен-

ности, сталинская диктатура становится, однако, в схеме Дейчера, ненужной помехой после смерти ее создателя, когда поставленная цель достигнута. Послесталинские реформы для Дейчера являются доказательством неизбежности демократизации Советского Союза. Всеобщее образование, миллионы технократов, ученых создают новый мощный «средний класс», который должен стать опорой рационализации и либерализации советской жизни. Более того, в результате этих перемен, само партийное руководство должно неизбежно подвергаться изменениям, ибо оно не сможет, при таких благоприятных для демократии условиях, не удовлетворять потребностей и интересов этого просвещенного и демократически-настроенного среднего класса. Неотвратимые перемены являются, таким образом, гарантией постепенной демократизации советской системы. В своих книгах и статьях, Дейчер доказывает, что эра Хрущева является переходной между сталинизмом и настоящей «демократией и социализмом». С невозмутимой уверенностью он предсказывает, что долгожданные и далеко идущие реформы являются делом ближайшего будущего... Кстати, и Запад, по концепции Дейчера, может облегчить и ускорить этот процесс. Нужно не «заставлять» Москву вооружаться, а, наоборот, способствовать созданию такой «синтетической» мировой системы, в которой будут гармонически слиты положительные стороны и капитализма и социализма.

★

Я так подробно изложил «систему Дейчера» не потому, что она так замечательна и оригинальна; даже не потому, что она оказывала значительное влияние на известные круги Англии, Франции и даже Соединенных Штатов. Нет, теория отмирания диктатуры в Советском Союзе вовсе не нова, а, наоборот, даже очень стара и дискредитирована. Тем не менее, она беспрестанно появляется в новом обличьи; у Дейчера же она, разумеется, получила свой наиболее законченный и убеждающий вид. Успех ее, притом часто у людей вовсе не сочувствующих коммунизму, объясняется тем, что она дает объяснение, перспективу, т.-е. что-то такое в чем люди в наше время особенно нуждаются. При этом Дейчеру не помешали ни его немного старомодный «марксистский» язык, ни его неуместная для историка эмоциональность.

Перспектива Дейчера и прочих оптимистов привлекает,

таким образом, своей логикой и стройностью. Действительно, когда «советскую проблему» нельзя решить ни войной, ни внутренними потрясениями, единственным логичным выходом становится эволюция или «эрозия» коммунизма, притом, разумеется, эволюция не к худшему (режим уж и так плох), а к лучшему. В нормальной стране с нормальным режимом так бы, вероятно, и произошло. Новая молодежь, миллионы инженеров, ученых, интеллигентов, которым опостылела диктатура, ухватились бы за демократию. Почему же не в Советском Союзе?

В СССР, однако, все произошло не по предвидениям и не по логике, во всяком случае, не по логике провидцев типа Дейчера. Теория об отмирании диктатуры оказалась только теорией. На основании пятидесятилетнего советского опыта, приходится признать, что диктатура совместима и с всеобщим образованием и с наличием многочисленных кадров ученых, инженеров, писателей и актеров. Больше того, технология в Советском Союзе даже способствовала укреплению деспотии и тоталитаризма. Кто может отрицать, что в России было гораздо больше свободы и демократии при НЭП'е, когда страна технологически и экономически была отсталой, нежели теперь, когда она стала второй промышленной страной в мире. В этом смысле, предвидение Герцена о приходе «Чингисхана с телеграфом» оказалось действительно пророческим. Кстати, Леон Блюм (который Герцена вряд ли читал) предостерегал от появления «моторизованного Атиллы».

★

Для понимания сути диктатуры и ее возможных путей развития, необходимо, повидимому, применять другой логический подход, ибо, по всем признакам, тоталитарная диктатура повинуется каким-то другим «законам» и также (что не менее важно) тем «случайностям», которых никто, конечно, предвидеть не может. Мне кажется, что главным и всеобъемлющим фактором или стимулом, который определял политику диктатуры в прошлом, определяет ее в настоящем и, вероятно, будет определять ее в будущем является забота о **сохранении режима в более или менее политически-неизмененном виде.** Советские руководители не могут руководиться другим определяющим фактором, ибо именно этот (а не какой-либо другой) фактор определяет и их бытие, и их сознание, и их кровные интересы и многое другое. Пора, наконец понять и усвоить простую

мысль: политика диктатуры определяется не пожеланиями и схемами западных публицистов, а реальными интересами советского руководства.

Сказанное отнюдь не относится к советским руководителям «на самом высшем уровне», т.-е. к членам и кандидатам Политбюро, но также, а может быть, еще и в бóльшей степени, к членам и кандидатам и Центрального Комитета КПСС и республиканских ЦК, которые, преимущественно, рекрутируются из секретарей республик, обкомов и горкомов, т.-е. людей, прекрасно осведомленных о действительных настроениях, вожделениях и склонностях подвластных им «народных масс». Именно они, чувствующие пульс страны и ответственные и за общественный порядок и за выполнение всяких хозяйственных и прочих планов и обязательств, являются, надо думать, главным оплотом того, что сейчас называют консерватизмом, догматизмом и неосталинизмом.

Те глубокие социальные сдвиги, которые уже много лет происходят в России (значение которых автор настоящей статьи отнюдь не склонен недооценивать), могут по логике диктатуры и ее носителей, наоборот, заставить советских вождей взять курс более жесткий и менее либеральный. Именно такой, а не идиллически-дейчеровской была и остается логика крупных диктаторских и автократических режимов и в прошлом и в настоящем. Едва ли следует полагать, что коммунистический режим в России, являясь прототипом тоталитарной диктатуры, может в этом смысле явиться исключением. Именно этой «логикой» объясняются весьма неотрадные наблюдения, сделанные таким осведомленным и отнюдь не «антисоветским» человеком как Джордж Кеннан, который в «юбилейной» статье должен был констатировать, что дело свободы и демократизации в Советском Союзе не только не подвинулось вперед со времени устранения Хрущева, а, наоборот, даже пошло на убыль. (Форейн Афферс, октябрь, 1967).

Не все диктатуры, разумеется, рождаются, развиваются и умирают одинаково. «Логика», свойственная диктатуре в СССР, может быть чужда или только частично свойственна Югославии или Польше, странам, лишенным таких громадных социальных, национальных и других взрывчатых и центробежных сил, как Россия. Советские властители не могут не опасаться, что «либеральные искры», даже разгораясь постепенно и «эволюционно», могут зажечь катастрофический всероссий-

ский пожар. Кстати, по сведениям оттуда, этого пожара боятся даже люди, к режиму оппозиционно-настроенные. Вопреки тому, что утверждает официальная пропаганда, меньше всего к такому пожару хотели бы приложить руку западные страны, включая США, видящие в сильной, а не обессиленной и расчлененной России потенциальный очаг сопротивления паназиатским и мировым планам Китая.

Едва ли также оправданы надежды тех, которые полагают, что либерализация и демократизация режима неминуемо придут в случае военно-политического и дипломатического сближения Советского Союза с Западом или в случае прихода к власти в СССР людей более молодых. Вспомним, что страшнейший в истории Советского Союза террор — ежовщина — проводился в годы, когда Советы сближались и заключали союзы с Западом и когда западные коммунистические партии заключали единые и народные фронты с социалистическими и демократическими партиями. К тому же, отбор руководителей высшей советской иерархии идет, повидимому, по другим «законам», нежели это кажется оптимистам и упростителям. Нужно с горечью признать, что «молодняк» среди советских лидеров — все эти Шелепины, Семичастные, Павловы и другие — по части свободы, демократии и либерализма внушают очень мало доверия...

★

Спор о средствах и путях, ведущих к отмиранию диктатуры отнюдь не является академическим, хотя ведется он, преимущественно, между историками и публицистами академического типа. Спор этот сугубо политический и сугубо актуальный. Без преувеличения можно сказать, что вопрос об отмирании диктатуры и о демократизации Советского Союза является вопросом всех вопросов, ибо он обуславливает почти все другие вопросы политического бытия нашего времени. Поэтому трудно не согласиться с Бертрамом Д. Вульфом, одним из вдумчивых комментаторов происходящего в Советском Союзе, когда он напоминает, что «если бы мы (т.-е. Запад) не питали себя иллюзиями относительно «конца» или «смерти» идеологии Ленина и Сталина и, если бы мы иначе действовали в конце второй мировой войны, Восточная Европа не находилась бы теперь под советской зависимостью... Эрозия комму-

низма продолжается почти уже полвека (вспомним Милюкова, Д. А.), но тоталитаризм продолжает существовать».

Только существовать? Нет, так же как и Кеннан, автор приходит к заключению, что гайки тоталитаризма в России сейчас завинчены сильнее, чем десять лет тому назад. Вспоминая судьбу Синявского, Даниеля, Бродского и других, не без некоторого зловещего юмора, Бертрам Д. Вульф говорит: «Тяжелая промышленность может вполне обойтись без свободы и без поэтов. Наоборот, поэты приносят бóльшую пользу промышленности, когда они трудятся киркой и лопатой в исправительном лагере». Нет, в свете советского опыта, нужно признать, что «марксистская» мысль о том, что экономическая «база» предопределяет «надстройку», т.-е. политику и свободу, оказалась чудовищным упрощением.

★

Из всего вышесказанного, вовсе не следует, что автор настоящей статьи является принципиальным противником прогнозов, спекулятивных теорий и интерпретаций. Наоборот, отказ от интерпретаций и прогнозов был бы равносилен отказу от понимания того, что в стране происходит. Необходимо только относиться к наблюдаемому с большóй сдержанностью и скептицизмом, ибо никакая теория или схема не может объяснить тот сложный противоречивый процесс, который в прошлом и сейчас переживал и переживает коммунизм вообще, и Советский Союз, в частности. Скептицизм особенно необходим там, где теории и прогнозы перестают быть только умственным упражнением, а становятся частью политических калькуляций и действий.

С другой стороны, с интерпретациями и прогнозами о будущем и Советского Союза и других стран следует, как мне кажется, усиленно и систематически знакомить советских людей. В своем стремлении создать нового человека, коммунизм фактически пытается (и не всегда безуспешно) создать аполитичного автомата, говорящего одним голосом и повторяющего одну привитую ему мысль. Знакомя советских людей с интерпретациями и прогнозами (даже, если они сомнительной ценности), Запад может, при помощи радио (вот, где технология действительно полезна), показать всю многогранность, противоречивость и сложность явлений советской жизни и... тщетность и иллюзорность их официальных истин, теорий и

рассчетов. Ведь вожди Октября обещали землю крестьянам и свободу народу; настоящую советскую власть и Учредительное Собрание. Разумеется, жизнь часто идет не по обещаниям. Тем не менее, факт, что через пятьдесят лет после революции, режим, из нее вышедший, не может поставить себя на суд своего народа, на его свободное волеизъявление, является столь красноречивым, что заслоняет все другое.

Д. Анин

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

РЕЗУЛЬТАТЫ К 50-ЛЕТИЮ

В советской печати много пишут о проводимой в ком. странах экономической реформе. Пишут о ней и заграницей. Но причины, вызвавшие ее проведение, не всем ясны. Они скрываются в ком. странах и не расшифровываются на Западе. Здесь удовлетворяются тем, что эта экономическая реформа очень похожа на поворот к использованию капиталистических экономических понятий и стимулов: прибыль, процент на капитал, рента и пр. Там — пытаются доказать, что все эти понятия вовсе не чужды ком. экономике, если остается главное: — производство в руках государства, которое и дальше управляет планированной экономикой. Доказывают, что де реформа проводится с целью повысить эфективность производства, использовав "преимущества социализма". Устраняются де замеченные ошибки и используются экономические методы, ранее "ошибочно признававшиеся" капиталистическими. И отрицают, конечно, главное, что ком. экономическая теория оказалась ложной, а практика не только неэфективной, но просто *убыточной*.

Конечно, коммунисты не могут осудить свое ложное и вредное прошлое. Не могут признать, что они и сами "все в прошлом". Чтобы удержаться в настоящем, им и нужно оправдывать это страшное прошлое и для этого сейчас используется 50-летие ком. власти в СССР. Оправдывается все. Оправдывается первый этап ком. эксперимента: национализация промышленности, транспорта, земли, недр и крупного сельского хозяйства. Оправдывается и второй этап: ликвидация частного землепользования (коллективизация сельского хозяйства), мелкой промышленности и кустарно-ремесленного производства. И хоть о последнем и пишут, что с ликвидацией его "поспешили", но восстанавливать его не собираются. Официально считается, что после завершения второго этапа, в СССР построен полный социализм и настало время перехода к строительству коммунизма. Попутно сдержанно осуждаются жестокие методы строительства социализма в одной

стране под руководством Сталина во времена "культа личности", но само это строительство признается социалистическим достижением и верным путем к коммунизму.

Строительство "коммунизма" при Н. Хрущеве проводилось, с одной стороны, в форме ликвидации еще оставшейся у граждан частной собственности в виде домов, усадеб, скота, автомобилей и пр., а с другой — только обещаниями постепенной ликвидации оплаты за пользование транспортом, квартирой, водой, электрической энергией, а потом и бесплатной выдачи хлеба, соли и др. продуктов. Постепенно — т.-е. пока полностью не исчезнут товарно-денежные отношения и не заменятся прямым продуктообменом. На далеком горизонте уже мерещился коммунизм, с исполнением, наконец, всех ком. обещаний будущего блаженства, отодвинутых в СССР на вторую фазу социализма. Эта идиллическая картина жизни СССР дорисовывалась полной победой коммунизма над капитализмом путем использования в экономике "преимуществ социализма", что оказывалось неизбежным: на основании текстов из марксизма-ленинизма, на основании, открытых Марксом, законов исторического развития.

Известно, что эти пресловутые "преимущества социализма" заключаются в следующем:

1. Капитализм производит товары с исключительной целью получения *прибыли,* а социалистическое общество — для удовлетворения растущих потребностей своих граждан. 2. Капитализм — производство стихийное, регулируемое спросом и предложением. Его развитие неэкономно, подвержено стихийным кризисам перепроизводства и пр. А социалистическое производство *плановое,* научно-обоснованное и потому более экономно и не подвержено никаким кризисам и перепроизводству. 3. В социалистических странах рабочие работают "сами на себя", а не на капиталиста и потому работают более производительно.

Вот на этих трех главных преимуществах и строились всегда предположения о "неизбежной" победе коммунизма над капитализмом. А так как целью ком. производства является удовлетворение потребностей населения (каждому по потребностям), то вся суть соревнования с капитализмом и должна была состоять в том, чтобы перегнать капиталистическое производство в расчете на душу населения. Как только на советскую душу будет выработано чугуна, угля, стали, хлеба, молока, масла, тканей и пр. *больше,* чем в самой передовой капиталистической стране (США), так сразу и будет достигнута окончательная победа

коммунизма на капитализмом в экономическом соревновании. Тог а этот вопрос: кто-кого? — по советской официальной концепции и будет решен раз навс гда. та 'главная экономическая задача" была поставлена в СССР еще в 1936 году и к ее решению были направлены все усилия. Такая 'победа" уже назначалась то на 1965, то на 1970 год и считалась уже совсем близкой и достижимой, как вдруг в 1964 году Н. Хрущева убрали со всех постов, объявив (хоть и не называя имени) невеждой, субъективистом, волюнтаристом, ничего не смыслящим в экономике.

То, что в теории выходило правильно и казалось легко-реализуемо, на практике привело к абсурду. "Научное планирование" народного хозяйства огромной страны было непосильным заданием. Желание верхов получать не истинную, а нужную для пропаганды, оптимистическую статистику заставляло низы приспосабливаться к этому требованию. Как пример, можно привести хотя бы Рязанскую область. По отчетам, в 1961 году она выполнила три раза план по поставкам мяса, в действительности же выполнила только половину плана. На несуществующих лугах паслись несуществующие стада скота, который сдавался в мясопоставки и мясо продавалось населению. С новыми фиктивными стадами поступалось так же. Сданный колхозом в поставку центнер масла продавался другому колхозу, тот, не трогая масла с места, сдавал его в поставку и его снова продавали третьему, четвертому и т. д., пока из одного центнера не получалось несколько тонн. На заводах незаконченную продукцию засчитывали в план, а потом ее заканчивали и снова записывали уже во второй план и т. д. и т. п. Так, планирование народного хозяйства в СССР превратилось в бич экономики. То же происходило и с составленными без достаточных оснований проектами капитального строительства, которые утверждались ничего в этом не смыслящими руководителями КПСС. Все это превращало планирование в свою противоположность. И, конечно, такое планирование экономики не только не могло дать никаких *"преимуществ"* ком. способу производства, но убивало в людях всякую инициативу и заинтересованность, направляя всю энергию только на выполнение и перевыполнение спущенных сверху планов.

В течение всех 50 лет, вопреки утверждениям о гегемоне революции — пролетариате — положение рабочих в СССР было намного хуже положения их до революции и положения их в свободном мире. Это подверждает сравнение оплаты рабочих в СССР

с оплатой их в России до революции. В 1936 году машинист железной дороги получал 2.000 советских рублей в месяц, а до революции он получил 120 рублей золотом. В 1936 году золотой рубль в "Торгсине" стоил 50 сов. рублей. Выходит, что 120 руб. золотом, это 6.000 сов. рублей. Таким образом, зар. плата машиниста *уменьшилась* в три раза. После множества денежных реформ и сейчас зар. плата рабочих в СССР в несколько раз ниже зар. платы до революции. Это пробуют камуфлировать инфляционными деньгами, так называемыми, "общественными фондами", зачисляя в эти фонды: пособия по болезни, пенсии, выплаты инвалидам, бесплатное обучение и лечение и пр., что есть сейчас у всех рабочих развитых стран, при чем все это на Западе гораздо лучше организовано.

Не лучше и сравнение зар. платы советских рабочих с зар. платой рабочих в свободном мире. Официальный курс рубля сильно завышен и потому лучше сравнивать с тем, что можно приобрести на зар. плату. Так, советский рабочий за костюм среднего качества должен работать 180 часов, а американский — 24 часа. За пару ботинок советский рабочий должен трудиться в 6 раз дольше, чем американский и т. д. и т. п. А чем меньше реальная зар. плата тем больше и эксплуатация. Поэтому понятно, почему рабочие ком. стран — этот гегемон-пролетариат — большей производительности труда *не показывает*.

Но что оказалось самым разительным для ком. системы, это игнорирование ею *прибыли*. Это привело к расстройству все производство и к необходимости "реформы". Советская реформа порывает теперь с оценкой предприятия по показателям выполнения плана, считая главной оценкой тоже получение *прибыли*. При чем советские экономисты всячески пытаются теперь доказать, что само понятие "прибыли" в ком. странах отлично от такового в странах капиталистических. В действительности же понятие прибыльности предприятия просто *более высокий* показатель, чем выполнение плана. Чтобы получить прибыль нужно еще реализовать выданную по плану продукцию. А реализовать ее в нормальных условиях рынка можно тогда, когда она хороша по качеству, дешевая по цене и пользуется спросом. Прибыль предприятия и есть количественный и качественный показатель. И такой высший показатель всегда являлся характеристикой производства в нормальной экономике. Показатель же выполнения плана привел в 1966 году к тому, что в СССР в торговой сети на 2.2 миллиарда рублей лежит ненужных населению товаров,

при их хроническом недостатке. То-есть производство этих товаров ни прибыли не принесло, ни потребностей граждан не удовлетворило. Но в СССР сейчас есть и другая причина стремления к прибыли. Главный бич ком. производства, это его постоянная *убыточность,* дошедшая теперь до границ терпимого. Построив "полный социализм", то-есть национализировав все крупное и мелкое производство страны, включая парикмахерские и ремонт обуви, ком. государство овладело колоссальным производственным аппаратом. Но разумно использовать его не в состоянии. Вместо прибыли в ком. странах получаются только *убытки.* И это яснее всего говорит о провале и отсталости всей хозяйственной ком. системы. Всякому ясно, что эта антиэкономическая система держится только на искусственной изоляции ком. государств и их граждан от свободного мира, да еще благодаря внутренней и внешней монополии.

Можно привести множество примеров, говорящих об убыточности ком. хозяйства, взятых из советской же печати. Вот хотя бы некоторые: "Каждая тонна угля, добытого на территории СССР, приносит полтора рубля убытка" ("Литературная Газета", № 3, 1967). "Ненужных населению сверхплановых товаров в 1965 г. накопилось на сумму 2.2 миллиарда рубл." (С. Гришберг, "Литер. Газета", 13 окт. 1966). "Производство масла убыточно для государства". ("Известия", 7 марта 1967). "Молоко в целом по совхозам Российской Федерации остается попрежнему убыточным... увеличение же закупочных цен позволило только уменьшить убытки и фактически не повлияло на себестоимость". ("Известия", 14 марта 1967). Директор завода попросил разрешения передать заводский дом отдыха профсоюзу, ввиду больших убытков от хозяйства: "— Откуда же у вас убытки? Ведь это бывшее имение графини Уваровой. Она здесь, в этих местах, жила и капиталы множила. Ей никто дотаций не давал. Почему же вам дотация нужна? Ведь в вашем хозяйстве есть и коровы, и свиньи, и птица. Куда же все это добро девается — молоко, мясо, яйца?" (Из статьи В. Емельянова "О времени, о товарищах, о себе". "Нов. Мир", № 2, 1967, стр. 78). И т. д. и т. п.

Только в полностью изолированных от конкуренции условиях ком. производственная система и способна существовать. Идет строительство новых предприятий, реорганизуются старые, расширяется энергетика. С грехом пополам даже выполняются планы пяти и семилеток. Туристам и гостям покажут

новые грандиозные строительства, вроде Братской электростанции или металлургических предприятий Урала, Кузбасса и пр. Все это действительно существует. Так, прогоревший делец покажет вам богатые аппартаменты, дорого стоющую обстановку, устроит роскошный прием, только умолчит об одном, что все это приобретено в кредит, что долгов у него много больше, чем имущества. Такое положение в СССР продолжается уже 50 лет. Но его кредиторы, это — подневольный народ. Это он оплачивает все убытки власти своим имуществом, своим неоплачиваемым тяжелым трудом, своим невыносимым бытом и даже своей массовой гибелью. Будто бы в насмешку над народом это сформулировано самой КПСС в такой пропагандной фразе: "Советские люди не жалели ни сил, ни средств, сознательно шли на лишения, упорно трудились, показывая образцы мужества во имя преодоления отсталости страны и превращения ее в могучую социалистическую державу". (Из постановления ЦК КПСС от 4 января 1967 года).

В разных странах бывали всякие бедствия, гибли люди от голода, от невыносимых условий существования, но мир впервые в истории услышал о том, что десятки миллионов людей в СССР погибли, а еще большее число их промучилось и пострадало всю свою жизнь во имя "преодоления отсталости страны".

Индустриализация СССР, которая теперь выдается за достижение ком. власти, была построена на ограблении своего народа. "Народ беднел — государство богатело". Десятки миллионов рабов-зека строили ее бесплатно во всех возможных гиблых местах страны. Построили каналы, дороги, промышленность, города: Магадан, Свободный, Воркуту, Игарку, Дудинку, Тотьму и пр. и пр. Крестьяне десятилетиями работали, отбывая социалистическую барщину в колхозах и совхозах, *ничего,* или почти ничего, не получая за свой труд. Рабочие и служащие платили небывалую цену за продукты, при нищенской оплате. Заготовительная цена на сельскохозяйственные продукты, назначенная монопольным покупателем-государством не оплачивала даже доставки их на заготовительные пункты. Выполнение планов сдачи продуктов стало законом, за невыполнение судили и жестоко карали, жесточе, чем за убийство. А потом эти продукты государство продавало своим же гражданам по неимоверно высоким монопольным ценам.

К примеру, до 1956 года за 1 кг. пшеницы государство платило колхозу 6 коп., а за пшеничный хлеб в государственных

лавках брало от 1 рубля до 5 руб. 10 коп. за тот же килограмм. На цену хлеба на ссыпном пункте делалась гос. наценка в 1000%. Из 6 копеек за кг. цена превращалась в 66 коп. Налог с оборота, торговая прибыль, тоже шедшие в казну, увеличивали цену 1 кг. пшеницы до 1 рубля и больше. То же самое было с мясопоставками, овощепоставками, поставками технических культур и пр. Так, в 1940 году заготовительная цена 1 кг. капусты была 1-2 коп., а продажная — 42 коп. Дело не в названии, грабеж это или что-то другое, дело в том, что этими колоссальными средствами, отнятыми у населения, пополнялись все протори и убытки индустриализации и убыточности ком. производства. Но такое положение не могло продолжаться бесконечно. Массовое бегство из деревни, запустение сел и миллионов га пахотной земли даже в европейской части страны, провал аферы с целинными землями и с кукурузой и, наконец, закупки необходимого хлеба заграницей за золото — принудили ком. руководство отказаться от практики такого грабежа в сельском хозяйстве. Для того, чтобы только восстановить опустевшее сельское хозяйство нужно было вернуть ему средства, необходимые для ведения хозяйства. А это значило *отказаться* от больших *"социалистических"* доходов и повысить заготовительные цены на сельскохозяйственные продукты в десять и более раз.

По новым ценам за 1 кг. пшеницы вместо 6 коп. стали платить 76 коп., то-есть в двенадцать с половиной раз больше. После денежной реформы (1:10) стали платить 8 коп. за кг. новыми деньгами. И это не помогло. После падения Н. Хрущева цены эти еще повысили и сейчас платят от 15 до 30 коп. за кг. Аналогичное повышение цен проведено и в заготовках мяса, яиц, молока, овощей, технических культур и пр. Без этого о возможности развития сельского хозяйства было нечего говорить. Помогут ли эти реформы сельскому хозяйству неизвестно, но *средств* для пополнения убыточности промышленного производства в СССР брать стало *неоткуда*. Мало того, часть взятых средств нужно было возвратить сельскому хозяйству. Расчет на то, что созданная промышленность будет со временем приносить прибыль тоже не оправдался. Так и пришла необходимость проводить реформу, в надежде сделать производство прибыльным, ибо единственный результат ком. хозяйствования — *убыток* — установился слишком прочно. Получается парадокс: чем больше растет промышленность СССР, чем больше строится и вступает в строй предприятий, тем больше убытков у бесталанного ком.

хозяина-государства. При желании, несмотря на засекреченность и камуфлирование положения, это можно проследить и в бюджетах СССР. Поступления в бюджет СССР в 1967 году от всех предприятий и хозяйственных организаций, включая плату за фонды, составит — 37.2 миллиарда рублей. А отпускается на них по бюджету СССР — 46.9 млрд. руб. В результате, *только по бюджету СССР, убытки от народного хозяйства в 1967 году* составят 9.7 млрд. руб. И так было из года в год. Чем же покрываются эти убытки? Налогами с населения, при чем главную часть их составляют косвенные налоги, акциз, пошлины и пр. Только *"налог с оборота"* уже два года неизменно составляет 37% всего бюджета. В 1967 г. — это 40.6 млрд. руб. из 110.1 млрд. руб. всего бюджета, на 3.4 млрд. больше, чем *все доходы* от народного хозяйства. Его платят частные покупатели и колхозы, покупая любой товар в торговой сети.

Розничный товарооборот в СССР на 1967 год намечен в сумме 119.8 млрд. руб., а налог с этого оборота составляет 40.6 млрд. руб., т.-е. 34% стоимости всех товаров. Цена всех товаров без налога 79.2 млрд. руб. Другими словами, больше одной трети цены всех покупаемых населением товаров составляет — налог с оборота. И пока промышленное и сельскохозяйственное производства будут приносить убыток положение измениться не может.

Прямые налоги с населения составляют — 9% бюджета. Приносят доход и огромные акцизные сборы от спаивания населения, небывалые таможенные пошлины с отправляемых в СССР посылок, торговая прибыль и пр. и пр. Непосредственным результатом этих громадных *убытков* ком. производства является и очень низкий жизненный уровень населения и всякие бесконечные "трудности" СССР. Эту постоянную убыточность ком. производства восполняют два источника и даже дают возможность расширять и строить новые предприятия: население и естественные богатства. Последние используются хищнически, что ведет к их уничтожению. Так, в СССР не хватает леса, бумаги, в водоемах нет рыбы, истребляются звери, только добываемое в стране золото дает возможность покупать за границей товары и *хлеб,* при наибольшей в мире посевной площади страны.

Сейчас, как будто, все меры направлены к ликвидации коренного зла ком. экономики — убыточности хозяйства. Все осужденные ранее буржуазные, капиталистические меры и методы, все КПСС согласно использовать, только бы добиться при-

быльности производства. Ком. экономисты и теоретики в течение десятилетий толкли воду в ступе, утверждая действие "объективных законов" политической экономии социализма. Сейчас, оставшись у разбитого корыта, они должны наново заняться тем, что давно ими было отброшено и осуждено. Задачей марксо-ленинских экономических наук стало теперь не только изучение экономики капитализма и применения ее к ком. хозяйствованию, но, конечно, и обязательное *оправдание* этого применения. Маркс-ленинские академики заявляют сейчас, что экономические законы социализма *объективно направлены* на повышение эфективности общественного производства, а конкретные результаты дело практиков. "Объективная направленность на рост экономии (производительности) труда характеризует действия основного экономического закона социализма (зависимость осуществления цели социалистического производства от экономии труда), закона планомерного, пропорционального развития экономики (неразрывная связь экономических пропорций и экономии труда), закона распределения по труду (оплата труда стимулирует его производительность) и всех других законов социалистической экономики". ("Коммунист", № 15, 1966, стр. 49).

В действительности, никаких объективных законов социалистической экономики не существовало и не существует в природе. Суть кризиса ком. экономики представляет собой цепь теоретических доктринерских нелепостей, никогда не воплотившихся в действительность — ни автоматически, ни с применением всей силы ком. аппарата насилия. Это потому, что коммунизм в корне уничтожает частную инициативу, индивидуальную творческую силу и материальную заинтересованность людей в реализации экономических возможностей. Коммунизм противоречит природе человека и потому, что ориентируется не на лучших, а на худших граждан страны в экономическом отношении. В ком. теории отведено много места именно эфективности производства, значению повышения производительности общественного труда. Об этом писал Маркс. Ленин заявил, что производительность труда решает окончательную победу каждого общественного строя. В новой программе КПСС сказано о достижении "наибольших результатов при наименьших затратах". Но все это оставалось и остается догмой, формулой, заклинанием, которые 50 лет продолжают повторять, но не применять.

"Показательно, что в экономической литературе, в том числе и учебной, обычно отмечались лишь две основные черты.

присущие экономическим законам социализма: то, что, во-первых, и ействие осуществляется через сознательное, плановое использование и обществом и, во-вторых, что оно направлено на удовлетворение потребностей всего общества, на неуклонный рост благосостояния народа. При этом упускалась третья характерная черта системы экономических законов, действующих при социализме, — их объективная направленность на экономию труда". ("Коммунист", № 15, 1966, стр. 57). Но если экономические законы социализма можно выполнять или не выполнять, если вся маркс-ленинская наука ничего ненормального в ком. экономике не замечала пока плачевные результаты, построенного на ней хозяйства стали уже нетерпимы, то стало-быть нет никаких оснований считать их законами, как и марксизм наукой. Зато нарушение законов нормальной экономики и игнорирование их сразу же вело к кризисам в экономике СССР. Так, игнорирование закона спроса и предложения привело к кризису, к наличию миллиардных запасов ненужных населению товаров и заставило марксистов заняться изучением сугубо капиталистических понятий. У ком. теоретиков возникла необходимость изучения проблемы потребления. "Потребительной стоимости (как и всей проблеме потребления) до сих пор отводилась крайне незначительная роль в политической экономии социализма. Между тем объективно она принадлежит к числу ее важнейших категорий". (Там же, стр. 59). Возникла и проблема изучения народнохозяйственной конъюнктуры: "Еще сравнительно недавно само понятие хозяйственной конъюнктуры нередко считалось чуждым плановой экономике и рассматривалось, как категория стихийного капиталистического хозяйства... Сейчас со всей остротой встает задача научной разработки теории хозяйственной конъюнктуры в условиях социалистической экономики". (Там же, стр. 61). Тормозилось и долгосрочное прогнозирование ибо считалось, что плановое хозяйство само создаст в будущем то, что ему нужно, а не будет подчинено стихийному развитию. Сейчас этим должна заняться маркс-ленинская наука. И при этом: — "Следует критически изучить и использовать все полезное в методике долгосрочных прогнозов за рубежом". ("Коммунист", № 15, 1966, стр. 60).

Игнорирование понятия *ренты* тоже привело к недоразумениям в ком. экономике. Более выгодно расположенные предприятия могли давать бóльшую производительность и прибыль, но это не принималось во внимание. Еще большее зло принесла

недооценка ренты в использовании природных ресурсов. В погоне за количественным выполнением и перевыполнением планов хищнически использовались леса, земли и полезные ископаемые. В результате вырублены леса даже по планам на 5 и 10 лет вперед в легкодоступных районах, что принесло огромный вред общему хозяйству страны. Хищническое использование плодородия земель, без достаточного его восстановления, вывело из строя богатейшие посевные площади. Именно поэтому Украина выбыла из строя, как житница страны. Даже целинные земли использовались хищнически: там пшеницу по пшенице сеяли 11 лет подряд. Тоже самое с углем, нефтью, газом, рыбным и охотничьим хозяйством.

Недооценка значения производственного капитала создавала совершенно разные результаты деятельности у богатооснащенных предприятий и у предприятий технически отсталых. Но раз Маркс утверждал, что капитал в приросте стоимости товара не принимает участия, а весь прирост стоимости товара создается "рабочей рукой", то и все внимание обращалось только на производительность труда рабочего (соревнование, ударничество, стахановщина, бригады ком. труда и пр.). Советские экономисты даже стеснялись назвать капитал его именем. То он назывался у них овеществленным прошлым трудом, то социалистическим накоплением. В действительности же капитал играет ведущую роль в производстве и производительность труда от него зависит и им определяется. Но при развитии механизации и автоматизации его роль стало уже невозможно замалчивать. И сейчас обложили все предприятия 5% взносом за пользование производственными фондами. Стало ясно, что все капиталы принадлежат государству, а администрация их стала в положение арендаторов с меньшей скованностью, чем раньше, но какова же роль рабочих в этом государстве, кроме роли простых выполнителей?

До сих пор в СССР во всех проектах искусственно исключалась стоимость земли, воды и пр. "Важно учитывать и такой фактор, как ущерб, наносимый природным ресурсам, производственным фондам. Нельзя, например, не учитывать потери от затопления сельскохозяйственных земель при строительстве гидростанций", писал не так давно "Коммунист". Все эти Московские, Цымлянские и другие моря при гидроэлектростанциях затопили огромные сельскохозяйственные площади и их потеря в общем балансе ложится такой дополнительной оплатой

добываемой энергии, что, оцени ее во время, пришлось бы отказаться от многих из них и сделать проекты более экономными. Но таковой оказалась маркс-ленинская экономическая наука, таковы и теперешние хозяева страны, которые за пропагандной "грандиозностью ком. строительства" не видят обыкновенных экономических убытков, само понятие о которых не укладывается в марксистски-натренированные головы.

Напрасны все попытки руководства КПСС провести какие-то "реформы": без изменения самой системы успеха быть не может. Те формы, которые дают бóльший экономический эфект, обеспечивают бóльший доход, приносят бóльшую экономическую пользу населению, не нужно искать и выдумывать, они не новы, они и сейчас существуют в мире наряду с гиблой ком. системой и их надо принять, они далеко не исчерпали себя. Плохие формы в экономике *уступают место* хорошим и лучшим. Экономическая выгодность и эфективность, вот критерии для определения того, назрел ли переход к к. н. новым формам хозяйствования. Трагедия нового руководства в СССР состоит в том, что оно пытается сохранить давно обанкротившуюся ком. форму и организацию, используя только отчасти опыт экономически процветающих капиталистических развитых стран свободного мира, но не желая "изменять марксизму".

"Это вовсе не значит, что те или иные полезные данные, частные практические выводы и методические приемы, встречающиеся в трудах сторонников таких неприемлемых для нас концепций, не могут быть критически освоены и использованы в системе нашей экономической науки". ("Коммунист", № 15, 1966, стр. 54-55).

Беда еще в том, что не только исправить, но и признать кризисное положение в ком. экономике руководство КПСС не может. Это значило бы расписаться в собственном банкротстве и в банкротстве марксизма-ленинизма, приведшего на практике к таким трагическим результатам. Те же самые производственные силы в свободных странах дают колоссальные прибыли и несравненно лучшее обеспечение рабочим и населению, а в ком. странах 50 лет подряд приносят только *убытки,* которые все население вынуждено дополнительно покрывать. Вышло так, что национализировав производство в стране, коммунисты дали народу не источник дохода, а источник убытков, не улучшили, а ухудшили экономическое положение своих граждан. "Глупым сынам оказалось не в прок отцовское наследство". Кроме убыт-

ков, оно ему ничего не дает. Этот опыт учтен рабочими Канады и США: они против национализации, которая *вредит* рабочим. "Представители компартий Канады и США сообщили, что не все рабочие их стран склонны поддерживать лозунг национализации промышленности, поскольку они, опираясь на имеющийся опыт, полагают, что эта мера может оказаться в противоречии с их непосредственными интересами". ("Коммунист", № 18, 1966, стр. 34).

Этим и объясняется ком. парадокс: почему, когда "рабоче-крестьянская" партия овладела всем производственным аппаратом страны и всеми ее богатствами, население СССР стало жить *намного хуже,* чем оно жило до этого овладения. Выходит, что ком. система использования производительных сил страны самая бесхозяйственная, самая расточительная и самая убыточная.

Коммунисты в этом никогда не признаются, поэтому-то у них все засекречено. Но этих признаний и не нужно. Пересмотрите те из опубликованных бюджетов, которые доступны. Везде расходы на народное хозяйство превышают полученные от него прибыли. Пересмотрите статьи о реформе, доклады на пленумах и съездах, речи ком. руководителей. Везде одно требование: повышение эфективности производства, превращение его из убыточного в прибыльное. Почитайте книги, статьи в журналах и газетах СССР — везде проглядывает убожество жизни его граждан, низкая оплата труда, жилищная теснота, отсутствие самых необходимых вещей, трудности и бедность в продолжение полустолетия. Все это и есть иллюстрация основного результата — убыточности ком. производства и отсталости ком. экономики, живущей и развивающейся (да, развивающейся!) за счет ограбления своих граждан, за счет хищнического использования природных богатств страны. Но долго ли может еще сохраняться такое положение в условиях растущего благосостояния людей в свободном мире и в условиях изоляции ком. стран от этого мира? Хрущев считал, что так будет до построения полного коммунизма. Новое, более просвещенное, руководство считает, что положение это уже нестерпимо и его необходимо изменить. Будет ли это ему по силам покажет ближайшее будущее.

Новое руководство КПСС вынуждено спешить с проведением реформы, ибо убыточность ком. хозяйства растет. Отдача или прибыльность внесенных и вносимых в производство капиталов не растет, а снижается и увеличивает и так большую убыточность производства. "Известно, что за минувшую семилетку произо-

шло снижение отдачи основных промышленных фондов в народном хозяйстве. Этот процесс пока не удается полностью остановить". ("Известия", 13 янв. 1967). "Директивы 23-го съезда партии выдвинули в качестве одной из главных задач пятилетки повышение эфективности производства". (Там же). Такое экономическое положение в СССР к 50-летию ком. эксперимента заставляло бы пересмотреть и основное положение марксизма: оценку понятия *собственности*. Говорят о более глубоких теоретических исследованиях: "в том числе анализа развития собственности". ("Коммунист", № 15, 1966, стр. 54). Это, как будто, новость. До сих пор отношение коммунистов к собственности было решительно отрицательным и требовалась ее безусловная ликвидация. Сейчас ее будут "изучать".

Такое положение во всех ком. странах, при быстром научно-техническом развитии в странах свободного (капиталистического) мира, создает идеологический разброд и кризис в ком. партиях. "Загнивающий", по ком. оценке, капитализм, как система, сейчас особенно бурно развивается, небывало улучшается положение рабочих и всего населения стран свободного мира. Над ком. пророчествами и марксо-ленинскими прогнозами жизнь как бы издевается. Пришлось в 1966 году созвать теоретическую конференцию в Париже для обсуждения создавшегося положения в ком. партиях развитых стран. А следом за нею созывается повторная конференция в редакции ком. журнала "Проблемы мира и социализма" в Праге. На этих встречах-конференциях участники пришли к многозначительному выводу, что "империалистическая" стадия капитализма, вопреки ленинским прогнозам, *не стала последней его стадией*. Что капитализм сейчас перешел в новую стадию "государственно-монополистического капитализма". На этой де новой стадии он и достигает новых экономических успехов. "Излагая выводы, к которым пришли их партии, участники обмена мнениями подчеркивали, что главной чертой нынешнего капитализма в их странах является прежде всего высокая степень развитости государственно-монополистических форм и его способность обеспечивать экономический рост на базе научно-технической революции". ("Коммунист", № 18, 1966, стр. 26).

Итак, коммунисты пришли к выводу, что вместо загнивания и гибели, современный капитализм обладает той необходимой способностью развиваться на научно-технической основе, которой так не хватает ком. странам. Мало того: "участники пражской

дискуссии приводили много фактов, показывающих, что значительный рост производительных сил и новая степень организации капиталистического производства вызывают существенные социальные последствия: меняется структура классов, их положение в обществе и взаимоотношения между ними". (Там же, стр. 26). Стало-быть выходит, что весь марксизм базировавшийся на коренном противоречии только двух классов, скромно говоря, не соответствует реальному соотношению социальных классов в современном обществе. Но улучшилось не только производство. Неизмеримо лучше, чем в ком. странах и положение рабочих и вообще всего населения. Рабочие процветающего свободного мира *материально заинтересованы* в его развитии, а не в разрушении. Вместо ком. обещаний всех благ в отдаленном будущем и никак не реализуемой, платонической *"заботы"* партии и правительства о будущем благосостоянии граждан ком. стран, сами коммунисты так описывают действительное положение в свободном мире: "наличие относительного материального достатка, сокращение рабочей недели, а следовательно, увеличение свободного времени и одновременно интенсификации труда, которая резко сокращает возможность политической работы на предприятиях, — все это создает совершенно новый фон социальных отношений. Нынешний рабочий развитых капиталистических стран материально более связан с существующим порядком и в то же время подвержен несравненно более сильному, разнообразному воздействию буржуазного апарата власти и пропаганды". (Там же, стр. 28).

Вот такое-то положение в развитых странах и поставило марксистов в тупик. Они даже не в состоянии разобраться, что же происходит в мире? А происходят совершенно не предвиденные марксизмом явления, совершенно невозможные согласно этому учению. "Крайне важно дать определенный ответ на вопрос, являются ли изменения в развитии капитализма, которые уже вызвали огромные социально-политические и идейные последствия, краткосрочными, временными или же это изменения длительные, и, следовательно, требуют пересмотра некоторых прежних воззрений". (Там же, стр. 27). Но здесь дело уж не в пересмотре *некоторых* воззрений, а *всех воззрений,* связанных с марксистским лжепророчеством.

Юрий Мишалов

КОМПАРТИЯ И КРЕСТЬЯНСТВО

К 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

История взаимоотношений русской деревни с коммунистической партией и советской властью плохо изучена. Преобладает мнение, что крестьянство поддержало большевиков и этим дало им победу. Из всех зарубежных историков гражданской войны, кажется, один только С. П. Мельгунов доказывал ошибочность этого мнения. В своих работах он неоднократно возвращался к этому вопросу. Вернулся к нему покойный историк и в своей последней, оставшейся в набросках работе, условно названной «Белое движение». И здесь, на основании имевшихся в его распоряжении данных, С. П. Мельгунов доказывает, что большевики «не имели сочувствия населения...»

Теперь есть возможность обосновать утверждение историка документально. С конца 50-х годов появилось огромное количество сборников документов эпохи гражданской войны как общего характера, так и относящихся к отдельным губерниям и областям. Конечно, подбор их тенденциозен, но не в той мере, как это можно было ожидать.

Все эти материалы дают возможность довольно точно обрисовать взаимоотношения между русской деревней и коммунистической партией в эпоху гражданской войны и НЭП'а.

Для большей наглядности, изложение событий, общих для всей страны, я постараюсь иллюстрировать, главным образом, на примере Орловской губернии. Эта губерния, за исключением нескольких недель, осенью 1919 года, была все время под властью советов.

В Орловской губернии первыми перешли на сторону большевиков Брянск и Бежицк, города с большим количеством рабочих. Большевистская организация в Бежицке и Брянске во главе с И. Фокиным, еще до октябрьского переворота добилась большинства в местных советах. Но захват власти в губернии проходил значительно труднее. После октябрьского переворота власть перешла в руки Орловского губернского совета. Боль-

шинство в нем принадлежало меньшевикам и эсерам, а председателем его был меньшевик В. Ф. Переверзев (если не ошибаюсь, городской голова г. Орла). Совет объявил губернию на военном положении. Большевикам, опираясь, главным образом, на 74-й и 81-й запасные полки, стоявшие в Орле, удалось добиться перевыборов в Орловский совет. Перевыборы эти были произведены, конечно, под давлением «революционно-сознательных масс», но все-таки результаты их для большевиков были не очень утешительны.

25 ноября (ст. ст.) 1917 года собрался Орловский совет нового состава для избрания исполкома и ревкома. В исполком было решено избрать 40 членов — по 20 человек от рабочей и солдатской секций. В солдатской секции выборы производились открытым голосованием, с участием публики, и выражались криками, одобрительными или неодобрительными. Несмотря на это, большевикам удалось провести всего 11 своих кандидатов из 20. В рабочей секции, собравшейся отдельно и без публики, большевиков ждал разгром, они провели только 5 своих кандидатов. Остальные места во всем исполкоме распределились между меньшевиками (9), эсерами (8), беспартийными (3) и т. д. Председателем Орловского совета был избран член польской социалистической партии Квапинский (от солдатской секции).

Единственного решающего успеха большевикам удалось добиться при выборах в военно-революционный комитет (ревком). Они получили в нем большинство, и председателем его был избран большевик М. Н. Буров. В руках ревкома сосредоточилась вся политическая власть в губернии. «Через военно-революционный комитет, — сообщает советский источник, — большевики провели огромную работу по сплочению рабочего класса и беднейшего крестьянства вокруг власти советов. Одной из крупнейших заслуг ВРК является создание вооруженных отрядов из рабочих и солдат для борьбы с местной контрреволюцией». 15 февраля 1918 года, Буров, уже председатель губернского совета народных комиссаров, сообщает Ленину: «Имеем броневой поезд, отряд матросов Балтики, 80 человек, также свой отряд — 150 человек пехоты».

Но одно — добиться власти под давлением распропагандированных «революционных» масс, и другое — эту власть распространить по всей губернии. Смещать, изгонять и арестовывать большевики не могли еще довольно долгое время.

Так, например, орловский губернский комиссар Временного правительства Ровинский сложил свои полномочия только 27 января 1918 г. уже после упразднения Орловского ревкома (25 января) и при этом арестован не был; Орловская городская дума существовала параллельно с советскими учреждениями до 21 февраля 1918 года; в Кромском уезде советская власть была установлена лишь в конце февраля, а в Моховицкой волости Болховского уезда — 20 марта 1918 года.

Так, довольно долго большевики были вынуждены сосуществовать в советах с меньшевиками и правыми эсерами. Удаление их из местных органов власти происходило постепенно. В Брянске, например, их исключили 29 июня 1918 года, причем оказалось, что правые эсеры и меньшевики были представителями рабочей секции. В Бежицке их удалили из местного совета только 15 сентября и то после категорического требования уездного бюро РКП(б) с угрозой привлечь «к ответственности, как за соглашательство с контрреволюционерами». Эти факты, и многие другие, достаточно ясно показывают, что рабочие совсем не так рьяно поддерживали «рабоче-крестьянскую» власть, как это сейчас описывают большевистские историографы.

Первыми действиями нового Орловского губернского совета по отношению к деревне были: призыв создавать советы на местах и проведение в жизнь земельного декрета Ленина. Земля от крупных землевладельцев была отобрана и частично перераспределена между крестьянами. По Орловской губернии вышло от 0,3 до 0,6 десятины на едока. Крестьяне от раздела земли помещиков ожидали значительно большего, и это было их первым, хотя и не очень глубоким, разочарованием в новой власти.

Но не успели кончить передел земли, как в деревню начали приходить вооруженные отряды и насильно отбирать хлеб. Уже в январе 1918 года орловский комиссар продовольствия Хохлов обратился к крестьянам со следующим воззванием:

«Братья-крестьяне! В северных уездах Орловской губернии и вообще на севере ужас голода разливается все шире и шире, дети и взрослые умирают мучительной голодной смертью.

...Мы, ваши избранники, говорим вам: везите хлеб и другие съестные продукты к элеваторам. Священным именем революции заклинаем вас сделать это добровольно.

...Не подчинившиеся этому призыву будут арестовываться, как нарушающие интересы народа. Помните, товарищи, что это наше последнее слово — за ним будет говорить сила».

Но крестьяне Орловской губернии, вообще хлебом не богатой, этому призыву добровольно не подчинились, и в марте появляется циркуляр орловского продовольственного комиссариата «о реквизиции излишков продуктов и борьбе со спекулянтами» уже с применением вооруженной силы. Этот циркуляр предписывал произвести опись решительно всех продовольственных запасов и фуража, принимая во внимание все потаенные места, где запасы могли бы быть спрятаны. После описи хозяевам оставлялось на прокормление на месяц 30 фунтов хлеба на каждого члена семьи; на лошадей, не больше двух, если не имелось другого корма, по два пуда сена на месяц и на одну корову один пуд сена. На другой скот не оставлялось ничего. Все остальное считалось излишками и подлежало реквизиции. Ответственность за выполнение возлагалась на всю деревню.

Этот циркуляр вызвал сопротивление крестьян. Местных сил у большевиков не хватало, и это приводило иногда к тому, что крестьяне, например, в Богодуховской волости в марте 1918 года один из реквизиционных отрядов просто разоружили. Уездный совет счел нужным дать по этому поводу следующие разъяснения:

«Ввиду восстановления истины в отношении создавшегося на местах ложного мнения к реквизиционному отряду... совет считает долгом довести до вашего сведения нижеследующее: реквизиционный отряд был послан советской властью в лице уездного комиссариата по продовольствию... Среди населения распространились слухи, что отряд был собран буржуями, причем определенно указываются личности. Уездный исполком подтверждает, что это не отряд буржуев, а отряд, посланный советской властью...» и т. д.

Но в этот период вооруженные столкновения случались относительно редко. Большевики были слабы, крестьяне не успели ожесточиться. Но бывало и иначе. Так, крестьяне села Липецк Малоархангельского уезда Орловской губернии перед приходом реквизиционного отряда в марте же 1918 года напали на Покровский волостной совет, захватили оружие и дали бой отряду. Но это еще не было восстанием. Большевики называли

это «вылазками классового врага — кулаков и деревенских богатеев».

В Орловской губернии с изъятием излишков власти на местах не справлялись, и положение с продовольствием становилось все катастрофичнее. Тогда центр взял дело в свои руки. В начале мая 1918 года начали формировать продовольственную армию специально для военных действий против деревни. В скором времени армия эта достигла нескольких десятков тысяч человек. На словах она должна была состоять из рабочих, но туда шел, главным образом, всякий сброд, немалым процентом влились в нее и интернационалисты.* Первые действия продармии в деревне были неудачны. Продармейцы деревни не знали, чувствовали себя в ней, как в лесу и били вслепую. Тогда то и было решено взорвать деревню изнутри.

Декретом от 11 июня 1918 года было положено начало организации комитетов бедноты, к которым фактически перешла вся власть в деревне. Этим достигались крупные преимущества в войне с деревней. Дело в том, что, несмотря на победу большевиков, зажиточное крестьянство, т.-е. те люди, которых большевики заклеймили кличкой «кулаков», сохранили еще значительную часть своего влияния. Они быстро освоили нехитрую механику советской власти и с успехом добивались выборов в сельские и волостные советы приемлемых для себя кандидатов. Таким путем они нейтрализовали влияние советской власти в деревне и защищали себя от ее ударов. Организацией же комбедов и передачей им реальной власти через голову местных советов большевики создали в деревне нужную им силу. Этим они добились расслоения деревни, разделения ее на враждующие группы и ослабления ее сопротивления. Кроме того, комбедам было вменено в обязанность «оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев». Комбеды стали пятой колонной большевиков в деревне, а продармия получила в их лице союзника, который мог (и должен был) указывать у кого, где и сколько можно найти и отобрать. Но деревня на это мере-

* Этот термин советские источники применяют к иностранцам, выступившим с оружием в руках на стороне большевиков. Это были не только военнопленные центральных держав, но и китайцы, и поляки, и даже индусы и т. д.

приятие большевиков ответила ожесточенным сопротивлением и восстаниями.

Почему-то принято считать русское крестьянство безответным и рабски покорным всем приказам, откуда бы они ни шли. Мы этого мнения не разделяем. Русский крестьянин был совсем не так кроток и послушен. И когда большевистская власть показала себя, деревня восстала. Зверства при усмирениях вызывали ответные жестокости крестьян. При восстании в первую очередь ликвидировали комбеды. Мелкие продотряды истребляли полностью. Были случаи, когда особенно рьяным комиссарам крестьяне вспарывали животы и набивали их зерном. Бывало, что таких комиссаров перепиливали деревянными пилами.

Продотряды, поддерживаемые отрядами при губкомах и губчека, не только отбирали хлеб и расстреливали, они возродили избиения и порку крестьян шомполами. Таким образом, сомнительная честь введения в обиход гражданской войны «шомполизации» принадлежит продармии.

Сопротивление крестьян вызвало перемену большевистской тактики. Уже в августе 1918 года вышел приказ, предписывавший увеличить численность продотрядов минимально до 75 человек, обязательно с двумя-тремя пулеметами. «Работа» должна была планироваться так, чтобы три отряда могли быть «в кратчайший срок» соединены в один. Между отрядами предписывалось поддерживать постоянную кавалерийскую связь. Но и это не помогало.

Восстания были стихийны, почти неорганизованы и несогласованы одно с другим. Но они были настолько повсеместны и упорны, что заставили большевиков отступить. «По данным ВЧК, — сообщает советский источник, — только по 20 губерниям Центральной России в 1918 году было зарегистрировано 245 крупных контрреволюционных выступлений». Об одном из них, в Ливенском уезде Орловской губернии, я расскажу.

Опыт показал, что изъятие хлеба — занятие сложное. И большевиков осенила гениальная мысль — упростить задачу, отобрав весь урожай на корню (что им удалось осуществить много позже в колхозах). Было решено, что «...весь предстоящий урожай должен быть сразу изъят из обладания населения и распределен по общегосударственному плану и весь обмолот и вся переработка урожая, а если возможно, то даже самый сбор с полей, должен производиться общественными силами под общественным контролем и сразу же сдан в общественные

магазины для последующей выдачи по карточкам или в ином порядке всему населению». «Для учета и контроля за реализацией урожая» предложено было организовать «сельские комиссии бедноты». В случае саботажа местных крестьян, работы предполагалось провести рабочими дружинами из местных жителей и военнопленных.

Но провести эту акцию сразу на всей территории, конечно, не хватало сил. Для Орловской губернии Ленин предложил наркомпроду А. Цурюпе в письме от 5 августа «...сосредоточить силы на Елецком уезде, где... положение дел в смысле удушения кулака и организации бедноты образцовое. Направить тотчас с максимальной быстротой в Елецкий уезд все продовольственные, уборочные и уборочно-реквизиционные отряды... Дать задание — очистить уезд от излишков хлеба дочиста. Вероятно, это даст несколько миллионов пудов хлеба (по-моему, больше 6 миллионов пудов)...»

Соседний с Елецким, Ливенский уезд, где «удушение кулаков» было поставлено, очевидно, недостаточно образцово, заволновался. Поводом к волнениям послужил приказ о мобилизации унтер-офицеров. М. Буров, о котором уже была речь, 14 августа прибыл в Ливны в сопровождении отряда губчека из 85 интернационалистов. 15 августа город и уезд были объявлены на военном положении. 16 августа восстание началось в деревне Плоты Кудиновской волости, где были убиты «три советских работника» (комбед?). Сейчас же был созван волостной сход и от его имени с просьбой о поддержке отправлены 20 верховых во все волости уезда. «Быстро организуясь, сметая волостные и сельские советы, — говорит один из советских источников, — деревенская и контрреволюционная банда, захватывая всюду, где можно, оружие, избрала своей базой деревни Кузьминки и Бородинки». Пять отрядов повели с разных сторон наступление на Ливны. В самом городе толпа в 5.000 (?) человек уже окружила тюрьму и чрезвычайку.

Защищали Ливны гарнизонная рота и прибывший с Буровым отряд интернационалистов. Рота разбежалась, оставив на поле боя восемь пулеметов, которыми воспользовались наступавшие. Интернационалисты, знавшие, что им, как чекистам и иностранным наемникам, смерти все равно не избежать, были на три четверти истреблены в упорном бою. «Некоторые члены совета и советские работники были растерзаны» толпой, среди

них председатель уездного исполкома И. Селитренников и председатель местной чрезвычайки.

Бурову удалось бежать. На Ливны двинули Орловский образцовый железный полк, один из батальонов которого состоял из интернационалистов под командованием Франца Мондре, артиллерию, железнодорожные батальоны из Орла и Курска и другие части. 20 августа, после артиллерийского обстрела города, восставшие были выбиты из Ливен. В боях они потеряли несколько сот человек. «Главари и местные видные буржуи расстреляны». Уезд же замиряли еще долго. Сколько людей было при этом расстреляно и замучено, никто не считал.

В виде послесловия можно привести выдержку из письма Ленина наркому земледелия Елецкого уезда С. П. Середе, от 7 сентября 1918 года:

«Почему не выходит дело в Елецком уезде? Это меня очень тревожит, а еще более Ваш 'обход' этого вопроса. Явно ведь не выходит. Из 19 волостей с комитетами бедноты ни одного ясного, точного отчета! Ни одной суммы, сколько вагонов за какие сроки!!»

И «ясный, точный» отчет с места: телеграмма Архангельского волкомбеда Елецкого уезда Ленину от 10 сентября 1918 года: — «Дурная погода мешала молотьбе, тов. Середа поставил нам молотилку, теперь комитет бедноты шлет в Москву два вагона советского хлеба... Председатель Архангельского комитета бедноты Меленин».

Изъятие излишков было не единственной причиной крестьянских восстаний. Их вызывали также и мобилизации в Красную армию. Реже они выражались сопротивлением мобилизации на местах, чаще возникали на сборных пунктах. Бывало и так, что одно только присутствие в городе недовольной и озлобленной массы мобилизованных вызывало или ускоряло местное восстание. Так случилось 15 августа 1918 года в Астрахани. Восставшим «удалось захватить ряд опорных пунктов города, в том числе астраханскую крепость, и спровоцировать антисоветское выступление среди мобилизованных в Красную армию крестьян». Но эти восстания стойкостью не отличались. Мобилизованные, которым большевики предусмотрительно не выдавали на руки оружия, при первых же столкновениях с карательными отрядами разбегались и пополняли бесчисленную армию дезертиров.

Происходили такие восстания и в Орловской губернии.

Самое крупное вспыхнуло в марте 1919 года в Брянске, когда поднялись 5.000 мобилизованных 34-го и 35-го полков. Им удалось захватить 800 винтовок. «ВЧК вынуждена была стянуть к Брянску значительные силы» из Москвы, Калуги, Смоленска, Орла и Курска.

Волнения, возмущения и восстания крестьян вызывались иногда и гонениями на Церковь и духовенство. Часто окрестные села оказывали сопротивление при разгроме монастырей. При защите Яковлевского женского монастыря в Рузаевском уезде Пензенской губернии в сентябре 1918 года крестьяне расправились самосудом с чекисткой Путиловой. Возмущение было жестоко подавлено подоспевшим карательным отрядом. В Шацком уезде Тамбовской губернии в августе 1918 года после крестного хода местная ЧК арестовала священников и захватила высоко чтимую Вышинскую икону Божьей Матери. Крестьяне двинулись на выручку святыни. Их встретили пулеметами. «Пулемет косит по рядам, — пишет первый комиссар юстиции, левый эсер И. Штейнберг, в книге «Нравственный лик революции», — а они идут, ничего не видят, по трупам, по раненым, лезут напролом, глаза страшные, матери детей вперед; кричат: Матушка, Заступница, спаси, помилуй, все за Тебя ляжем».

В Кромском уезде Орловской губернии протест против гонений на Церковь и духовенство разросся в крупное восстание. 13 декабря 1918 года коллегия Кромской уездной чрезвычайной комиссии просила: «Именем Кромского исполкома вышлите немедленно в Кромы 3 взвода пехоты, взвод пулеметов, броневик для подавления восстания кулаков. Своих сил не хватает». Первой причиной восстания показано «выступление на почве мобилизации духовенства». Это была, конечно, не мобилизация в Красную армию, а так называемая «трудовая мобилизация», когда духовенство посылали на самые грязные, самые унизительные и издевательские работы.

На «внутреннем фронте», в войне с народом, большевики предпочитали пользоваться иноплеменными воинскими отрядами — латышскими, эстонскими и интернациональными. Роль их в подавлении восстаний совершенно бесспорна. Не следует, конечно, утверждать, что все восстания подавлялись иноплеменными частями, но их специфическую роль и заслуги подчеркивает, например, слезное ходатайство тульских губисполкома и губвоенкома от 3 сентября 1918 года за № 9969 об

оставлении в и распоряжении интернационального отряда под командованием Августа Сноре, так как этот отряд — «единственная твердая опора местной власти против кулаков и белогвардейцев». В Орловской губернии интернациональные отряды имелись в самом Орле (несколько), в Карачеве, Ельце и в Брянске.

*

30 октября 1918 года большевистской властью были введены еще два налога: 1) Натуральный налог. Он исчислялся по площади посева, предназначался для окончательного удушения «кулака» и был дополнительным налогом на урожай 1918 года. 2) Единовременный чрезвычайный революционный налог. Этот налог был назначен в сумме 10 миллиардов рублей для всей подвластной большевикам территории. К этому времени буржуазия была уже полностью ограблена. Рабочие и служащие от этого налога освобождались, и он всей своей тяжестью ложился на крестьян. Его разверстали по губерниям.

Но деревня продолжала ожесточенно сопротивляться. Осенью 1918 года большевики захватили богатое хлебом Поволжье. Продовольственный кризис на время ослабел. Первой уступкой деревне было расформирование в ноябре 1918 года комбедов, которые деревню разделили и разорили, но не принесли большевикам той пользы, которой от них ожидали. Затем, декретом от 11 января 1919 года изъятие хлебных излишков было заменено продразверсткой. В принципе, сдав причитавшиеся с него по продразверстке продукты, крестьянин ничего больше государству не был должен. Но практически с него эту разверстку часто требовали и дважды и трижды, в зависимости от положения с продовольствием. Кроме того, распоряжаться по своему усмотрению оставшимися у него на руках продуктами крестьянин не имел права. Продажа их в частные руки или даже обмен приравнивались к спекуляции и карались расстрелом.

В марте 1919 года отступление на крестьянском фронте пошло еще дальше. На 8-м съезде партии Ленин предложил ограбленному им крестьянину-середняку мир и союз. Но деревня к зазываниям Ленина отнеслась сдержанно. Чтобы снискать расположение крестьян, советское правительство в апреле 1919 года освобождает середняков и от натурального и от чрезвычайного революционного налогов. Освобождение

это обосновывается в декретах от 10 и 26 апреля так: те, кто были в состоянии внести эти налоги, их уже внесли. «При таких условиях невнесение остальными середняками, меньшинством, даже этих умеренных окладов налога дает основание заключить, что местные раскладочные комиссии ошибочно отнесли этих неплательщиков к средним крестьянам, а не к бедноте... Поэтому представляется справедливым прекратить дальнейшее взыскание этого налога с граждан, обложенных низкими ставками налога...»

Но облегчение для середняков «ни в коем случае не должно распространяться на богатых сельских хозяев». Они «в случае невнесения» «должны предаваться революционному суду и подвергаться суровым карам».

В Орловской губернии эта льгота распространялась на крестьян, обложенных революционным налогом не выше 1.500 рублей и натуральным — менее 60 пудов.

Таким же отступлением был и декрет от 26 апреля 1919 года, регулировавший положение кустарной и мелкой промышленности и дававший известную свободу частной инициативе.

Эти уступки не привели к миру между крестьянством и большевиками, но смягчили враждебные отношения и в какой-то степени на короткий срок нейтрализовали крестьянство, как враждебную большевикам силу. Деревня начала надеяться на улучшение своего положения. Но, после короткой передышки, большевики возобновили наступление. На это обманутая и изверившаяся деревня ответила восстаниями 1920-1921 года.

Фактически безвозмездное изъятие хлеба и травля «кулаков», в разряд которых мог попасть каждый, имевший какие бы то ни было излишки, привели к тому, что крестьяне стали уменьшать посевную площадь и переходить постепенно на натуральное хозяйство, то-есть производить столько, сколько нужно для их личных потребностей. Отсутствие удобрения, уменьшение конского поголовья, ухудшение сортов семян и т. д. привели к падению урожайности. Но продовольственные отряды, увеличивавшиеся в числе, выколачивали продразверстку, не останавливаясь ни перед чем. В 1919 году начала голодать и деревня.

21 апреля 1920 года собирание продразверстки было передано в ведение Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) и стало производиться, не только продармией, но и войсками внутренней охраны (ВОХР), а иногда и частями осо-

бого назначения (ЧОН). Во главе отдельных экспедиций ставятся заслуженные чекисты, вроде М. Лациса. Это он осенью 1920 года возглавлял набег на Среднее Поволжье, где в 1921 году миллионы людей умирали от голода.

Голод пришел в деревню в 1919 году, на полтора года позже, чем в города. Но деревенский голод был безвыходнее городского, особенно в Центральной России. О городе советская власть как-то, хоть и неудачно, заботилась. О деревне же забота была лишь в том, чтобы отобрать побольше продуктов. Когда же собирание продразверстки было передано ВЧК и началось «перевыполнение планов», положение крестьянства стало трагическим. Чекисты забирали все под метелку, до последнего зерна, отговариваясь тем, что крестьяне закапывают зерно в землю и с голоду не умрут. Но чекисты ошиблись. Крестьяне умирали голодной смертью.

Крестьянские восстания 1918 и 1919 годов были стихийны, но пассивны и редко перехлестывали через границы волости или уезда. В 1920 году деревня начинает организовываться для борьбы. Возникают Союзы Трудового Крестьянства и Братства Трудовых Крестьян. Эти союзы и братства оставались большей частью организациями местного значения. Но там, где они сумели завязать сношения с соседями и объединиться, восстания сразу приняли крупные размеры и получили организацию и вождей.

О Кронштадтском восстании, о восстаниях 1920-22 годов на Украине и в Белоруссии, о Махно и Булак-Балаховиче знают все. О них — обширная литература. О Тамбовском восстании Антонова сведений меньше и представления о нем туманны и разноречивы. О Воронежской губернии с Колесниковым, о Доне с «царским» генералом Пржевальским, кн. Ухтомским, о Ставрополе с комбригом 1-й Конармии Буденного Маслаковым, о Поволжье с начдивом 2-й Туркестанской кавалерийской Сапожковым, Серовым, Усовым, Вакулиным, Поповым, о Западной Сибири с Густомесовым, Атамановым, Токаревым, об Алтайском крае с Кайгородовым, Плотниковым, Штанниковым, — о них почти никто не знает. Это «белые пятна» истории противобольшевистской борьбы.

Вот несколько цифр, относящихся к концу 1920 и началу 1921 годов, когда эти восстания достигли своего максимума. Для Белорусии советские источники определяют количество восставши в 10.000 человек, для Украины — 40-50.000, для

Воронежской губернии свыше 20.000, Поволжья — 11.000 (цифра явно преуменьшена), Тамбовской губернии — свыше 50.000 (2 армии, 21 полк и отдельная бригада), в западной Сибири количество восставших исчислялось в сотнях тысяч, оно охватило 12 уездов в трех губерниях. Для одного только Ишимского уезда Тобольской (Тюменьской) губернии советские источники называют цифру в 60.000.

Против восставших большевистская власть бросила специальные части: батальоны, полки, даже дивизии ВЧК, ЧОН, ВОХР, автобронеевые отряды, бронепоезда, артиллерию, авиацию.

Наиболее ожесточенным и наилучше организованным было Антоновское восстание в Тамбовской губернии. Первое крупное восстание здесь произошло уже в мае 1918 года. Жители огромного села Мункач уничтожили продовольственный отряд. Карательная экспедиция с артиллерией не только усмирила село, но и увела в Тамбов несколько тысяч крестьян. Там их поставили перед выбором: расстрел или поступление в Красную армию. Поступив в Красную армию и получив оружие, они в середине июня опять приняли участие в восстании, захватив на несколько дней Тамбов. Восставала Тамбовская губерния и в 1919 году. Была кроваво усмирена. Но не покорилась.

Антоновское восстание началось 15 августа 1920 года. В этот день комитет Союза Трудового Крестьянства (СТК) «разоружил и арестовал» в селе Хитрово Тамбовского уезда прибывший туда продотряд. 19 августа отряд восставших в 150 человек занял село Каменку Кирсановского уезда. Был созван сход, на котором председатель губернского комитета СТК, Г. Плужников, огласил декларацию о целях восстания. «Антонов методично, последовательно расширял очаг мятежа. К 8 сентября 1920 года его банда насчитывала примерно 6.000 человек».

В сентябре-октябре 1920 года восстанием были охвачены 5 уездов. «К декабрю 1920 года они (повстанцы, Ю. С.) захватили почти всю Тамбовскую губернию, имея четыре крупные подвижные группировки». Антонов совершает рейды в Воронежскую, Саратовскую, Пензенскую губернии. Большевики держатся только в крупных населенных пунктах. В марте восставшие готовят захват Тамбова. Они уже воински органи-

зовались, разделены на полки и роты, обзавелись захваченной в боях артиллерией.

Коммунистам, совработникам и продотрядникам нет пощады. В одном только Тамбовском уезде весной 1921 года из 56 волостных советов было ликвидировано 54. Уничтожены тысячи коммунистов. Как сообщает один советский источник, за коммунистами «охотились».

С самого начала большевики массовым террором пытались сломить дух восставших. Уже 1 сентября 1920 года оперштаб тамбовской ЧК выпускает приказ: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор... арестовывать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом, и если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их». Сотнями берут заложников — крестьянских жен и детей, сотнями расстреливают, выжигают села.

Против крестьян Антонова собирают кулак из отборнейших частей: полк ВЧК и три полка ЧОН из Москвы, отряд ЧОН из Приволжского военного округа, интернациональные части из Казани, коммунистические отряды общей численностью свыше 6.000 человек. Стягиваются части с Западного фронта, с Кавказа, с Украины. Приходит украинская кавдивизия Дмитриенки, молдаванская Котовского. В апреле 1921 года начинается «лагерный сбор» курсантов Московского и Орловского военных округов (свыше 7.000). «Академия генштаба РККА направила в Тамбовскую губернию группу своих слушателей во главе с И. Федько».

К маю в распоряжении красного командования было уже около 50.000 отборных войск, три бронепоезда, три автоброневых отряда, несколько железнодорожных бронелетучек, несколько пулеметных отрядов на легких грузовиках и легковых машинах, авиаотряд, свыше 60 орудий и несколько сот пулеметов. Командует Тамбовским фронтом Тухачевский, только что подавивший Кронштадтское восстание. В помощь ему придан Уборевич. Начальник штаба — Какурин. И все это против вооруженных обрезами и косами крестьян Антонова.

11 июня 1921 года полномочная комиссия ВЦИК приказывает «семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать, как бандитские, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда» (приказы №№ 130 и 171). Начиная с февраля-марта 1921 года целые деревни высылаются на север или к Аральскому морю. Из Тамбовской гу-

бернии было выселено от 80 до 100 тысяч крестьян. Огромные районы превращены в пустыню.

Но несмотря на неудачи и потери, восставшие сохраняли то, что советские источники называют «живучестью» и «быстрой способностью к регенерации». Разбитые и рассеянные в одном месте, они быстро собираются в другом. Но удары их становятся все слабее. В августе тяжело ранен Антонов. Его выносят из боя, и ему удается скрыться.

Уже в конце июля большевики празднуют победу. Председатель полномочной комиссии ВЦИК в Тамбовской губернии Антонов-Овсеенко телеграфирует ЦК РКП(б): «Банды Антонова разгромлены. Шайки Богуславского уничтожены. Банда Карася вместе со своим атаманом ликвидирована...»

Но сопротивление, хотя и слабое, продолжается. В отчетах и докладах тамбовские власти в феврале 1922 года доносят в Москву, что «мелкие шайки бандитов имеют связь с крестьянством и представляют из себя опасные белогвардейские потенциальные организации» и «не исключена возможность новой бандитской волны весной т. г.». Живой и свободный Антонов не дает большевикам спать.

Наконец, в мае 1922 года, с помощью предателей, нападают на след Антонова. Вечером 24 июня 1922 года отряд чекистов окружил и поджег на окраине села Н. Шибряй избу, в которой находился Антонов. «Бандиты отчаянно сопротивлялись, произведя сотни выстрелов. Бой длился больше часа». Антонов и его брат были убиты при попытке прорваться к лесу.

Статистическое управление РККА определяет боевые потери Красной армии за 1919 год в 131.396 человек. Тогда было четыре фронта гражданской войны и Западный фронт против Польши и прибалтийских государств. На 1921 год то же управление исчисляет боевые потери в 171.185 человек. Войска ВЧК, ЧОН и коммунистические отряды в Красную армию не входили, и потери их в эту цифру, по всей вероятности, не включены. В 1921 году внешних фронтов не было. Одно только сопоставление этих цифр потерь показывает размах, ожесточенность и грандиозность войны народа с советской властью. «До самого конца 1922 года, — сообщает советский источник, — военное положение сохранялось в 36 губерниях, областях и автономных республиках страны», то-есть фактически почти вся Россия была на военном положении.

★

К НЭП'у деревня пришла разоренной и социально нивелированной. Крупные крестьянские хозяйства исчезли. Обзавелись индивидуальными наделами батраки и с.-х. рабочие. Спроса на их труд не было. Пользование наемным трудом влекло за собой опасность обвинения в «кулачестве» и поражения в правах. Рабочие и горожане, переселившиеся в деревню, тоже получили наделы. Число индивидуальных крестьянских хозяйств с 15-16 млн. в 1913 году возросло до 24-25 млн.

Деревня была усмирена и обессилена голодом. Но она не покорилась. Большевики чувствовали эту вражду, знали о ней и боялись деревни. Первый же относительно хороший урожай 1922 года возбудил их опасения. В сентябре 1922 года, на 5-м всероссийском съезде профсоюзов, Рыков уже бьет в набат: «Урожай этот выявил ту громадную опасность, которая имеется во всей системе нашего хозяйства... Опасность эта в том, что сельское хозяйство способно восстанавливаться скорее, чем наша промышленность... Один урожайный год, после невиданного голода, стремится повернуть общее положение в нашей республике в пользу крестьян и против рабочих... на протяжении 2-3 таких лет классовое экономическое значение крестьянства далеко может превзойти экономическое значение рабочего класса».

Россия до революции была земледельческой страной по преимуществу и удельный вес сельского хозяйства в экономической жизни страны всегда был выше удельного веса промышленности. Но к 1913 году, несмотря на абсолютное увеличение продукции сельского хозяйства, его доля в народном доходе сократилась до 49,7%. Страна медленно, но верно, шла по пути индустриализации.

К 1921 году продукция сельского хозяйства упала наполовину, тогда как промышленная продукция составила едва 15% продукции 1913 года. «Классовое экономическое значение крестьянства» значительно возросло. Для большевиков такое положение было опасно. Они считали, что деревня, окрепшая и почувствовавшая свою силу, опять может возобновить борьбу. Но ударить по деревне большевики сразу не могли. Они принуждены были ждать. В партии нет единогласия. Она раздираема внутренними распрями и предпочитает примирение усмирению.

То, что произошло в 1927 году, не получило, как мне кажется, достаточного освещения. Это, думается, была первая проба сил. Крестьяне, сняв урожай, перестали продавать его государству. Вместо 5 млн. тонн было заготовлено до конца года всего немногим больше 2,5 млн. В городах пришлось ввести карточки на хлеб и в деревню опять пошли продовольственные и заградительные отряды. Опять мобилизована беднота. В 1927-8 г.г. заготовки хлеба «производились отчасти в принудительном порядке... Штрафы и конфискации... действительно практиковались...»

1928 год прошел спокойно. Но в конце 1929 года наступление началось. Деревня отчаянно сопротивлялась. Наконец, на 16-м съезде партии, в июне-июле 1930 года, Сталин добился высшей власти и съезд объявляет лозунг «ликвидация кулака, как класса, на основе полной коллективизации». Место комбедов занимает деревенский актив. Все карательные силы государства сосредоточены на деревне.

Активно сопротивляться деревня была уже не в состоянии, она переходит к пассивному сопротивлению. Уничтожается скот. Уменьшается посевная площадь. Земледельческие работы производятся спустя рукава. Урожаи падают.

Правительство призывает на помощь старого, испытанного союзника и вызывает искусственный голод. Одновременно наиболее сильных и крепких крестьян массово высылают или заключают в концентрационные лагеря. Коллективизация стоила стране около 10 млн. жизней. Деревня задавлена и загнана в колхозы. Крестьяне превращены в крепостных коммунистического государства.

В течение десятилетий колхозная система хозяйственно никак себя не оправдывает. Советское сельское хозяйство зашло в тупик. В нем занято около двух пятых всего работоспособного населения. Но оно не прокармливает страну даже на полуголодном пайке: коммунистическое правительство вынуждено закупать хлеб у «капиталистов». Но отказаться от колхозов большевики не могут. Они знают, что освобождение деревни, это — конец их власти.

Ю. Сречинский

ГЕРМАНИЯ И "ЕВРОПА ОТ УРАЛА ДО АТЛАНТИКИ"

Советы всегда имели то преимущество перед Западом, что у них были и есть цели дальнего прицела, тогда как западные политики большей частью ограничивались чистым прагматизмом. В наше время, кажется, этот прагматизм достиг кульминационного пункта. В Америке, ведущей стране Запада, над всеми политиками, имевшими ту или иную концепцию дальнего прицела, одержал победу типичный средний человек, не имеющий никакой концепции и живущий в политике сегодняшним днем.

В Европе это особенно болезнено ощущается. С тех пор, как США при администрации Джонсона воздерживаются от активной политики в Европе, на старом континенте начался мучительный процесс внутренней перестройки, метания, поисков нового пути.

Среди всеобщего отсутствия политических целей и концепций на Западе, невольно привлекает к себе внимание единственный западный политик, выдвинувший такую концепцию для будущего, именно де Голль. Его концепцию Европы от Урала до Атлантики часто называют утопией и думают, что она этим достаточно охарактеризована. А, между тем, опыт нашего столетия показывает, что как раз утопии и играют в жизни народов большую и часто роковую роль.

В чем же идея де Голля?

Во время своей поездки по Польше, вызвавшей в Германии так много волнения, де Голль, кроме своих декламационных заявлений по поводу границы по Одеру и Нейсе, сделал заявления, более конкретизирующие его европейские идеи.

В грубых черта — детали не только неизвестны общественности, но, видимо, неясны еще и ее творцу, — Европа де Голля представляется в следующем виде: в центре Европы будет демилитаризованная и нейтрализованная зона, оба военных

блока, НАТО и Варшавский блок, должны быть распущены. Какие страны войдут в среднюю зону, не совсем ясно, но в нее, очевидно, должны войти объединенная Германия, Польша, Венгрия, вероятно, и Балканы. Эта нейтрализованная и полуразоруженная середина должна удерживаться в равновесии на Востоке сильной атомной державой, СССР, а на Западе двумя атомными державами: Францией и полностью оторвавшейся от Америки Англией с примыкающими к ним не вооруженными атомным оружием Италией, Испанией и Скандинавскими странами. США должны полностью уйти с европейского континента.

Те, кто называют эту концепцию утопией, приводят обычно целый ряд аргументов для подтверждения ее невыполнимости. Вот некоторые из них: Западная Германия не пойдет на нейтрализацию даже ради воссоединения, Англия не порвет с США, Польша и другие сателлиты не сумеют добиться большей независимости от Советского Союза, как того требует концепция де Голля и т. д. Однако, это поверхностные аргументы и касаются они только сегодняшнего дня. А концепция де Голля рассчитана на более далекое время.

Англия уже сейчас готова принести «европейскую присягу» и отречься от «американской ереси», если только ее допустят в европейское хозяйственное содружество, что ей с ее расстроенными финансами крайне нужно. Но де Голль зорко следит за тем, чтобы отказ от США был полным и не только на словах, но и на деле. До этого он Англию в содружество не допустит.

Теперешнее германское правительство не пойдет на нейтрализацию Германии, даже за цену объединения, но в Германии многое может измениться и, может быть, даже в непродолжительном времени. Социал-демократы находятся под все усиливающимся давлением их левого крыла, а либералы уже давно рвутся в объятия Москвы.

Гомулка твердо сказал де Голлю, что Польша не ослабит своей связи с Сов. Союзом во имя идеи нейтрализованной центральной Европы. Но не может ли случиться, что Сов. Союз даст знак Варшаве и другим восточно-европейским государствам внешне немного ослабить свои связи с Москвой, когда она найдет это нужным? Москва уже давно готова распустить Варшавский блок, если одновременно будет распущено НАТО. Для роспуска Варшавского блока уже сделаны приготовления:

страны этого блока заключили между собой билатеральные союзы.

Однако, есть один пункт, в котором план де Голля резко противоречит политике Москвы: это воссоединение Германии. Шокировав немцев не только подчеркнутым признанием границы по Одеру и Нейсе, но и, выражаясь мягко, неточным обращением с историей, де Голль тем не менее в одном пункте остался тверд: он не признал советской зоны Германии отдельным государством и продолжает настаивать на необходимости объединения Германии.* А Сов. Союз и Ульбрихт продолжают требовать признания Панкова и ставят это непременным условием «улучшения отношений» с Бонном. На Западе вообще существует широко распространенное убеждение, что Сов. Союз хочет в Европе, так же, как и США, только окончательного признания статуса кво, тишины и спокойствия, а потому интересы Сов. Союза и США совпадают, тогда как планы де Голля, направленные на изменение статуса кво, должны быть Сов. Союзу неприятны. Тем не менее, советы очень благосклонно относятся к де Голлю и, несмотря на его неуступчивость в германском вопросе, вся коммунистическая печать была весьма довольна его посещением Польши, тогда как американцев Москва хочет вытеснить с европейского континента.

Но каково сейчас расположение сил на наиболее важных участках международной политики?

США заняты исключительно Вьетнамом. Все мысли, стремления, вся энергия великой державы направлены на этот маленький уголок земли, оставляя остальной земной шар без особого внимания.

Советская и идущая у нее на поводу большая часть мировой (т. н. «прогрессивной») прессы сумела сделать из войны в Вьетнаме тяжелую моральную проблему. Однако, ей это уда-

* Биограф де Голля, Раймон Турно, выпустил в конце октября книгу под названием «Трагедия генерала». Турно сообщает, что де Голль сказал Косыгину в декабре 1966 г.: «Ах, если б только Сталин послушал меня в 1944 году». Тогда, по мнению де Голля, Германия была бы теперь разделена «естественно», т.-е. на отдельные провинции Пруссию, Саксонию, Баварию и т. д. без всякого центрального правительства, и германского вопроса сейчас бы не существовало. Турно называет этот план раздела Германии «тайной мечтой» де Голля. Но теперешний раздел де Голль считает «неестественным».

лось только потому, что американский метод ведения войны никому непонятен. Повторные заявления американского президента, что США не хотят победить, представляются европейскому сознанию странными. На вопрос о цели войны, Вашингтон отвечает: война ведется для того, чтобы побудить Ханой вести переговоры. Но европейцев смущает не только Вьетнам. Принцип «мы не должны быть сильнее своего противника» как будто хотят применить и в европейской стратегии. И это вызывает у европейцев беспокойство. Европейцы боятся, что в случае военного столкновения в Европе возникнет новый «Вьетнам».

Со стороны США европейской политической утопии де Голля противостоит только пассивное желание удержать все в неподвижности и соединить несоединимое: договор с Сов. Союзом о разделе между этими двумя державами атомного могущества и кое-какое сохранение союза с западно-европейскими державами. Американский уполномоченный в комитете по разоружению Фостер ясно указал, что договор о нераспространении атомного оружия вызовет эрозию НАТО, но он лично считает этот договор важнее НАТО. В Вашингтоне официально считают нужным поддерживать иллюзию, что то и другое совместимо. Но верят ли там всерьез в эту иллюзию? А когда для НАТО начинают искать политического задания — как теперь в комитете Армеля, — то все, в конце концов, скатывается к старому лозунгу «ослабления напряжения» и к той же западно-восточной Европе **вместе с коммунистами,** т.-е. по существу к плану де Голля.

Здесь мы подходим вплотную к положению в Германии, т.-е. к одной из самых важных европейских проблем. Германия попрежнему является главной мишенью травли со стороны советского блока, а также инфильтрации изнутри. Ее внутренний развал идет быстрее, чем этого можно было ожидать еще в начале этого года. И здесь тактически создаются сначала известные силовые центры. Главный такой центр теперь — Берлин. Советы поняли, что ультиматумы не принесут успеха. Теперь они стараются разложить Берлин изнутри.

В Берлине удалось создать небольшую, но очень активную группу молодежи, прежде всего студентов, систематически расшатывающую демократический порядок. Конечно, было бы примитивно думать, что вся эта бесчинствующая молодежь — выученные и засланные агенты. Агенты составляют меньшин-

ство в меньшинстве. Известные анархические течения охватили сейчас многие страны. Однако, как хорошо организованы эти анархисты показали антивьетнамские демонстрации, прокатившиеся в один день по всем большим городам некоммунистического мира от Вашингтона до Токио. Анархизм этот — странная смесь пресыщения, скуки, неспособности справиться с свободой, извращенного морализирования, просто хулиганства и, наконец, тайной жажды власти. Если в Берлине хулиганствующим студентам удалось сорвать более продолжительную продажу в субботу в универсальных магазинах, то это сильно подняло эту молодежь в собственных глазах. До этих «часов продажи» им, конечно, нет никакого дела. Вся эта молодежь, кажется, страдает комплексом неполноценности, но одновременно избытком силы, энергии и денег, которых им некуда девать.

Однако, этой молодежи в Берлине уже удалось больше, чем оскорбить персидского шаха или сорвать продажу в субботу после обеда: ей удалось свалить правящего бургомистра Альберца. Это их первая политическая победа.

Русскому наблюдателю странно видеть, как «передовая» Европа, в лице части своей молодежи, повторяет в 20-м столетии развитие «отсталой» России 19-го столетия. Черты анархизма Бакунина и терроризма Нечаева и Ткачева просвечивают в сочетании внутренней дикости и полной моральной безответственности (несмотря на морализирование) с удивительной внешней организованностью. Тут и листовки коммуны 1 под руководством студента с символической фамилией Теуфель (чорт) — невольно вспоминаются «Бесы» Достоевского, — призывавшие после пожара универсального магазина в Брюсселе поджигать магазины, взрывать мосты и казармы во всей Европе. В листовках можно было прочесть такие слова:

«Бельгийские товарищи научили нас, как делать Вьетнам в каждом большом европейском городе... Весело смотреть, как горят пресыщенные бюргеры!» В брюссельском пожаре погибло в огне 370 человек, среди них много женщин и детей. Тут и откровенные признания председателя СДС (социалистического студенческого союза Германии, который не следует смешивать с социал-демократическим студенчеством) Рейхе, что и шах и социальные вопросы — только предлог для беспорядков, а цель их совсем иная. Что это за цель станет ясно, если бросить взгляд на книжные полки в бюро СДС: на них

стоят мирно рядком сочинения Ленина, Сталина, Ульбрихта и Мао-Дзе-дуна. Идеологом и идолом левого студенчества стал 69-летний американский профессор немецкого происхождения Герберт Маркузе, который читает теперь, как гость, лекции в Берлинском университете. Маркузе выдает свой марксизм за марксизм нового типа, но на самом деле это немного вариированный ленинизм. Маркузе признает, что сейчас на Западе нет таких недовольных классов, которые бы спонтанно могли произвести революцию. Поэтому он считает, что революционеров надо создавать искусственно, воспитывать профессиональных революционеров. Он проповедует революционный террор и надеется, что профессиональными революционерами смогут стать студенты, которых он призывает к «тотальной революции».

Перефразированный «Катехизис революционера» довольно ясно проглядывает в высказываниях этой молодежи. На сентябрьском съезде СДС во Франкфурте на Майне победили радикальные взгляды берлинского лидера СДС Руди Дучке (перешедшего на Запад из советской зоны), и было постановлено начать организацию партизанской войны в Западной Германии. Насколько это им удастся — другой вопрос. Первая проба должна будет состояться в том же Берлине, запланирован разгром издательства Шпрингер, разгром киосков, продающих газеты этого издательства, терроризирование разносчиков и разносчиц этих газет. Шпрингер имел «дерзость» построить высотное здание своего издательства у самой берлинской стены, как символ свободы слова. Для левой молодежи это, конечно, невыносимая провокация. Одна попытка поджечь здание издательства уже была, но студенты отступили не перед полицией, а перед рабочими, которые, вооружившись железными ломами, готовы были защищать издательство.

Интересное социологическое развитие настоящего времени заключается в том, что современные левые революционеры боятся рабочих. Рейхе горько жаловался, что у СДС имеются такие прекрасные связи с писателями и другими интеллектуалами, но нет никаких связей с рабочими. «Мы должны нести наши идеи в рабочие массы», — сказал он. Это — цитата из «Что делать?» Ленина. **Марксистская** революция всегда была делом интеллигенции, а не рабочих и не крестьян. Но если в то время, когда социальный вопрос еще не был решен, среди этой интеллигенции было много заблуждавшихся идеалистов,

искренне желавших улучшить тяжелое положение рабочих и крестьян, то в наше время, когда рабочие живут материально часто лучше интеллигенции, этот мотив отпадает. Кроме того, марксистские революционеры наших дней прекрасно знают, что в коммунистических странах рабочие живут гораздо хуже, чем на «капиталистическом» Западе. Рабочие, как таковые, как люди, им теперь откровенно безразличны, они им нужны, как материал. И, может быть, кое-что им удастся сделать, особенно в Руре, где сейчас кризис в добыче угля.

Прежними революционерами из дворян и интеллигенции часто руководили идеалистические побуждения, и они жертвовали многим, иногда жизнью. Теперешняя революционствующая молодежь ничем не жертвует и не рискует, она может хулиганить почти что безнаказанно. В ее внутренней опустошенности и извращенной тяге к кнуту есть и настоящая тоска по авторитету и идеям, которые бы от них чего-нибудь требовали, за которые можно было бы, если надо, отдать жизнь. Современная цивилизация боится ставить требования молодежи, она дает молодежи слишком много всего, буквально топит ее в развлечениях и наслаждениях, но не ставит перед ней никакой жизненной цели, не говорит ей, что удовольствия только тогда становятся настоящими, когда наряду с ними есть и воздержанность и строгость и даже, не побоимся назвать это «устаревшее» слово, аскетизм. Свобода и авторитет не исключают друг друга, наоборот, эти противоположности должны существовать одновременно. Если не будет авторитета, то исчезнет и свобода, наступит анархия, а потом на смену ей придет тирания.

Особая трагичность современного положения заключается в том, что активная молодежь в коммунистических странах и в свободном мире идут вразрез друг другу. В то время, как молодежь под коммунизмом все больше отворачивается от диктатуры и марксистской идеологии, рвется к свободе и ищет Бога, здешняя молодежь, вернее некоторая, но очень активная ее часть, с мазохистской извращенностью чувств и мыслей рвется к тирании. Большинство же молодежи, к сожалению, пассивно. Революции всегда делало меньшинство, и даже небольшое меньшинство. Кто выиграет гонку, молодежь Востока или молодежь Запада? Беда в том, что расшатать демократию легче, чем расшатать диктатуру.

Кроме радикальных студентов и их засланных коммуни-

стами руководителей Берлину грозит другая опасность. Берлин держался внутренне тогда, когда он понимал сам себя, как выдвинутый форпост свободы и демократии, тогда, когда берлинцы верили, что Запад идейно активен. Но со времени пассивного принятия «стены», стало ясно, что Запад и в идейном смысле перешел на пассивные позиции. Он не пытается даже пропагандировать идеи свободы и демократии (а-то как бы это не нарушило всеобщего покоя!). Он старается только кое-как защищать эти идеи там, где они еще осуществляются. Но такая идейная позиция заранее обречена на неудачу.

На Бэрри Голдвотера очень нападали за его слова, что свобода и рабство не могут в нашем, ставшем маленьким, мире бесконечно существовать бок о бок. В конце концов, победит либо одно, либо другое. А, между тем, он совершенно прав. То, что не растет и не развивается, не остается на месте, а идет на убыль. С тех пор, как Запад отказался от мысли нести идеи свободы в страны диктатуры и рабства, Берлин превратился из авангарда свободы в ее арьергард. Быть арьергардом, и к тому же еще островом, психологически чрезвычайно трудно. В общей болтовне об «ослаблении напряжения» часть берлинских политиков начинает судорожно искать «новую роль» для Берлина. Какая же это может быть «новая» роль, кроме старой идеи «мостостроителей», идеи «построить мост» между коммунистическим Востоком и Западом. А отсюда и наблюдающееся у левого крыла правящей социал-демократической партии стремление к сближению с Москвой и даже с Панковым, склонность пойти навстречу их требованию, чтобы Берлин стал «отдельной политической единицей». Новый правящий бургомистр Берлина Шюц твердо заявил, что связь Берлина с Бонном не может быть нарушена. Однако, есть сведения, что Москва готовит в близком будущем решительные шаги для достижения своей цели: превращения западного Берлина в «самостоятельную политическую единицу». Абрасимов уже начал обвинять Бонн в «провокации» и грозить «контрмерами», это пропагандное прикрытие собственных намерений. Берлину предстоит длинная горячая зима.

Берлин — особо экспонированный пункт Германии, но и во всей Германии «новая восточная политика» зашла в тупик, в который она не могла не зайти. Если вначале западная политика старалась изолировать «ГДР» внутри восточно-европейского блока, то теперь Панков уже «включен в политику ослаб-

ления напряжения», наши политики чуть не клянутся, что они никогда и не хотели его изолировать. Впервые со времени конца войны канцлер Западной Германии принял письмо от «министр-президента» «ГДР» Штофа. И прежде «министр-президенты» советской зоны писали канцлерам в Бонн, но как Аденауэр, так и Эрхард отсылали письма обратно не вскрывая. Установка была: от узурпаторов писем не принимают, и в разговоры с ними не вступают. Теперь принята другая формула: с узурпаторами мы переписываемся и готовы разговаривать, но признания в смысле международного права эта переписка не означает.

В самом деле, не означает? В прессе не раз можно было прочесть, что с призраками переговоров не ведут; того, с кем ведут переговоры, уже как-то признали, если не формально, то фактически. Западная сторона снова сделала уступку, а со стороны Востока никакой уступки не сделано. Кизингер оправдывает и объясняет свою переписку со Штофом тем, что он хочет добиться облегчения положения жителей Восточной Германии, облегчения их связи с Западной Германией, поездок для них и т. д. Но на самом деле контроль над восточными немцами, трудности им чинимые за время этой переписки не только не уменьшились, но, наоборот, **увеличились.** Никогда еще диктатура в Восточной Германии не была столь жесткой, как именно последние месяцы. В Бонне не могут этого не знать. На все попытки начать переговоры по конкретным вопросам, Штоф отвечает: сначала Бонн должен признать «ГДР». Какой же смысл в этой «новой восточной политике», которая была объявлена с такой помпой? Разве что доказать **западным** державам, что не Бонн виноват, если с «ослаблением напряжения» ничего не получается. Но достаточное ли это основание для подрыва своих собственных позиций?

Мы снова стоим перед характерным для Запада явлением: начата новая, весьма рискованная политика без всякой политической концепции, без стратегии дальнего прицела. Правительство Германии еще меньше в состоянии объяснить смысл и цели «новой восточной политики», чем правительство США **способ** ведения войны в Вьетнаме. Поэтому в народе растет недоумение и растерянность.

А как к этому относится печать? Ведущая «прогрессивная» пресса США настаивает на выполнении требования Ханоя: безусловного прекращения бомбардировок Сев. Вьетнама. В Гер-

мании в прессе, радио и телевизии все чаще высказывается мнение, что Бонн во имя «ослабления напряжения» должен признать Панков. Ни в США, ни в Германии эти голоса печати не выражают мнения большинства населения, но и в Ханое и в Панкове создается впечатление, что им сто́ит только подождать, и все будет по их желанию. В Германии кампания прессы достигла таких размеров, что Кизингер нашел нужным назвать эту группу людей «партией признания». Скоро слова «партия признания» придется писать без кавычек: вскоре должно состояться основание новой партии под названием «Новая демократическая левая», в ее программе стоит признание «ГДР», а демократического в ней только одно слово в ее названии, тезисы ее почти совсем коммунистические. Интересно, что наши политики намекнули запрещенной коммунистической партии, что ее можно снова разрешить, если она сделает вид, что это **новая** коммунистическая партия и заявит, что она придерживается конституции. Макс Рейман, лидер запрещенной партии, гордо отверг этот выход: он ждет с уверенностью разрешения прежней коммунистической партии и не отказывается от своих планов установить в Западной Германии «диктатуру пролетариата».

Для кампании в прессе чрезвычайно поучителен пример Себастьяна Хафнера. Известный журналист Хафнер покинул после войны Англию, где был в эмиграции во время господства Гитлера, потому что, по его мнению, Англия слишком мягко относилась к режиму Ульбрихта. Он вернулся в Германию и стал известен, как ярый антикоммунист. Однако, после постройки берлинской стены Хафнер начал осторожно менять свои позиции. Вероятно, он решил, что он уже стар для новой эмиграции, на сей раз в Америку. Конечно, Хафнер может оказаться плохим пророком, но так или иначе, в течение всего нескольких лет он превратился в наиболее далеко идущего прокоммуниста. Он не только ратует за признание «ГДР», но и утверждает, что убийства на берлинской стене — не убийства, и тот, кто утверждает, что это убийства, занимается «травлей ГДР». А недавно он потребовал в печати реквизиции имущества издателя Акселя Шпрингера за антикоммунистическое направление его газет. Хафнер называет это направление «травлей коммунизма», считает, что высказывание антикоммунистических мнений должно быть запрещено, а тот, кто издает газеты такого направления, должен быть лишен имущества. На самом

деле сейчас идет не «травля коммунистов» со стороны газет Шпрингера, а дикая травля Шпрингера, в которой недавно принял участие и известный писатель, но политически слепой человек, Гюнтер Грасс.

Голоса тех, кто не только не требует признания «ГДР», но и против переписки Кизингера со Штофом, теряются, и получается так, что Кизингер должен только обороняться против критиков слева. Создается впечатление, что Кизингер стоит на крайне-правых позициях, отказываясь признать «ГДР», и многие, недовольные «новой восточной политикой» должны защищать эту нелепую политику, чтобы не произошло еще большего сдвига влево.

От США требуют безусловного прекращения бомбардировок Сев. Вьетнама взамен на начало переговоров «через 3-4 недели», причем это обещание дает У Тан, а не сам Хо-Ши-Мин. От Бонна же Москва и Панков требуют формального признания «ГДР» и обещают взамен туманное «улучшение отношений» и, может быть, переговоры. В обоих случаях от западных держав требуется конкретная уступка в обмен на совершенно неосязаемое обещание чего-то неопределенного.

Та же политика ведется и на Ближнем Востоке. Вероятно, по совету Москвы, арабы стали намекать на то, что, пожалуй, были бы готовы пойти на переговоры, но, конечно, только после того, как Израиль выведет свои войска из оккупированных территорий и притом без всяких условий. У Израиля есть только одно преимущество перед США и Германией: у него нет **пораженческой** прессы.

Но вернемся к нашему исходному пункту: к «Европе от Урала до Атлантики». В последних дебатах бундестага, прижатый к стене вопросами о смысле «новой восточной политики», Кизингер прибег к де-голлевскому слогану об объединенной восточно-западной Европе. В Америке тоже время от времени такие рецепты прописываются для Европы. Это звучит хорошо, и, как кажется, пока ни к чему конкретному не обязывает. Но это только кажется. Такие лозунги имеют свойство получать самостоятельное существование и облекаться плотью в совершенно неожиданном виде для тех, кто их сначала пустил в ход.

Спросим себя, как же обстоит дело с Советским Союзом? Верно ли, что он только заинтересован в сохранении статуса кво в Европе? Но ведь Москва не отступает и не отступит от своего требования признания «ГДР», как отдельного государ-

ства. И горько заблуждаются те, кто думают, что достижение этой цели есть вершина желания Сов. Союза. Признание «ГДР», как независимого государства, это только переходный этап, укрепление того узкого базиса, с которого может произойти захват коммунистами всей Германии. Ульбрихт говорит об этом ясно: объединение Германии может произойти только, если она вся станет «социалистической».

Было ли бы такое объединение Германии приемлемо для де Голля? Не исключена возможность, что да. Националист де Голль не верит, что такая большая нация, как немецкая, согласится навеки быть разделенной, и видит в «неестественном» разделе источник всяческих беспокойств в будущем, а потому он предпочел бы видеть ее воссоединенной и удовлетворенной. Но так как де Голль не придает идеологиям значения, то его, вероятно, мало бы обеспокоило под каким идеологическим знаком произошло бы это объединение. Он только не хотел бы, чтоб такая объединенная Германия полностью подпала под власть Москвы, не хотел бы увеличения **мощи** Москвы. Но и в самой Германии широко распространено убеждение, что объединенная коммунистическая Германия смогла бы вести независимую от Москвы внешнюю политику, т. к. была бы сильным государством. Было бы неудивительно, если бы и де Голль так думал.

Но Москва знает, что это только иллюзия. Она знает, что без американцев в Европе не было бы ей противовеса, и что такая Европа от Урала до Атлантики была бы у нее в руках. Утопичность Европы де Голля заключается не в ее невыполнимости, а в мысли, что **такая** Европа осталась бы свободной. Оттого Москва и благосклонна к де Голлю, а Вашингтону дает понять, что она заинтересована только в сохранении статуса кво.

Но если де Голль не верит в силу «идеологий», то он не может быть слеп в отношении расстановки сил. Однако, здесь он, видимо, как и многие американцы, надеется, что красный Китай окажется другим противовесом и уравновесит мощь Сов. Союза с другой стороны. Из этих соображений де Голль, может быть, даже хочет усиления Китая и уже из этого одного он против войны американцев в Вьетнаме. Недавно добросовестно работавшая английская военная комиссия установила, что ни Китай, ни Сов. Союз не усиливают своих войск на их общей границе, но что Сов. Союз непрерывно усиливает свои военные

силы на Западе, а Китай на границе с Вьетнамом. В Вьетнаме обе коммунистические державы действуют рука об руку. Но Запад продолжает строить свою политику на уверенности в том, что между Сов. Союзом и Китаем лежит пропасть. Кастро как-то раз сказал насмешливо двум немецким журналистам: «Запад очень легко обмануть. Запад верит словам и обращает мало внимания на дела». Кастро, к сожалению, прав.

«Европа от Урала до Атлантики» не может быть осуществлена, пока американцы стоят в Европе и пока они этой Европы не хотят. Только их уход явится первой предпосылкой такой Европы. Вашингтон дает заверения, что Европа в его военном планировании стоит на первом месте и в случае войны в Европу будут даже оттянуты войска из Вьетнама. Но Америка может потерять Европу без единого выстрела, если не только Франция, но и другие европейские страны, разочарованные стерильной политикой США, их постоянными попытками договориться с Сов. Союзом за счет европейских союзников (как, например, в договоре о нераспространении атомного оружия) попросят американцев покинуть европейский континент.

Пассивное присутствие американских дивизий на европейском континенте не заменяет активной европейской политики со стороны США.

В. Пирожкова

О МЕТАФИЗИЧЕСКОМ ЛЕГКОМЫСЛИИ

Человек, хочет он этого или не хочет, есть прежде всего существо духовное, а не только природное и социальное. Рожденный из лона матери-природы и подвергающийся всю жизнь многообразным социальным влияниям, он, тем не менее, не исчерпывается своими природными данными или социальными функциями, в контексте которых он живет и действует. Ибо в человеке есть нечто, не определяемое в природных и социальных категориях — в нем скрыта некая загадка бытия, как бы мы это «нечто» не называли — «свободная воля», «образ и подобие Божие», «искра Прометеева огня», или «сверх-я», или «экзистенция».

Иначе говоря, человек есть существо метафизическое, корнями своими уходящее в неисследимые глубины и вершинами своими соприкасающееся с «мирами иными», — с царством Духа. Для тех, кто не ощущает этой врожденной метафизичности человека, сама постановка темы о «метафизическом легкомыслии» ничего не говорит. Но статья эта обращена прежде всего к тем, кто живо ощущает, или хотя бы смутно чувствует метафизичность природы человека, его коренную отличность (при наличии явной общности) от всех остальных тварей.

Отсюда рождается то, что Шопенгауэр называл «метафизической потребностью» человека — прежде всего религия, напоминающая человеку о Вечном; искусство, магическое зеркало которого обладает очарованием, трудно поддающимся рациональному объяснению; и, конечно, философия, ставящая вопросы о смысле бытия, прежде всего — человеческого бытия.

В данной статье под «метафизикой» мы имеем в виду не только метафизические системы, а метафизическую потребность человека, из которой вырастают также метафизические системы. Лишь очень немногие умы способны к метафизическому умозрению, и многие философы, по складу своего мышления, отнюдь не метафизичны. Но метафизическая по-

требность врождена человеку. Вопросы о начале начал, о конечной цели и смысле бытия предносятся человеку, хотя бы в бессознательной форме.

Основой метафизики, в этом смысле, является ощущение запредельного бытия, не данного в обычном опыте, но предощущаемого мыслью. Это основа — мысленное ощущение реальности трансцендентного. На этом ощущении основывается религия, по крайней мере мистическая ее сторона. Божество всегда ощущалось, как некая запредельная, и в то же время близкая нам первореальность.

Что человек есть существо метафизическое, видно из того, что никогда не было народов и культур без религии, хотя бы в примитивной или извращенной ее форме. Именно поэтому чистый атеизм психологически невозможен и вырождается всегда в то или иное идолопоклонство.

Можно, конечно, истолковывать и религию, и искусство, и философию как некие «иллюзии», как это делают последовательный материализм и атеизм. Но никто еще не дал удовлетворяющего разум объяснения непреодолимой и неизбежной силы этих «иллюзий».

Но мы исходим из положения, что наука, религия, искусство и философия являются различными попытками проникновения в сущность, в смысл бытия, то-есть, что в них человек по разному проникает в первореальности, океаном которых он окружен и которые он вмещает в себе.

И тогда позволительно поставить вопрос: почему же взор человека обыкновенно бывает столь прикован к окружающей нас конкретной, эмпирической, не-метафизической реальности? Почему мы бываем настолько погружены в мир деловой суеты и тревожащих забот, что только в редкие моменты помним о тех загадках, которые окружают наше бытие и, прежде всего, — о загадке нашего собственного бытия? Мы редко помним о реальности смерти (хотя абстрактно мы все знаем, что умрем), мы редко прислушиваемся к голосу совести, и еще реже спрашиваем себя, откуда берется в нас это удивительное свойство быть зрителем и судьей самих себя?

Имея в виду эту прикованность нашу к внешнему, эмпирическому миру и эту обычную глухоту к основным вопросам бытия, — прежде всего к вопросу о неминуемости смерти и о смысле человеческой жизни, — Шопенгауэр и назвал это житейское умонастроение «метафизическим легкомыслием».

Но если бы человечество вообще забыло о том океане мировых и человеческих загадок, по которому мы все плывем, если бы проклятые вопросы о смысле бытия вообще не предносились человеческому сознанию, то человек перестал бы быть человеком. Ведь только человек способен ставить вопросы о высшем основании бытия, и, в первую очередь — своего собственного бытия, мучиться этими вопросами, помнить о своей смертности и о мистерии Вечности. Недаром одним из синонимов человека является эпитет «смертный».

О незаглушимости этой метафизической потребности свидетельствует прежде всего религия. Еще Геродот заметил, что нет народов и культур без религии. Храмы, монахи, священники, религиозные обряды и таинства, молитвы говорят о том, что метафизическая потребность глубоко заложена в человеческой природе. Человек есть существо религиозное, верящее в Бога или в идола.

Но человек был назван также «мыслящим существом» ("homo sapiens"). И в достаточно развитых культурах (примерами которых могут служить в древние времена культуры Индии, Китая и т. д.) всегда существовали свои «мудрецы», которые стремились дать удовлетворяющие разум ответы на вопросы о происхождении и высшей цели человеческого бытия. Только в самых примитивных культурах люди удовлетворялись слепой верой (или суеверием).

Лишь в позднейшей стадии своего развития человеческий разум стал склоняться к отрицанию бытия высших миров и видеть свою цель в познании эмпирического бытия — природы и истории. Как известно, основатель позитивизма Огюст Конт выдвинул на этом основании свою знаменитую теорию о трех стадиях развития человеческого разума — стадиях религиозной, метафизической и позитивно-научной.

Но, вопреки Конту, религия и метафизика не исчезли с ростом человеческого познания и с прогрессом цивилизации. Они приобрели лишь новые формы. Хотя религиозная вера не имеет в наше время такого массового охвата, какое она имела в Средние Века, все же усилия воинствующего атеизма не смогли привести к смерти религии в сердцах значительного меньшинства населения тоталитарных стран. А давно похороненная метафизика ожила в новых, глубоких и смелых построениях Анри Бергсона, Макса Шелера, Самюэля Александра, Лосского, Тейара де Шардэна, Бердяева и многих других современных

философов. В предреволюционной России можно было наблюдать любопытный и наводящий на размышления факт: в то время, как широкие народные массы отходили от религиозной веры, в элите творческой интеллигенции религиозная вера и религиозная метафизика получали все большее распространение. Тем не менее, нельзя отрицать того факта, что религия и метафизика в наше время дискредитированы в глазах широких масс, особенно в полуинтеллигенции.

Обобщающе говоря, утеря религией и метафизикой их прежнего широкого влияния явилась следствием необычайных успехов современной науки и техники. С этим связан тот психологический факт, что многие, отвергнув традиционную религию, уверовали в творческий гений человека. Вера в человека, в человеческий, потенциально всемогущий гений, стала заменять былую веру во всемогущего Творца. Человек почувствовал себя самодостаточным существом, не нуждающимся в религии и метафизике. Если религия — праотец познания, а философия — мать всех наук, то современная наука предала своего праотца — забвению, и свою мать — отрицанию. «Дети» восстали на своих родителей и свергли их с их былого престола.

Человек, чувствовавший ранее себя сыном Бога-Отца, восстал на отца и убил его. Фрейд, со своей точки зрения, справедливо видел сущность религии в «Комплексе Эдипа», который, в ранней стадии, склонял человека к поклонению отцу, а затем к отвержению его. Эта «эмансипация» человека — результат длительного и мучительного процесса, коренящегося (в контексте нашей европейской культуры) в эпохе Ренессанса. Ибо именно эмансипация человека, возвещенная Ренессансом, привела к современному овладению силами природы посредством технического гения человека. Эта современная анти-метафизическая тенденция привела к утрате ощущения запредельной реальности — поскольку весь мир, включая человека, представляется теперь принципиально познаваемым. В этом — корень обострения того «метафизического легкомыслия», о котором говорил Шопенгауэр.

★

Одна из главных причин этого метафизического легкомыслия заключается в неверии в иные, высшие миры, и в исключительной приверженности к нашему миру эмпирической

действительности. Это есть, конечно, одна из форм неверия в Бога.

Необычайные успехи современной науки и техники, особенно поразительные, если сравнить их с прежними эпохами, — «религиозными» или «метафизическими», — наводят на мысль, что реальность исчерпывается сполна эмпирической действительностью, и что нужно все внимание обращать на этот, «посюсторонний» мир.

Подобные успехи (так, примерно, рассуждает современный обыватель) стали возможны лишь после того, как человеческий разум перестал доискиваться начал и концов всех вещей, а стал на твердую почву научного подхода к эмпирическим явлениям. Большинство духовно-рядовых людей в наше время как бы загипнотизированы успехами современной техники. Им кажется, что найдены, наконец, эфективные пути овладения материей (особенно в форме электронной техники), что в мире нет более принципиальных загадок.

И это эмпирическое умонастроение препятствует тому «повороту глаз души внутрь себя», в котором Платон видел подлинный путь к самопознанию. При этом та истина, что для овладения силами природы человек должен стоять выше природы, обычно не сознается.

Что касается человеческой души, то современный психоанализ, в глазах современного просвещенного обывателя, как бы разложил душу на составляющие ее комплексы, находящиеся «под» сознанием. Тем самым, психоанализ лишил душу ее былого мистического ореола. Под влиянием психоанализа многие стремятся познать себя посредством осознания тех комплексов, которые мешают нормальной деятельности души. Собственно, они даже не стремятся познать самих себя, а лишь «выправить» неправильно поставленные комплексы.

Мы не утверждаем, что большинство современных людей руководятся подобными рассуждениями, но нам думается, что таков, в общих чертах, ход их подсознательных убеждений.

Этот «легкий» (хотя не исключающий наличия трудных технических проблем) взгляд на мир имеет свою заманчивость для людей, инстинктивно отталкивающихся от интроспекции и от напоминаний о высшей, духовной реальности, — словом, от всего того, что мешает нам чувствовать себя удобно в этом мире, от всего того, что неподвластно рассудку, и что таит в

себе иррациональные, или, если угодно, сверхрациональные, загадки.

Это, привлекающее многих, удобство эмпирического образа мышления коренится в том, что целое удобно представлять себе, как сумму частей, что частями можно «манипулировать», причем принципиально возможно ставить объекты внешнего мира в такие условия, при которых желательные последствия будут вызываться соответствующими причинами.

Механистический образ мышления освобождает человека от власти над ним сил природы. Без механистического образа мышления, человек не мог бы создавать орудий, посредством которых он преобразует окружающую среду сообразно своим нуждам. «Машина» есть ни что иное как, ставшее автоматическим, орудие преобразования природы. Развитие способности человека к созданию орудий и машин привело к невиданной ранее степени господства человека над силами природы.

Редко кто задумывается, однако, об оборотной стороне этой медали. Ведь человек может овладевать силами природы лишь при условии, что он сам стоит «над» силами природы. Детерминистически-механистическое мировоззрение правомерно лишь при условии не полной детерминированности и не полной механистичности самого человека. Иначе говоря, человек способен обозревать цепь причин и следствий именно потому, что сам он — вне этой цепи. Человек — существо прежде всего целенаправленное, подчиненное иной детерминации, иному порядку бытия.

Но, повторяю, что эта (сверх-механистическая) предпосылка механистического мировоззрения редко сознавалась, — по крайней мере, детерминистами и материалистами. Именно в силу этого метафизического недомыслия, механистическое мировоззрение обычно распространялось и на человека, на его внутренний мир. Типичным теоретическим выражением этого образа мышления явилась так называемая «ассоциативная психология», в которой связь между представлениями и комплексами мыслилась на подобие связи между явлениями внешнего мира — то-есть, как связь случайная (с точки зрения ее цели), хотя и строго детерминированная в плане причинном.

Иначе говоря, механистическое мировоззрение стремилось понять органический мир по образцу мира неорганического, и психическую жизнь — по образцам биологии. Еще иначе говоря, механистическое мировоззрение склонялось к «биоло-

гизму» в психологии, и к «биомеханике» в биологии. При таком подходе, все запредельное изгонялось не только из мира мертвой материи или органической жизни, но также из мира внутреннего — из психологии.

Психоанализ, конечно, имеет огромные заслуги в деле преодоления мертвящего рационализма в психологии, — уже тем, что он указал на скрытые первоначально от рассудка глубины душевной жизни, и исследуя эти глубины. Но классический психоанализ (фрейдизм), оперирует все же детерминистическими методами, отрицая, в своих философских обобщениях, свободу воли и даже целенаправленность комплексов. Психоанализ имеет тенденцию к механизации душевных комплексов, тем самым подрывая свое право называться «психологией глубин».

Существует коренное отличие между метафизическим познанием и метафизическим действием. Метафизическое познание направлено на трансцендентную реальность, оно есть всегда «трансцензус», выход за пределы себя. Метафизическое же действие исходит из этих трансцендентных реальностей, воплощая их в эмпирическом, предметно-осязаемом бытии.

Когда, например, я ощущаю подлинную жалость к человеку, то эта моя жалость рождается из метафизических (метапсихических) источников, хотя и преломляется в наших эмоциях, а не в разуме. Жалость есть уже метафизический акт. Но жалость ощущается не как проявление моего сознательного «я», а как нечто непроизвольное, — как эмоция высшего порядка, «охватывающая» нас. Или, когда я переживаю вдохновение, то оно также приходит к нам откуда-то свыше, хотя нередко требуется усилие воли, чтобы вызвать вдохновение. Вдохновение как бы «осеняет» нас. В акте молитвы так же самое важное (как это знают религиозные люди) — чтобы наша молитва была «услышана Богом», чтобы она сопровождалась чувством живого общения с Богом. Этого, повторяем, нельзя достичь никакими сознательными усилиями нашего «я», хотя такие усилия так же необходимы, как предварительные условия наступления благодати. Даже наши творческие мысли скорее «осеняют» нас, чем «выдумываются» нами. Хорошо говорит об этой непроизвольности всякого творчества Гёте: «Размышления одни не помогают мысли. Хорошие идеи приходят к нам, как вольные Божии дети, и говорят нам: ‘вот мы’».

★

Физика на наших глазах переходит в метафизику, механистическая биология — в усмотрение первофеноменов жизни, и психология — в метапсихологию. «Наше знание материи одухотворилось, наше знание духа — материализовалось», говорит по этому поводу нео-позитивист Бертран Рассель. Но это и означает, что наука, на опытных путях, приходит к усмотрению метафизических корней эмпирического бытия. Тем самым, традиционные проклятые вопросы о смысле жизни приобретают новую значимость, ибо, если был бы прав материализм, для которого душевная жизнь как бы «эпифеномен», «надстройка», — то и вопросы о смысле человеческой жизни имели бы чисто субъективное значение, не имея опоры в строении бытия.

Но если эмпирическая реальность «струится» из метафизических источников, то, значит, оправдана и метафизика, имеющая дело с духовными реальностями. Это еще не гарантирует благополучного разрешения всех проклятых вопросов, но дает им метафизическую опору. Это значит, что та духовная реальность, которая открывается нам в нашей внутренней жизни, — чем-то сродни метафизической сущности бытия. Тогда нет более оснований считать нашу душевную жизнь чисто субъективным эпифеноменом, — она оказывается причастной всемирному бытию, будучи откровением изнутри высших реальностей. Иначе говоря, в наших душевных борениях и муках мы имеем дело с самим бытием, возвысившимся до степени самоосознания. Этим преодолевается кошмар бессмысленности мироздания. Но это с тем большей настоятельностью ставит вопрос о положительном смысле бытия — о вечном смысле нашей временной земной жизни.

★

Обычно, в силу почти стихийного материализма, укорененного во многих из нас, мы считаем «действительно реальными», главным образом, вещи и явления внешнего, предметного мира. Внутренний же свой мир, наши душевные переживания, многие считают какой-то вторичной, производной реальностью, — несмотря на то, что если мы воспринимаем что-нибудь непосредственно, то именно эту свою внутреннюю реальность.

Здесь не место опровергать этот стихийный материализм.

Но остается фактом, что, если явления внешнего мира даны нам внешней своей стороной (отсюда и термин «явление»), то собственную душевную жизнь мы воспринимаем внутренне, из глубины. Наша душевная жизнь обладает третьим измерением — глубины.

Глубинность душевной жизни лучше всего усмотреть из той своеобразной внутренней реальности, которую мы называем нашим «я». Наше «я» является координирующим началом и все наши проявления исходят от «я», или, по крайней мере, соотнесены с «я». Тем не менее, мало кто задумывается над сущностью этого «я». Фихте как-то остроумно заметил, что большинство людей готово считать себя скорее куском лавы с луны, чем своим собственным «я». Это невнимание к собственному «я» (отлично уживающееся с практическим эгоизмом и эгоцентризмом) объясняется тем, что наше «я» — необъективируемо. Его нельзя уловить, сделать «предметом» познания. «Глаз не видит Тебя, ибо Ты — зрачек моих глаз» (Упанишады). Нет ничего более интимно-близкого и в то же время более загадочного, чем наше «я». Но это указывает именно на то, что наше «я», будучи интимным, в то же время трансцендентно сознанию. «Бытие 'я' настолько же непосредственно дано, насколько непонятно». (Ясперс). Заметим еще, что, как это ни парадоксально, эгоцентрики, носящиеся со своим «я», — менее всего склонны задумываться над той загадкой, которая в нем скрыта, ибо для самой постановки такого вопроса необходима некая доля бескорыстного отношения к собственному «я», — умение смотреть на себя «со стороны», чего обычно лишены эгоцентрики. Все это указывает на то, что наше «я» есть метафизическая сущность. Ибо трансцендентность (запредельность) составляет основной признак метафизического бытия. «Где же наше 'я', если оно ни в душе, ни в теле?» (Паскаль).

Далеко не все люди способны к самонаблюдению, этому основному методу самопознания. Но еще меньшее количество людей способно к осознанию своего «я», как безосновной основы душевной жизни. Как мы уже упоминали, для этого нужен особый поворот «глаз души», о котором говорил Платон. Дело тут не в том, чтобы отрешиться от внешнего мира и погрузиться в самосозерцание. Подобное самосозерцание бесплодно, ибо, повторяю, мы не можем уловить свое «я». Оно мыслится нами, как некая непротяженная точка души. За-

дача — в том, чтобы не забывать, что «я» есть существо духовное. Нужно не забывать, что я именно потому ответственен сам перед собой за все мои проявления, что они суть «мои» проявления, что они исходят от моего «я». Сущность «я» заключается в свободе. И свобода так же необъективируема и в то же время так же первореальна, как первореально наше «я». В забвении о собственном «я» — один из первоисточников «метафизического легкомыслия».

Если человек, этот «синтез временного и вечного», будет всецело погружен в текущие дела и заботы, в развлечения и отвлечения, то он может усыпить в себе голос совести, органически связанный с «я». Тогда человек может стать недостойным божественного начала, незримо присутствующего в нем. Такой человек станет или гедонистом, ищущим лишь чувственных наслаждений и возбуждений или дельцом, погруженным в круг своей деловой суеты, ищущим лишь накопления капитала. Такой человек, или погрязнет в тине беспросветного мещанства, или, наконец, в худших вариантах, пойдет по пути явной аморальности, — у зла много возможностей. Перед таким человеком будут закрыты пути творчества, или соучастия в творчестве посредством бескорыстного наслаждения красотой, пути сострадания, активного делания добра. Такой человек как бы наглухо замурует в себе свою совесть и свои творческие дары.

Да, скажете вы, быть может, вы правы. Все это возможно. Но — при чем тут метафизика? Этот возможный вопрос ставить нас лицом к лицу с нашей темой: почему расценивать творчество, мораль, религию, философию — как проявления метафизического начала в человеке?

Мы исходим из положения (доказательство которого потребовало бы целой книги), что человек есть существо не только природное и социальное, но прежде всего метафизическое. Это значит, что своими корнями и своими лучшими возможностями человек связан с неисследимыми глубинами бытия.

Обыкновенно мы бываем настолько загипнотизированы окружающей нас эмпирической действительностью — заботами и делами, что у нас не хватает времени задуматься над собственной сущностью. И обычно лишь грозные события (угроза смерти, тяжелая болезнь, утрата близких и т. п.) заставляют нас заглядывать глубже в нас самих, чтобы «посоветоваться с собой». Но как раз в эти роковые минуты мы принимаем реше-

ния, определяющие характер нашего «самополагания» (слово, введенное экзистенциализмом, несмотря на свою абстрактность, довольно точно выражает, о чем здесь идет речь).

В такие минуты мы проявляем активно нашу свободу. О том, что эти проявления свободы определяются не столько спокойным взвешиванием возможностей, сколько «иррациональным скачком в неизвестное» — свидетельствуют слова Бергсона, сказанные именно на эту тему: — «В исключительных, торжественных случаях жизни, когда речь идет об утверждении нашей личности во мнении других и, прежде всего, в наших собственных глазах, выбор совершается нами независимо от того, что принято называть мотивом. И это отсутствие осязаемого основания тем более поразительно, чем больше и глубже наша свобода... Мы свободны тогда, когда наши действия исходят от нашей личности в ее целом».

Для тех, кто считает нашу волю свободной (хотя и неизбежно ограниченной) — подобные роковые, жизнеопределяющие решения являются ничем иным, как проявлением спонтанной свободы нашего «я». Иначе говоря, в таких случаях внешние, социальные влияния играют роль мощного, но **не** всеопределяющего фактора. Мы все, принципиально говоря, можем пойти «против течения», если этого требуют от нас наша совесть и наше достоинство.

Условия жизни в тоталитарных странах, где, по меткому слову Сартра, многие стоя́т перед трагическим выбором — стать или подлецом или героем (третьего часто не дано) — изобилуют примерами подобного рода. Стать доносчиком или рисковать десятью годами концлагеря? Послушаться приказа убить заключенного или самому быть расстрелянным? Открыто исповедывать Христа, рискуя лишиться работы и хорошего положения в атеистическом обществе или пойти на сделку с собственной совестью? И так далее, и так далее.

В подобных «предельных ситуациях» мы проявляем нашу глубинную сущность — то, что называется нашим «я», или нашей «самостью». В таком положении и происходит то «трансцендирование во внутрь» (термин С. Франка), то нахождение своего подлинного «я», в котором заключается сущность внутренней свободы. Это «трансцендирование во внутрь» (иногда во-вне через во-внутрь) имеет место во всяком творческом акте, ибо творящий всегда находит нечто новое в мире или в себе. Во внесении новизны в мир и в себя

и заключается одна из существенных сторон творческого акта.

Но трансценденция имеет место во всех случаях, когда мы действуем, следуя голосу совести, часто вопреки нашим эгоистическим интересам. Особенно разительно это «трансцендирование» за пределы самих себя в мотивах жалости, сострадания. Тогда мы соприкасаемся эмоционально с душами наших ближних, преодолевая в какой-то степени пропасть, обычно зияющую между мной и моим ближним.

Подлинное сострадание всегда проявляется спонтанно, ибо человек, по меткому замечанию Фрейда, бывает нередко как хуже, так и лучше того, что он о себе думает. Литературным примером подобной спонтанной жалости может служить «Хозяин и работник» Льва Толстого. В этом рассказе жадный, одержимый обычно лишь делом самообогащения купец Брехунов, в критическую минуту согревает своим телом замерзающего работника Никиту, спасая его от неминуемой смерти, но погибая при этом сам.

В своем наиболее чистом виде, эта «трансценденция» проявляется в религиозных актах и переживаниях. Молитва (подлинная молитва) всегда есть «предстояние Богу». Переживания мистиков свидетельствуют о том, что в мистических экстазах душа наша как бы выходит из себя, и из пределов «мира», прорываясь к Богу, преисполняясь Божией благодатью.

Совмещение трансцендентности и имманентности Божества, когда бесконечно далекий Бог становится бесконечно близким нашему сердцу — есть характернейшая черта мистического опыта. В этом отношении поражает сходство опыта всех подлинных мистиков, они, по выражению Ивана Киреевского, как бы свидетельствуют о стране, в которой они были.

★

Нужно добавить, что к области духовной жизни принадлежит и опыт зла. Возможность следования путем зла подсказывается самой сущностью человеческой свободы: человек способен выбирать между добром и злом, между «идеалом Мадонны и идеалом Содома», и сама эта способность носит метафизический характер. Если низшие формы зла вытекают из слабости нашей плотской природы (вожделение, обжорство, пьянство и т. д.), то высшие формы зла коренятся или в гордыне или в идолопоклонстве (обожествление и абсолюти-

зация относительных ценностей: партии, государства, нации и т. д.).

Богоборчество, в сущности, есть явление духовного порядка, хотя и с отрицательным знаком. Но зло неспособно к трансцендированию. Во зле человеческая личность разлагается, а не возвышается. Однако, поскольку зло есть лжеиспользование сил добра, есть как бы паразит на теле добра, — зло предполагает предварительное трансцендирование. Для того, чтобы «пасть», человек должен стоять на высоте, и высота эта есть следствие предварительных усилий человеческой воли и человеческого сердца. Именно в этом, и ни в каком другом смысле, мы и говорим о том, что зло может носить духовный, а не только плотско-материальный характер.

★

Метафизической основой религиозного опыта является ощущение собственной тварности, когда я чувствую себя творением Божиим. Из всех религиозных философов, в теоретическом плане, эту истину лучше всех сформулировал Шлейермахер, назвав ее «аксиомой зависимости» (т.-е. человека от Бога). Но выражение «аксиома зависимости», хотя и выражает существенный момент религиозного опыта, все же слишком односторонне и малоадэкватно. Более точным выражением было бы «аксиома тварности» (т.-е. моей сотворенности Богом, хотя, поневоле, это тоже бледно. См. интересные соображения на эту тему в книге Б. Вышеславцева «Этика преображенного Эроса»), ибо зависимость от Бога, в глубине взятая, означает относительную независимость человека от «мира» и от всего того, что есть в мире. Это значит, что никакие силые «мира» не имеют надо мной абсолютной власти. Я завишу от Бога, а не от мира. Наша самость предстоит именно Богу, а не миру» («ангел — Богу предстоит»).

Молитва «да будет воля Твоя» означает упование на Бога, при смирении перед Ним. Перед Ним, а не перед силами этого мира, столь преисполненного зла. К сущности «тварности» принадлежит ощущение себя, как свободного существа, свободно склоняющегося перед Абсолютным, ибо всемогущий Творец творит творцов, а не только «готовые» творения. Иными словами, ощущение тварности означает усмотрение образа Божьего в себе, ибо метафизический вывод отсюда заключается в том, что Бог вложил свое подобие в человека. (В этом, если

отвлечься от традиционных школьных формулировок, и заключается сущность «антропологического» доказательства, выдвинутого Декартом).

Именно поэтому, усмотрение себя как «твари», то-есть, как создания Божьего, обладающего образом Божиим, — есть глубинная интуиция, в которой самопознание и богопознание совпадают. Осознать себя в своей подлинной сущности (как свободного творца и сотворенного всемогущим Богом) — значит совершить религиозный акт. Выражаясь бессмертной формулой блаженного Августина: — «Если бы я увидел себя самого, то этим самым я узрел бы Бога».

Оговоримся — религиозная интуиция есть прежде всего интуиция сердца, и никакие рациональные размышления, сами по себе, не могут привести нас к живому религиозному опыту. Но мы утверждаем, что живой религиозный опыт содержит в себе метафизический аспект, осознать сущность которого мы и стремимся в данной статье.

Религиозный опыт есть переход в область рационально Непостижимого. Но это рационально непостижимое — не иррационально, а сверхрационально, то-есть, не противоречит разуму, а восполняет его. Еще иначе говоря, в религиозном опыте есть и своя рациональная сторона.

Сознание собственной тварности — основа религиозного чувства. Оно ощущается нами эмоционально, как совмещение двух перво-эмоций: страха и трепета перед всемогущим Господом, — и радости о Господе. Страх Божий отличен, однако, от обыкновенных, земных страхов. Ибо страх Божий сопутствуется ощущением своей вины перед Богом и тесно связан с ощущением благоговения перед Тайной, породившей человека. Поэтому страх Божий обычно освобождает нас от обычных, земных страхов, носящих по большей части сугубо-эгоистический характер. Радость же о Господе есть бескорыстная радость, проистекающая от сознания бытия существа, бесконечно превосходящего человека по своему совершенству.

★

Перейдем к выводам.

Если наша воля свободна, то значит в нас присутствует и живет «запредельная во-внутрь» глубина нашего бытия, о которой мы обычно забываем.

Если наша совесть является, в основном, обнаружением

высшего начала, незримо заложенного в нас, это значит, что в нас скрыт метафизический источник морали.

Если человек — существо, не только реагирующее на внешние и внутренние раздражения, а способное творить нечто новое, до сих пор в мире не бывшее, это значит, что в нас, в недрах нашей свободы, скрыт творческий первоисточник бытия. Как сказал Гейдеггер — «дух и есть с неопровержимой фактичностью происходящая в нас метафизика бытия».

Наконец, если человек способен сознавать образ и подобие Божие в себе, тем самым касаться мирам иным, это значит, что в нас самих происходит мистерия возвращения души к своему Первоисточнику. Это значит, опять-таки, что человек есть существо метафизическое, корнями своими и своими высшими помыслами соединенное таинственной нитью с Непостижимым, которое, по смыслу своего определения, непознаваемо, но бытие которого мы способны предощущать.

Словом, при помыслах и деяниях, в которых участвует вся наша личность, в ее целом, мы неизбежно или спускаемся в метафизические глубины или возносимся на метафизические высоты.

Суммируем вывод:

Метафизическое легкомыслие в известном смысле спасительно. Оно помогает нам рассеиваться, забывать временно о трагедиях жизни, и человеку необходимо такое саморассеяние. Но в «предельных ситуациях», которые неизбежны в условиях нашей человеческой жизни (опыт смерти, зла, необходимость принятия роковых решений и т. д.) — человеку приходится преодолевать это свое метафизическое легкомыслие. Мало того, ему полезно заранее выработать в себе противоядие, при помощи которого он мог бы вести себя достойным человека образом в условиях таких «предельных ситуаций».

Само метафизическое легкомыслие, столь спасительное в условиях **быта,** становится, при столкновении с подлинным **бытием,** препятствием к проявлению нашей подлинной свободы. В таких «предельных ситуациях» метафизическое легкомыслие становится пошлостью, признаком морального ничтожества.

Метафизическое легкомыслие само по себе не есть зло. Но оно подготовляет почву силам зла для овладения ими человеком. «Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать», — говорит Библия.

Рост метафизического легкомыслия в нашу эпоху являет-

ся одним из признаков духовного упадка или духовной незрелости. Человек неизбежно ввергается в поток времени, и этот поток все ускоряет свое течение в наше время. Но одна из величайших задач заключается в том, чтобы, плывя по реке времени, помнить о Вечном, и воплощать вечные ценности в нашей быстротечной жизни.

Сергей Левицкий

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

В этой статье мы не предполагаем заняться обзором состояния русского языка в советский период, этому посвящена наша книга «Русский язык при Советах» (Нью-Йорк, 1955). Сейчас мы хотим указать на явления, которые стали присущи русскому языку за последнее десятилетие. Так, с конца пятидесятых годов надо отметить появление в языке новой черты: придание речи чрезмерной сладости. Это особенно касается продуктов питания, но распространяется и на иные стороны жизни. Явление это отмечено и советскими исследователями и журналистами. Так, в журнале «Звезда» № 2, 1962 (стр. 170), Л. Борисов в заметке «Вот так говорят и пишут», указывает, что:

> В продовольственном магазине покупают колбаску, сахарок, ветчинку, кагорчик, конфеточки... Газетчика просят дать вечерочку, журнальчик, конвертик, пару марочек, видики Ленинграда.

Недавно умерший писатель Борис Тимофеев в книге «Правильно ли мы говорим» (Лениздат, 1961, стр. 43) уже останавливался на этом явлении, особенно подчеркивая распространение новой формы приветствия:

> Приветик!.. Это нелепо-уменьшительное слово вместо «привет» открывает собой целый ряд уменьшительно-ласкательных слов, которыми, — без всякого к тому основания — пестрит речь многих из нас. Особенно это почему-то касается продуктов питания.

Интересно, что в СССР эта «словесная нежность», в частности к продуктам питания, психологически совпала с периодом «увлечения бытом», желанием «пожить», стремлением к житейским благам, захлестнувшим советских граждан после аскетического периода первых пятилеток, голодных лет войны и послевоенного восстановительного периода.

Но засилие уменьшительных существительных характерно не только для разговорной речи, оно проникло и в специализированную лексику, будучи отражено и в литературных произ-

ведениях. Возьмем, к примеру, повесть А. Хахалина «Хозяин ночного неба» (Лениздат, 1961, стр. 90-91):

Как боевые приказы, звучат по радио указания диспетчера:
— Заходите на посадку. Ветерок в правый борт...
— Сделайте еще кружочек, полоса занята...
— Побыстрей, побыстрей, а то эшелончики нужны...

Подобная «ласковость» не ограничивается областью существительных, но распространяется и на другие части речи — так, наречие «культурно» теперь все чаще превращается в «культурненько». Такое явление не ново для русского языка. Новым можно лишь назвать **массовое** применение уменьшительных форм, да новую функцию самого наречия «культурно». Л. Раковский в статье «Чувство языка» («Звезда» № 2, 1962, стр. 165) пишет:

Широкое философское понятие, заключающееся в слове «культура» совершенно выветрилось из его производного «культурно». Этим модным словечком щеголяют все, от мала до велика. Слово «культурно» применяется даже в мелких, бытовых ситуациях, например: «культурно пообедал», «культурно сходил в кино». Наречие «культурно» превратилось в простой синоним таких слов, как «приятно», «весело», «хорошо».

Неодолимое стремление советских граждан к жизненному благополучию особенно ярко проявилось за последние годы, т. к. ослабление крепости «железного занавеса» неминуемо повело к сравнению бытовых условий советских граждан с условиями жизни хотя бы в странах советского блока. Но, желание советских граждан работать **на себя,** улучшая свои бытовые условия, вызвало резкий отпор со стороны компартии, предпринявшей шаги для подавления этих тенденций у населения Советского Союза.

Одним из таких шагов было возрождение слова «тунеядец» и самое широкое применение его, особенно на страницах прессы и пропагандной литературы. Новое значение этого слова становится ясным из приведенного ниже отрывка из книги Ирины Головань «По долгу гражданина», выпущенной в Москве в 1962 году Государственным издательством политической литературы в серии «Моральный кодекс строителя коммунизма», (стр. 31):

«Тунеядец» в том понимании, которое мы сегодня вкладываем в это слово, уже не только «дармоед, живущий в праздности чужими

трудами», как определяет толковый словарь Даля. Он может в поте лица трудиться на своей клубничной плантации, чтобы первым поставить свежую ягоду на рынок и сорвать крупные деньги, — и мы все равно назовем его тунеядцем. Можно работать ночи напролет, пристраивая к своей дачке летние сарайчики, чтоб сорвать побольше с жаждущих солнца и воздуха горожан, — мы опять-таки назовем его тунеядцем.

Замечания И. Головань подтверждает и М. Семенов в своем сборнике фельетонов «Коса на камень» (Москва, Профиздат, 1962, стр. 92-93):

Для тунеядцев характерны также явления миграции. Так, с наступлением теплых мартовских дней на рынках Москвы, Ленинграда и Киева появляются женщины с большими фанерными ящиками, наполненными мимозой... Летом тунеядцы обоего пола устраиваются вблизи больших автомобильных магистралей, предлагая проезжающим ягоды, арбузы, дыни, семечки, цветы и т. д.

Так, мы видим, что инспирированное «сверху» переосмысление слова «тунеядец» не оставило в нем ничего от первоначального значения, и применение этого слова в шестидесятых годах уже полностью противоречит определению, данному в «Толковом словаре русского языка», вышедшем в 1935-40 гг. под ред. Д. Ушакова. Там «тунеядец» все еще определяется, как «человек, живущий на чужой счет, чужим трудом, бездельник, паразит, дармоед». Даже четырехтомный «Словарь русского языка», изданный Институтом русского языка в 1957-61 гг., под словом «тунеядец» дает только: «тот, кто живет за счет чужого труда, на чужой счет; бездельник, дармоед».

Что же касается особой категории «тунеядцев»-спекулянтов, перепродающих втридорога добытые у иностранцев вещи, то в конце пятидесятых годов было создано особое слово — «фарцовщик». Думаем, что в основе этого неологизма лежит «фарт» — счастье, удача, что подтверждается следующим примером. И. Н. Абрамов в брошюре «Заставить тунеядцев работать» (Лениздат, 1960, стр. 25) рассказывает об одном «фарцовщике», который «продолжал заниматься скупкой и продажей; не мог отвыкнуть от случайных денег, от ожидания **«удачи»**. Наше предположение косвенно подтверждается и таким фактом. Тогда как «тунеядец» является «спущенным сверху» словом и употребляется только для осуждения деятельности того или иного лица, слово «фарцовщик», видимо, родилось среди лиц, занимающихся спекуляцией. В цитированной выше

брошюре, на стр. 25, приводятся слова одного из представителей этой «профессии»:

Было время, когда на *нас*, «*фарцовщиков*», скупающих у иностранцев вещи, чтоб перепродать их потом за более высокую цену, не очень обращали внимание... (Подчеркивание наше. *Ф.*).

Теперь борьба с всевозможного рода «фарцовщиками» почти вытеснила гонение на «стиляг», бывших в послевоенный период излюбленным объектом нападок прессы и пропагандно-агитационной литературы. Название этих представителей молодого поколения, выделявшихся из общей массы своим внешним видом, а также речью, обильно пересыпанной жаргонными словечками, приобрело такую популярность, что во второй сборник «Вопросы культуры речи», изданный Институтом русского языка Академии наук СССР в Москве в 1959 г., было включено специальное исследование В. Г. Костомарова о происхождении слова «стиляга». В нем автор указывает, что в послевоенные годы среди советской молодежи пышно расцвело увлечение «западной» танцевальной музыкой. Слово «стиляга» и произошло от существительного «стиль» в значении танца (тот, кто знает новый стиль) или же от глагола «стилять» (кто ловко стиляет, танцует новым стилем).

В статье Гр. Гогоберидзе «Стиль и его поклонники» («Советская культура», 18 янв. 1955) так и говорится:

Танцуют стилем... Стиль имеет свои разновидности. Раньше танцевали «атомным» стилем, потом «гамбургским», а сейчас в моде «канадский»...

Увлечение западными танцами повело и к подражанию западным модам в одежде и прическе. Это увлечение стало принимать все более широкие размеры, наряду с тем, как со словом «стиляга» все шире стали распространяться глаголы «стилять», «стильнуть», «стиляжить», а также существительные «стиляжество»», «стиляжничество», употреблявшиеся в неодобрительном смысле в официальных источниках.

В повести «Молодые люди» (Москва, изд. «Советский писатель», 1958) А. Эрлих, на стр. 40, вкладывает в уста одной из героинь психологическое объяснение этого явления:

— Я знаю, это такая своеобразная бравада среди нынешней молодежи! Чтоб не так, как у всех! Во что бы то ни стало не так!

Желание выделиться из общей массы ведет и к употреб-

лению специфических слов и выражений. Большинство из них в жаргоне «стиляг» взято из арго преступного мира: многие слова были в свое время зарегистрированы в словарях воровского языка Тонкова и Трахтенберга. Но очень часто переосмыслялись и вполне литературные слова, вроде «кадр», «фирменная», «золотой дукат» в значении — подходящая девушка, «хата» — свободная квартира, «предки» — родители и т. д.

В последние годы «стиляги» со своими узкими брючками, длинными пиджаками с разрезом и пр. растворились в общей массе молодежи, в связи с проникновением западных мод во все более широкие круги советского населения и даже санкционированием этих тенденций в советских модных журналах. Но лексикон их растекся подобно кругам по воде, захватывая все более широкие слои советского общества.

Б. Тимофеев в своей уже цитированной нами книге «Правильно ли мы говорим» (стр. 85) замечает:

...уместно упомянуть о том «модном», нарочито огрубленном языке, который весьма распространен не только среди молодежи, но и среди лиц значительно более старшего возраста — особенно среди интеллигентных женщин, где подобная манера выражаться, повидимому, считается своеобразным «шиком».

Еще раньше, за три года до появления этой книги, тот же автор в своих «Заметках писателя» («Звезда» № 2, 1958, стр. 247) поделился наблюдениями над языком молодежи, передав такой случайно услышанный на улице разговор:

— Ну, как?
— Вырубил четыре шара.
— Железно! А я рухнул... И шпора не помогла...
— Вот лажа!
— Ну, сделаем хил... Надо еще успеть покимарить: вечером на хате у одного чувака будет большой кир...

Один мой знакомый, молодой инженер, которому я передал всю эту странную беседу, сразу сказал, что это говорили студенты, из которых один сдал экзамен на четверку, а другой провалился, несмотря на шпаргалку, что вызвало у собеседника соответствующую реакцию сочувствия. Затем неудачник предложил прогуляться и сообщил о своем желании успеть выспаться до того, как пойдет к приятелю на вечеринку.

Следует отметить, что с недавнего времени в русский литературный язык стали проникать арготические слова и выра-

жения, переосмысления и прямые неологизмы, порожденные при трагических обстоятельствах, знакомые народу в течение уже многих лет, но не допускавшиеся на страницы советских литературных произведений до развенчания пресловутого «культа личности».

Почти в каждой советской семье член ее или близкий друг побывал в тюрьмах и концлагерях в тот или иной период существования советской власти. Те, кому посчастливилось выйти из тюрьмы или вернуться из ссылки, являлись носителями специфической лексики, утверждавшейся в быту. Конечно, такая лексика не могла быть зафиксирована в советской литературе, кроме тех случаев, когда темой произведения служила «перековка» уголовного элемента, т.-е. перевоспитание его в полезных членов общества, как, например, в «Аристократах» Погодина. О политических заключенных не упоминалось вообще, и даже Н. Виноградов в такой ранней работе, как «Условный язык заключенных Соловецких лагерей особого назначения», опубликованной в 1927 г., ограничился лексикой уголовников. Только в эмигрантской литературе, в произведениях, вышедших из-под пера бывших заключенных за пределами СССР, можно было найти слова, связанные с советскими местами заключения.

Однако, когда в «Новом Мире» (№ 11, 1962) появилась нашумевшая повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в речи автора оказались почти все слова и выражения, встречавшиеся в произведениях зарубежных авторов, бывших концлагерников.

Прежде всего остановимся на названии обитателей советских концлагерей. Ю. Марголин назвал свою книгу (Нью-Йорк, 1952) «Путешествие в страну зэ-ка», дав на стр. 20 объяснение этого термина:

> Люди, проживающие в лагере, называются заключенными. Техническое и разговорное сокращение «з/к» — читай зэ-ка.

Говоря о заключенных, Солженицын в своей повести тоже пользуется приведенным выше сокращением, лишающим попавшего в лагерь человека его индивидуальности и подчеркивающим массовый характер такого наименования, но в его речи оно является уже совершенно обычным существительным, изменяющимся в падежах и множественном числе, а также образующем прилагательное:

Целый день на морозе зэки, смерть чистая, как озябли... Стадо черное этих зэков... (стр. 53).

Еще проверить утром надо: не одет ли костюм гражданский под зэковский? (стр. 20).

С. Максимов, в книге «Тайга» (Нью-Йорк, 1952), на стр. 105, упомянул трагическое наименование некоторых заключенных:

Шатающиеся от слабости «доходяги», люди, которым оставалось, может быть, всего несколько дней жизни...

Отмечая новое значение глагола «доходить», С. Максимов еще берет его в кавычки: «Я «дошел» на 3-м лагпункте». Солженицын же никакими кавычками не пользуется, подчеркивая этим, что переосмысленное значение глагола «доходить» хорошо известно советским читателям:

Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил (стр. 13).

Так же, без кавычек, как нечто общепонятное в своем новом значении, употребляется им и слово «катушка» — полный срок заключения.

В советскую литературу проникли теперь такие переосмысленные слова, как «довесок» — добавочный срок наказания, присовокупленный к первому сроку, «тяжеловес» — человек, приговоренный к долгосрочному лишению свободы, «подсыпка» — лица, нарочно посаженные в камеру с заключенными для соглядатайства и провокации, «ЧТЗ» — общеизвестное сокращение, обозначающее не только Челябинский тракторный завод, но и лагерную обувь, сшитую без мерки и формы из резины старых тракторных шин.

Наряду с этими переосмыслениями, повесть Солженицына официально ввела в русский язык ряд слов арготического происхождения, как «шмон» — обыск заключенных, производимый до выхода из лагеря на работу и перед возвращением в него, соответствующий глагол — «шмонять»; название лица, сумевшего устроиться в лагере в более сносных условиях по сравнению с заключенными, исполняющими тяжелую физическую работу, — «придурок», и т. д. Однако, Александр Твардовский в предисловии к своей повести, счел нужным взять под защиту эту лексику, связанную с «периодом развенчанного и отвергну-

того партией культа личности», т.-е., попросту говоря, с арестами и ссылками сталинского периода, когда миллионы советских граждан пользовались ей в ежедневном концлагерном быту.

★

До сих пор мы говорили о словах и выражениях, порожденных той или иной стороной советской жизни. Но есть и ряд областей, где новое словотворчество явилось результатом развития какой-либо отрасли народного хозяйства. Это в первую очередь относится к технике и промышленности. Конечно, речь здесь идет не о появлении новых специальных терминов, известных более или менее узкому кругу людей, а о словах, проникших в общий язык, к тому же в образном, переносном значении.

В последние годы, в связи с развитием автомобильного транспорта в СССР, в литературный язык все чаще проникают и соответствующие образы:

Но... не сработал какой-то винтик в мозгу, отказало «зажигание» — и вот твой творческий мотор заглох. (Л. Ленч. «Дорогие гости», Москва, 1954, стр. 58).

О широком распространении последнего выражения свидетельствует и А. Бервик в статье «Нет зажигания», помещенной в газете «Новое Русское Слово» (Нью-Йорк, 4 ноября 1959):

Когда в автомобильном моторе перестают образовываться электрические искры, автомобилисты говорят: нет зажигания. Эта фраза из автомобильной техники перешла теперь в разговорную речь, получила широкое распространение и стала в Советском Союзе очень модной. Она стала синонимом многих слов и понятий, но в основном этой фразой выражают отсутствие интереса, заинтересованности, стимула. Человек, например, не заинтересован в работе. У такого человека, говорят, нет зажигания. Человек, например, мало зарабатывает. У него, говорят, слабое зажигание.

Автомобиль медленно, но все же входит в быт советских людей, и в связи с этим следует обратить внимание на интересное языковое явление. Слова и выражения, связанные с лошадью, переносятся на автомобиль, как в свое время глагол «стрелять», связанный с пусканием стрел из древнего оружия — лука, был перенесен на современное оружие.

Так, Вл. Лидин в рассказе «Молодые» (цит. по «Новому Русскому Слову», 6 сент. 1959) пользуется этим приемом:

— Ну, Михаил, иду запрягать «Москвича». Поедем с тобой покупать саженцы!

— Ну, иди умывайся, завтрак на столе. А я пока задам «Москвичу» корму, а то он не повезет нас.

— А я знаю, какого корму, — хитро прищурился Миша. — Бензин.

У И. Лаврова в повести «Несмолкающая песня» (Москва, 1956, стр. 130) также находим аналогичную образность:

— Ну, трогай, Саврасушка, трогай! — Алеша легонько похлопал грузовик по капоту...

Еще любопытнее обратное явление: на гужевой транспорт переносят термины, связанные с автомобилем:

Выпросил назавтра у председателя лошадь и газанул в райком. (Н. Грибачев. «Августовские звезды», Москва, 1958, стр. 115).

Образное применение слова «обтекаемый», связанного не только с конструкцией автомобиля, приобрело массовый характер благодаря появлению новых форм корпусов легковых машин. Нужно отметить, что это слово в переносном смысле значительно обогатилось по сравнению со своим первоначальным техническим значением, как показывают приводимые ниже примеры:

Его докторская диссертация показалась обтекаемой и безличной даже Бесценному... Не о чем спорить. Не за что ухватиться. (Г. Гор. «Однофамилец». Повести и рассказы, Ленинград, 1958, стр. 523).

...он старался оформлять свою речь удобными, обтекаемыми выражениями. (К. Лебедев. «Люди и степени», Москва, 1958, стр. 98).

С автотранспортом неожиданным образом связаны и далекие от него по своему первоначальному значению слова «калым» и «калымщик». По ассоциации с восточным понятием калыма — выкупа за отдаваемую замуж девушку, это слово стало обозначать плату, взимаемую шофером, находящимся на государственной службе или обслуживающим какую-либо организацию, с частных лиц, которых он подвозит во время служебных рейсов. Сам шофер, занимающийся такими перевозками, стал называться «калымщиком», тогда как пассажиры, подвозимые шоферами в порядке частного приработка, тоже получили особые наименования:

Шофер жадный: насажал полный кузов «грачей»... У нас таких пассажиров, вроде меня, что у дороги дожидаются, окрестили «грачами». (Н. Атаров. Повести и рассказы, Москва, 1956, стр. 334).

...Какой шофер упустит случай, чтоб не «наловить лещей». «Наловить лещей» — означало набрать попутных пассажиров. (В. Тендряков. «Ухабы». Сборник «Рассказы русских советских писателей», Москва, 1957, т. 3, стр. 199).

Позже значение слова «калым» опять-таки расширилось. Статья Ю. Дашевского в «Литературной Газете» (12 авг. 1961) так и называется «Калым за отметку». В ней рассказывается, как, после разговора со студентами, молодой ассистент Политехнического института постучался в дверь декана факультета:

— Мне предлагают калым, — объявил взволнованный педагог...
— Разве у тебя есть сестра на выданье? — удивился декан.
— Простите, но речь идет о выкупе не за невесту.
— А за что же?
— За отметку. Короче говоря, мне дают взятку...

От этого слова возник и соответствующий глагол, как мы можем судить по выступлению секретаря Смоленского горкома КПСС, что несомненно свидетельствует о популярности этого слова у советского населения:

Как мухи на мед, стекаются к Соборному двору разного рода тунеядцы, чтобы, спекулируя на чувствах верующих, «закалымить» налегке 50-60 рублей. (Народные дружины против тунеядцев, пьяниц и хулиганов, Смоленск, 1961).

Развитие авиации за послевоенные годы ярко отразилось на языке советских людей. Особенно любит щеголять такими перенесенными в быт авиационными терминами молодежь, как можно судить хотя бы по произведениям, напечатанным в журнале «Юность». Так, один из героев повести В. Аксенова «Апельсины из Марокко», помещенной в № 1-м этого журнала за 1963 г., так рассказывает на стр. 4 о своем знакомстве с девушкой:

Там я и заприметил Люсю Кравченко. Ну, сделал два-три виража, а потом пошел на сближение. «Откуда, землячка?» — спрашиваю.

В том же журнале (№ 3, 1963, стр. 12) Г. Садовников в рассказе «Суета сует» так же пользуется авиационными тер-

минами, описывая, как молодые люди подсели к девушке в столовке:

Она заняла столик, на который было много претендентов. Мы заложили крутой вираж и наши подносы точно спланировали на столик.

Несомненный интерес представляет собой группа слов и выражений, вошедших в русский язык в связи с освоением космического пространства. Конечно, и здесь речь идет о словах и словосочетаниях, ставших достоянием разговорной речи широких масс.

Когда 4 октября 1957 г. в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, в широкое употребление немедленно же вошла абревиатура ИСЗ, созданная из первых букв этого словесного комплекса. Очень быстро и слово «спутник» в своем новом значении совершенно заслонило старое понятие, и, произнося его, уже мало кто связывает это слово с человеком, разделяющим чей-либо путь, так же, так и слово «ракета» связывается в сознании не столько с фейерверком или военным сигналом, как с многоступенчатой ракетой-носителем. Когда же в 1961 г. Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток» открыл путь в космос, он проложил и путь для целого потока новых слов и словосочетаний, хлынувших в русский язык. Из них прежде всего следует упомянуть такие, как «космонавт» и «космодром». Первое из них применяется без изменения к лицам обоего пола. Что касается космодрома, то слово это уже прочно вошло в русский язык и часто мелькает в названиях статей, например, «Репортаж с космодрома» и пр. Вначале космодром именовался «ракетодромом», а поднимающиеся с него аппараты — «звездолетами»:

Трибуны ракетодрома, украшенные гирляндами живых цветов, переполнены народом. (М. Васильев. «В мире семи стихий», Москва, 1961, стр. 151).

А ведь через пятьдесят лет этот звездолет будет казаться примитивным и неуклюжим. (Там же, стр. 5).

Поэтическое название «звездолет» постепенно вытесняется более точным — «космический корабль», а о его пути говорят, как об «облете Земли» или о «витках»:

К концу седьмого витка космонавт товарищ В. Ф. Быковский выполнил работу, предусмотренную программой. («Известия», 16-го июня 1963).

Число таких витков возрастает с каждым новым космическим полетом, а мечта о полете на Луну порождает и новые слова: «лунник», «прилунение», «прилуниться», созданные по аналогии со «спутником» и «приземлением».

Интересно, что костюм космонавта, по функциональной аналогии со словом «водолазный», называется «пустолазным»:

...откинется крышка люка и одетый в пустолазный костюм человек выпрыгнет наружу. (М. Васильев. «В мире семи стихий», Москва, 1961, стр. 5).

Мода на все «космическое» повела к тому, что ряд слов, связанных с завоеванием космического пространства, стал употребляться и в юмористическом плане. Например, в рассказе Е. Шатько «Сережка и бригада», в журнале «Юность» (№ 8, 1961) девушка будит рабочих так:

Ева громко кричала:
— Хлопцы, выходим на орбиту! Ракету — за водой!
«Ракетой» называлась старая, дряхлая лошадь...

Рассказывая о молодежи, работающей на целине, автор там же пишет:

Сережка... включил вторую скорость. Трактор рванулся скорее... Сережка выглянул из кабины и крикнул Федьке:
— На второй космической жмем!

★

Следует указать, что для периода последнего десятилетия характерно опубликование ряда исследований, посвященных, главным образом, русскому языку советского периода. После работы А. Селищева «Язык революционной эпохи», вышедшей в 1928 году, ни один советский исследователь в течение многих лет не посвятил полностью ни одной книги русскому языку этого периода. В таких же курсах «Истории русского литературного языка», как, например, А. Ефимова или А. Горшкова, даже во вторых изданиях 1955 и 1961 гг., пореволюционному языку уделяется только несколько страниц с весьма коротким и поверхностным перечислением его характерных черт.

Однако, в последние годы вопросу культуры речи уделяется большое внимание. Недаром Отдел справочно-библиографической и информационной работы Московской публичной библиотеки счел нужным выпустить в 1962 г. аннотированный указатель литературы на тему «Культура русской

речи». Значительная часть указанных в нем изданий составлена с целью повысить культуру речи партийных ораторов, сделать их выступления более доходчивыми для слушателей и таким образом усилить влияние партийной идеологии на массы. Но мы хотели бы остановить внимание читателей на одном ценном издании, посвященном этому вопросу, но служащему интересам не пропаганды, а науки.

Сравнительно с недавних пор Институт русского языка Академии наук СССР предпринял выпуск непериодических сборников «Вопросы культуры речи». Второй из них, вышедший в 1959 г., через 4 года после появления первого, чрезвычайно интересен, так как весь построен на материале именно пореволюционного русского языка. Кстати, форма сборников в этой области наиболее приемлема для советских ученых, т. к. она дает возможность заострить внимание на тех или иных отдельных моментах, оставляя в тени щекотливые вопросы, освещение которых в систематическом труде, посвященном русскому языку советского периода, неминуемо вызвало бы неудовольствие партийного руководства или даже прямое запрещение опубликования материала.

Отметим, кстати, что в нашей книге мы в свое время подчеркивали, что главным пороком современного русского языка является его шаблонизация, злоупотребление штампами. Упомянутый выше сборник открывается тоже статьей проф. Р. А. Будагова «Против словесных штампов». В ней этот видный специалист тоже утверждает, что главный порок русского языка советского периода — не в неудачных и грубых словах, а в широко распространенных несуразных словесных штампах, глубоко въевшихся в язык.

В последние годы против бюрократических оборотов и штампов, царящих в современном русском языке, с необычайной энергией неоднократно выступали два известных писателя — К. Г. Паустовский и К. И. Чуковский, используя для этого и раздел «О родном нашем языке», введенный теперь в газете «Известия». Так, в номере от 30 декабря 1960 г., в статье «Живое и мертвое слово», Паустовский пишет:

Нужно добиваться полного уничтожения тех нескольких скудных и паразитических языков, которые крепко въелись в жизнь, существуют рядом с подлинным русским языком и пытаются вытеснить его и заменить собой.

Какие же это языки?

Прежде всего язык бюрократический, казенный. Он враждебен живому языку, как бюрократ враждебен всякому живому делу.

Огромную и печальную роль в распространении этого языка играют газеты (особенно районные), радиопередачи и передачи по телевидению. Этот язык вторгся в школьные учебники, в научные труды, даже литературу.

Он характерен жалкими потугами на научность («предельный норматив», «пищеблок»...). Кроме того, этот язык напыщен («вручил» вместо «передал», «преподнес» вместо «подарил», «завершил» вместо «окончил»), страдает громоздким построением фраз, путаницей понятий, удивительной скудостью.

В том же разделе («Известия», 26 нояб. 1960), говоря о бюрократических шаблонах в языке, как о «сыпи», К. Чуковский подчеркивает, что «для широких читательских масс глубоко ненавистен этот псевдо-научный, а на самом деле антинародный язык, за которым, как за всяким шаблоном, скрывается полная импотенция мысли». Однако, несколько позже, в статье «Канцелярит» («Литературная Газета», 9 сент. 1961) тот же автор вынужден признать, что в СССР считается «правилом хорошего тона возможно чаще вводить в свою речь слова и обороты канцелярских бумаг, циркуляров, реляций, протоколов, докладов, донесений и рапортов... Этот жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне пишутся даже любовные письма. И — что печальнее в тысячу раз — он усиленно прививается детям чуть ли не с младенческих лет».

Яркой иллюстрацией сказанного может служить песенка «Ты молчишь» (слова М. Матусовского), включенная в сборник «Новые лирические песни в сопровождении баяна» (Москва, Воен. изд-во, 1961, стр. 139), где автор несомненно умышленно вводит бюрократические обороты в жалобу влюбленного, таким образом, мягко подтрунивая над распространенным явлением:

Ты молчишь, не отвечаешь
На мои признания.
Почему ж ты проявляешь
Недопонимание?...
Так за что же должен вечно
Без тебя терзаться я?
Нам нужна в делах сердечных
Реорганизация!

В связи с распространением этой не новой, но заметно усилившейся за последнее десятилетие тенденции, следует отметить и усиление борьбы с порчей языка. Здесь роль наиболее активного врача, не покладая рук борющегося с распространением болезни, взял на себя опять-таки Корней Чуковский, развив темы своих газетных статей в поучительной и пользующейся большим успехом книге «Живой, как жизнь», изданной в 1962 г. и вышедшей вторым дополненным изданием в 1963 г. В ней он ополчается против таких продолжающих существовать в современном русском языке сугубо отрицательных элементов, как вульгаризмы, вычурные варваризмы и неудобочитаемые и неудобовыговариваемые абревиатуры.

Не только крупные писатели ополчились на засилие штампов в языке. Редакция «Известий» в номере от 11 января 1961 г. сообщает:

Число писем читателей, откликнувшихся на статьи, которые мы публикуем под рубрикой «О родном нашем языке» уже перевалило за две тысячи... В письмах очень много нареканий на язык газет. Беда не в анекдотических словосочетаниях. Гораздо опаснее другое — обезличенный язык, состоящий из готовых апробированных штампов. В одну и ту же словесную форму заливают любое содержание, любую тему, и они выходят из нее одинаковыми — одинаково скучными. Речь идет не только о порче языка читателей, но о колоссальных, оставшихся неиспользованными возможностях, *политических, пропагандистских, воспитательных*. (Подчеркивание наше. *Ф.*).

В этих последних словах и следует искать разгадку того, почему правительство сочло нужным возглавить кампанию по очищению языка. Отнюдь не случайно, что в последние годы появилось огромное количество пособий по повышению культуры речи. То, что скучно — не воздействует на читателя или слушателя, и поэтому А. Степанов в своей книге «О культуре речи» (Москва, «Искусство», 1961) настойчиво советует на стр. 15:

Мы должны выбирать слова и выражения глубокого смысла и большого жизненного опыта, звонкие, благозвучные... Главное, очевидно, не отдавать речь во власть шаблона, не засорять ее суконными оборотами, вроде «истекший период», «на данном этапе», «в переживаемый момент», «охватить мероприятиями», «вовлечь в борьбу» и им подобными. В самом деле, что сушит и мертвит наш язык? Бюрократические штампы. Это самая опасная болезнь нашей речи. Гореоратор не скажет *сегодня*, а «на сегодняшний день», не *летом*, а «в

летний период», не *надо*, а «надлежит», не *проверить*, а «принять меры по проверке», не *бороться*, а «развернуть борьбу», не *спросить*, а «поставить вопрос во всей остроте». Сколько, кстати, мук досталось на долю «вопроса». Его и «ставят», и «заостряют», и «касаются», и «тормозят», и «затрагивают», и «поднимают», и «регулируют», и «утрясают», и «проваливают» и «утрамбовывают»...

Легко призвать к очищению языка от штампов, но гораздо труднее вытравить их из всеобщего употребления. Так, в «Известиях», еще от 23 октября 1960 г. было напечатано «Письмо в редакцию» некоего В. Чуракова, служащего Центрального Аэро-Гидродинамического Института. Он пишет:

Прислушайтесь, товарищи, к тому, как говорят ваши знакомые, сослуживцы, пассажиры автобуса, включите радиоприемник, полистайте газеты. А вечерком откройте на любой странице томик Лермонтова, Чехова, или Федина, или Паустовского. Вы обнаружите в одном русском языке два... На наш повседневный разговорный язык, язык газеты, радио, плаката все сильнее наступает неповоротливый язык канцелярии. Он проникает даже в литературу.

И действительно, вот как говорит герой рассказа А. Мифтахутдинова «Я привез тебе кактус» («Смена» № 20, 1963, стр. 19):

— А кто меня будет охватывать мероприятиями? — спросил Юрка в санатории у первой женщины в белом халате.
— Кто? Не волнуйтесь, охватим!

Недаром В. Чураков в приведенном выше письме в редакцию «Известий» с горечью подчеркивает:

И самое тревожное — то, что подобные вещи нас уже не тревожат. Мы привыкли к этому уродству.

Интересна позиция академических кругов страны, получивших срочное задание нормализовать спонтанно развивающийся язык, в первую очередь в области науки и техники. В своем вступительном слове к сборнику «Вопросы терминологии» (изд-во Академии наук СССР, Москва, 1959) акад. В. В. Виноградов, известный лингвист Советского Союза, намечает основные направления советского языкознания, называя первым из них разработку общей теории. В этом направлении он предусматривает ряд проблем, выделяя из них изучение путей развития национальных языков СССР, где «особую важность приобретает тема 'Русский язык и советское общество'. Надо надеяться, — продолжает акад. Виноградов, — что обобщаю-

щий труд, исследующий процессы развития русского языка в связи с историей советского общества, даст ценные выводы и теоретические установки...» (стр. 4-5).

Пока такой обобщающий труд еще не появился, но в течение последующих двух лет Институтом русского языка подготовлялся сборник «Развитие современного русского языка», вышедший в 1963 г. под редакцией видного русского лексикографа С. И. Ожегова и М. В. Панова, в обращении которых к читателям появление данного сборника прямым образом связывается с разработкой проблемы «Русский язык и советское общество».

Эта сравнительно небольшая книга (меньше 200 страниц), к сожалению, не дает ни обобщающих выводов, ни конкретных установок, игнорируя к тому же генеалогию отрицательных элементов языка, обусловленных отрицательными моментами порождающего их режима. Тем не менее, она все же намечает внутренние закономерности развития русского языка советской эпохи, уделяя место таким актуальным вопросам, как освещенные в статье Д. И. Алексеева «Графические сокращения и слова-абревиатуры» и «Категория рода и ее развитие в современном русском литературном языке», послужившая темой довольно обширного исследования И. П. Мучника.

К сожалению, авторам данной статьи недоступны труды и ученые записки советских университетов и педагогических институтов, где помещаются исследования по затрагиваемому нами вопросу. Что же касается работ, объединенных в сборники, то они, главным образом, представляют собой только фиксирование тех или иных явлений «сегодняшнего» русского языка. Нам думается, что следует остановиться на некоторых статьях, включенных в содержательный сборник «Вопросы культуры речи» № 2, и посвященных новому словообразованию в наиболее значительных областях жизни за последние годы.

Так, Н. Андреев и В. Замбржицкий в статье «Новое в современной сельскохозяйственной терминологии» отмечают:

> Характерно увеличение числа терминов, отражающих электрификацию сельского хозяйства (электроплуги, электромолотьба, электродойка)... Не менее обильно возникают новообразования... в терминах, обозначающих носителей сельскохозяйственных профессий и исполнителей отдельных полеводческих и животноводческих работ (кукурузовод и т. д.)... Ясно выражена тенденция ко все бóльшей

специализации терминов (льномолотилка, головкоуловитель). Несомненна тенденция к употреблению многосоставных слов и словосочетаний в качестве терминов, чтоб придать бóльшую смысловую точность термину (льносемстанция...), (стр. 49-50).

Интересно, что впервые в академическом издании, в отделе сборника, озаглавленном «Краткие заметки», рассматриваются и даже получают право на официальное существование такие дотоле не внесенные в словари, но широко распространенные слова, как «гриповать» и «газовать», «бюллетениться» и «боевитость», а также дается подробный и научный анализ возникновения слова «стиляга».

Фонетические сдвиги, происшедшие в русском языке в последние десятилетия, также привлекают внимание исследователей. В этом же сборнике имеется интересное сообщение А. В. Суперанской «О произношении современной студенческой молодежи». В нем автор рассказывает о проведенном в начале 1956 г. сотрудниками сектора культуры речи Института языкознания АН СССР массовом опросе студентов Московского государственного педагогического института иностранных языков и отмечает, что, поскольку опрошенные студенты были примерно одного возраста, рождения начала 30-х годов, «их произносительные навыки складывались во время и после Великой Отечественной войны. По данным этого опросника можно, повидимому, с большой уверенностью судить о современном состоянии русской орфоэпии». Оказалось, что старая московская орфоэпическая норма становится устарелой, а произношение все больше приближается к орфографии, особенно в отношении группы «чн», «чт». Большинство студентов произносит теперь: мол**о́чн**ый, кор**и́чн**евый, стрел**о́чн**ик, а не мол**о́шн**ый, кор**и́шн**евый, стрел**о́шн**ик и т. д. Даже традиционное произношение слова — «скушно» удержалось только у 98 студентов, тогда как 115 уже произносят «скучно».

Конечный звук «с» в первом лице единственного числа возвратных глаголов смягчился и в произношении; так традиционно твердо в словах «бóюсь» и «остаюсь» произнесло его только 16 и 18 студентов, тогда как смягчение «с» отмечено у 214 и 213 студентов.

Таким образом, А. Степанов в своей книге «О культуре речи» (Москва, «Искусство», 1961, стр. 43) имел все основания утверждать, что:

Согласно старой норме произношения, артисты академических театров Москвы произносят твердо глагольные окончания «сь» и «ся»: боюс, купаюс, вертисса, женисса... Это произношение считалось образцовым сто лет назад. Но современной народной, разговорной речи оно мало свойственно, а следовательно, вряд ли можно считать его безусловным образцом для общелитературной нормы.

Орфоэпическим проблемам посвящена и работа одного из редакторов сборника «Развитие современного русского языка» М. В. Панова. В его статье «О стилях произношения» имеется знаменательная фраза: — «...язык художественной литературы и театра консервативнее языка информации, и это его достоинство...» Подобное высказывание свидетельствует о том, что специфически советские элементы языка, бытующего в стране, не обладают достоинствами более консервативного языка художественной прозы, поэзии и драматургии. Впервые, пожалуй, в советской печати появляется совмещение таких понятий, как «консерватизм» и «достоинство». Однако, отнюдь не следует считать, что все слова и фразеологические обороты, вошедшие в русский язык в советское время, якобы, унижают достоинство этого языка и окажутся недолговечными. Наряду с уродливыми явлениями в русском языке появилось много новых и полезных тенденций, говорящих о его внутренней силе и соответствующих тенденциям, проявляющимся и в других современных языках. Множество слов, зародившихся в узко-профессиональной среде или даже принадлежащих к арго, переносятся в общий язык, со временем утверждаясь в нем и обогащая его. Еще Пушкин в свое время указал, что «истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Хотелось бы надеяться, что следующие поколения русских людей смогут воспитать в себе такой вкус, одновременно объявив нещадную войну всяким штампам, уродующим и обедняющим язык.

Андрей и Татьяна Фесенко

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

В. А. ЛЕДНИЦКИЙ

29 октября с. г. в Беркелей внезапно скончался заслуженный профессор Вацлав Александрович Ледницкий. Неожиданный его уход, — огромная потеря не только для всех нас, его друзей и учеников, но и для мира славистики, с которым была связана почти вся его жизнь и для которого он так много сделал, сначала в Европе, а потом в Америке.

В. А. родился 28 апреля 1891 года в Москве в семье известного юриста и общественно-политического деятеля. Отец его, Александр Робертович Ледницкий, дал своему сыну прекрасное образование. В 1910 году В. А. окончил одну из лучших московских гимназий имени И. и А. Медведниковых и поступил сначала в Краковский (Ягеллонский), а потом в Московский университет, на филологический факультет, который окончил в 1915 году и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В Московском университете В. А. специализировался по романской филологии. Степень доктора получил в 1922 году уже в Кракове, написав диссертацию об Альфреде де Виньи.

Начиная с 1922 года В. А. почти исключительно посвящает себя изучению русской литературы и с 1924 года начинает печатать многие научные и полемические труды. В феврале 1926 года он защищает свою диссертацию об А. С. Пушкине, которую писал под руководством проф. Виленского университета Марьяна Здзеховского и готовится к кафедре по истории русской литературы. В том же году В. А. приглашен читать лекции по истории русской литературы на Кафедре славянских языков и литератур в Брюсселе, где он пробыл до весны 1928 года. С осени этого года В. А. назначен в Краковский университет, где в январе 1928 года читает свой первый (инавгурационный) доклад на тему "Композиция 'Анны Карениной' ".

В 1935 году В. А. назначен ординарным профессором Краковского университета, где пробыл до начала второй мировой войны. После закрытия немецкими властями Краковского уни-

верситета В. А. удалось избежать ареста, которому подверглись многие профессора, и при помощи бельгийского консульства переехать в Бельгию, откуда в середине 1940 года он попадает в Америку. Тут сразу же В. А. был приглашен читать курс лекций в Харвардском университете, где он пробыл до 1944 года. В 1945 году В. А. был назначен постоянным профессором Беркелейского университета, где читал лекции по русской и польской литературам, был главой Славянского отдела в 1950-1957 годах и все свободное время посвящал интенсивному творческому труду. В 1958 году В. А. уходит в отставку и Калифорнийский университет в Беркелее, признавая его огромные заслуги в области славистики, устанавливает ежегодные лекции имени Вацлава Ледницкого, а в 1963 году дает В. А. почетное звание доктора юридических наук.

Первые публикации В. Ледницкого появились еще в 1916 году в Москве, но его настоящая научная деятельность началась только в Польше, где в 1923 году была издана его первая книга, монография об Альфреде де Виньи (из истории религиозного пессимизма). В 1926 году вышел сборник статей Ледницкого о Пушкине и с этого момента до дня смерти количество его публикаций доходит до двухсот двадцати названий. Литературная деятельность В. А. была направлена, главным образом, в сторону сравнительной литературы и сосредоточивалась на отыскании литературных связей, особенно в русско-польской литературе периода романтизма. Глубокая эрудиция и необычайное умение владеть исследуемым материалом приводили к интереснейшим результатам и вдохновляли студентов.

Так, например, в своем очерке о "Метели" Пушкина В. А. проводит постепенно читателя через античную, итальянскую и французскую литературы, чтобы в конце открыть не только "родословную" этого рассказа, но и показать при этом все великолепие творческого мастерства Пушкина. В своем подходе к литературному произведению В. А. был ближе всего к Тэну и в его интерпретациях литературных произведений мы всегда находим, кроме чисто литературного анализа, попытки определить место данного автора в окружающей его культуре.

Среди русских писателей особое внимание В. А. уделял творчеству Пушкина (около 50 трудов) и Толстого (около 20 трудов). Особенно интересовало В. А. их отношение к Польше и этому вопросу он посвящает много места в книге о "Медном Всаднике" Пушкина (1955 г.) и в своей последней книге о Тол-

стом и его христианской этике (1965 г.). В. А. писал также о Блоке, Мережковском, Тютчеве, Достоевском, Лескове, Салтыкове-Щедрине, Лермонтове и других русских писателях.

Из польских писателей В. А. уделял в своих работах особое место творчеству А. Мицкевича, как и его связям с русской литературой, особенно с творчеством Пушкина. По его инициативе, в 1956 году в Беркелей вышел сборник научных работ выдающихся славистов, посвященных памяти Мицкевича. Кроме того, В. А. написал несколько работ о творчестве Словацкого, Красинского и в последнее время появилась его интересная книга о творчестве Сенкевича (1960).

Образ В. Ледницкого не был бы вполне целен, если бы не упомянуть о его общественно-политической деятельности. С ранней юности В. А. разделяет политические интересы своего отца, члена первой Государственной Думы. В период 1919-1921 годов В. А. состоит членом польского дипломатического корпуса; во время польско-большевистской войны идет добровольцем на фронт, откуда возвращается в 1920 году награжденный польским орденом за доблесть. В период между 1921-1939 годом В. А. посвящает много времепи научной работе, но во время второй мировой войны В. А. возвращается к более активной общественно-политической жизни и печатает ряд работ на политические темы. После окончания войны В. А. решает остаться в эмиграции, чтоб продолжать свою научную деятельность в условиях полной свободы. За это время выходят его две известные книги о Польше: Life and Culture of Poland, 1944; Poland, Russia and the West, 1954. В 1958 году польское правительство в Лондоне награждает В. А. орденом Polonia Restituta за его заслуги на культурном и общественном поприще.

После ухода в отставку В. А. целиком посвятил себя своей последней жизненной цели: написать воспоминания. К сожалению, судьба не дала ему возможности довести это до конца. Первый том "Воспоминаний" вышел в 1963 году; второй — выйдет в конце 1967 года; третий, над которым В. А. работал перед смертью, будет приготовлен к печати его ассистентом и издан в 1968-69 году; четвертый том (на английском языке) выйдет в начале 1968 года; пятый том, т.-е. том об американской славистике, В. А. не успел полностью приготовить и единственно, что у нас есть, это его статья, написанная в 1953 году для польского журнала "Культура" (№№ 69, 70).

В лице Вацлава Ледницкого сошел в могилу еще один из

представителей замечательного поколения, которое выросло в предреволюционной России. Он являлся одним из "последних Могикан" этой необыкновенной эпохи.

В "Новом Журнале" В. А. опубликовал: "Польская поэма" Блока (кн. 2 и 3), "О прозе Пушкина" (кн. 21), "Вокруг В. А. Маклакова" (кн. 56) и "Л. Н. Толстой" (кн. 63).

Ирина Шведе

Ю. В. ОФРОСИМОВ

19-го октября с. г. в Палермо, на Сицилии, скоропостижно скончался постоянный сотрудник "Нового Журнала", поэт и критик Юрий Викторович Офросимов. С Юрием нас связывала почти полувековая дружба. Скончался он 73 лет отроду. Юрий знал, что сердце его "недугует", но до последнего времени — в письмах — сохранял обычный для него юмор. Жил он постоянно, со своей любимой женой Дорис, в Швейцарии, в Лугано. Оба часто путешествовали по Италии. И на этот раз, отправив жену на курорт, Юрий поехал в короткое путешествие — на Сицилию, написав мне, что из путешествия будет слать открытки, и скоро, к 20 октября, вернется в Лугано. Но судьба судила иначе — короткая поездка на Сицилию стала страшной смертью в чужом городе, в каком-то госпитале в Палермо.

Юрий Офросимов был москвич, все в нем было московское, русское и, несмотря на долгую жизнь за рубежом, он всегда таким москвичем и оставался. Происходил он из старой дворянской семьи, мать была урожденная Рахманинова. В Москве Юрий окончил среднее учебное заведение и высшее — Императорский Николаевский Лицей. По мирному времени должен бы был делать юридическую карьеру, но это его совершенно не интересовало. Страстью Юрия были театр и литература, к тому же по натуре своей он был такой богемой, что никакого судебного деятеля жизнь сделать из него бы не могла.

Лицей Юрий окончил незадолго до революции. И вскоре после того, как в октябре 1917 г. он участвовал в защите Москвы от большевиков, судьба бросила его в стихию гражданской войны, из которой он вынырнул только в 1920 году — в Берлине, в Германии. Вот тут, при основании В. Б. Станкевичем журнала "Жизнь", мы с Юрием и познакомились, и подружились.

Берлин 1920-х годов Юрий чудесно описал в своей статье

"Памяти поэта" — о нашем общем друге, поэте Вл. Корвине-Пиотровском, тоже оказавшемся тогда в столице Германии. Помню, что Юрий появился в Берлине в каком-то странном полувоенном обмундировании, приехав из какой-то "северо-западной армии". И первое, что Юрий опубликовал в журнале "Жизнь" были стихи:

Разве позорно забыть
Громовых орудий раскаты?
Разве преступно быть
Снова другом и братом?
Говорить простые слова,
Вдыхать просторы безбрежно,
Смотреть, как растет трава
И думать — я снова прежний!

Вскоре под псевдонимом Г. Росимов в Берлине вышла прекрасная книга стихов Юрия — "Стихи об утерянном". Начало было и талантливо и многообещающе. Но, как я сказал, Юрий был богема и если он мог не писать, то и не утруждал себя этим. К тому же в Берлине он отдался своей страсти — театру, став театральным критиком ежедневной газеты "Руль", где проработал до ее конца — до прихода Гитлера. Правда, кроме газетной работы Юрий в Берлине в издательстве И. Ладыжникова выпустил несколько детских книг в стихах. Эта работа очень ему удавалась и некоторые его книжки могли бы, пожалуй, не уступить детским книгам К. Чуковского. Но у Юрия все это делалось "между прочим". Кроме газеты "Руль", Юрий писал и в библиографическом журнале "Новая Русская Книга" отзывы о поэзии и прозе.

Когда пришел Гитлер, Юрий выбрался в Югославию. Там, в Белграде, он встретил свою будущую жену — Дорис Фёгели, дочь швейцарского консула в Югославии. Но вскоре война разорвала их, Юрий попал в какой-то немецкий рабочий лагерь и с большим трудом вырвался оттуда сразу после войны.

Поселившись в Швейцарии, Юрий, к сожалению, писал мало. Я его всячески подталкивал. Иногда он все-таки садился за стол и присылал статью для "Н. Ж.", но бóльшую часть времени предавался русской творческой лени — много читал, иногда записывал воспоминания, а главное, путешествовал по Италии, которую страстно любил. Судьба оказалась к Юрию жестока.

Ему бы умереть у себя на Арбате или на Поварской. А он умер даже не у себя в Лугано, в доме, где на стенах висели иконы, картины русских художников и от всего уклада веяло чем-то неизменно русским.

В последнем письме ко мне, написанном перед его отъездом на Сицилию, Юрий писал:

"Представь! Почти кончил черновик воспоминаний об октябрьских днях в Москве. Об этом за рубежом почти ничего нет. Есть кое-что у Милюкова, но с чужих слов и потому не совсем правильно. Я же был участником этих дней и сейчас вдруг потянуло написать об этом. К сожалению, черновик прерывается отъездом недели на две, куда-нибудь на юг, откуда будешь приветствуем подобающими картинками".

К нашему большому горю, отъезд на две недели оказался — уходом Юрия в вечность. Редакция "Нового Журнала" искренне и глубоко скорбит о кончине своего постоянного ценного сотрудника и прекрасного человека, и выражает чувства сердечного соболезнования его вдове — Дорис Офросимовой. Я же скорблю еще о потере друга.

Роман Гуль

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

«ТРИ СЕСТРЫ» — СЕГОДНЯ

Чем объяснить, что чеховские пьесы так крепко вошли в репертуар западных театров? У нас уже давно сложился им приговор: "слишком тесная связь с канувшей в вечность скучной эпохой", "несценично", "надумано", — приговор, скрепленный самим Буниным. А иностранцы продолжают и продолжают ставить Чехова и публика не перестает приходить. Что это? Одно ли только стремление приобщиться к "особенностям славянской души", тяга сравнить собственную западную меланхолию с "экзотическими глубинами"?

Поставленные заграницей чеховские пьесы всегда оказывались в той или иной мере "пересказом" постановок МХТ и отличались друг от друга разве только тем, что один "пересказ" был более удачен, другой менее, но все одинаково были бездуховны и не могли передать духа постановок Станиславского (за что обвинять, впрочем, трудно).

Из многих чеховских пьес на заграничных сценах, пожалуй, наиболее согревающим оказался "французский" "Вишневый сад" и не столько из-за постановки Барро (тоже во многом по МХТ), сколько из-за чудесной Раневской в исполнении Мадлен Рено, которая, несмотря на естественный "французский" уклон, могла стать вровень с незабываемой Книппер. Но ведь "Вишневый сад" из всех чеховских пьес — наиболее сценичная и наиболее "сюжетная" пьеса, причем в основе своей сюжет не в такой уж степени специфически русский, как и образ Раневской и (да простят мне это литературоведы), мне кажется, что зря, гораздо более злобно, чем справедливо остроту своих насмешек Бунин направил как раз против "Вишневого сада". Впрочем, у Бунина к театру вообще особого вкуса не было...

"Вишневый сад" Барро, как все другие чеховские пьесы заграницей, был изрядно сокращен и хоть имел сравнительный успех, но "событием" никак не явился. И вдруг недавно совершенно сенсационный успех выпадает на долю "Трех сестер",

казавшихся нам такими неотрывно "нашими" и такими уже отжившими свой век. Такому успеху "Три сестры" оказались обязаны директору и режиссеру Пражского театра Отомару Крейча, прославившемуся в Европе своей постановкой "Гамлета".

Тяга Крейча к Чехову-драматургу основана не на влечении лишний раз как то перепеть Станиславского и не на бытовом или социальном подходе, а на том, что он считает совершенным суеверием сложившееся мнение о несценичности чеховской драматургии; Крейча утверждает, что драматургия Чехова — сама современность и Чехов единственный из всех драматургов, который и содержанием своих пьес и их формой является мостом между драматургией прошедшей и новейшей. Крейча, например, видит особенно сильное чеховское влияние на творчестве Беккетта, и в первую очередь, на его "В ожидании Годо". Крейча утверждает, что Чехов близок современной драматургии, а вместе с тем и современному зрителю, — доминирующей темой абсолютного одиночества, которым охвачены все его персонажи; чувство одиночества, граничащего с отчаянием — стержень чеховских пьес и его форма причудливой смеси водевильного с меланхоличным предрешила форму драматургии наших дней.

Крейча считает, что персонажи Чехова никак не связаны с эпохой, но общечеловечны. "Три сестры" — по мнению чешского режиссера — наиболее яркий тому пример. Все персонажи этой пьесы живут вне времени, живут жизнью только кажущейся, спасаясь только летаргической мечтой: три сестры — о полусказочной Москве, полковник Вершинин — об утопическом будущем, Тузенбах — о воскрешающей силе идеального труда и о грядущей "буре", страшную силу которой он никак себе не представляет. И так далее. Но у всех такие мечты являются пружиной для существования, препятствуют окончательному превращению бытия в "сорную траву" и когда эти мечты разлетаются — наступает катастрофа.

Конечно, постановка Крейча в корне отличается от постановки Станиславского. Внешне, в декорациях и костюмах, стиль эпохи хотя и не игнорируется совсем, но, не впадая в детали, лишь передает необходимейшее характерными намеками. Но особенно интересно, разумеется, различие внутреннее: Станиславский своим "подводным течением" выискивал причинную связь между мыслями и настроениями персонажей и выговоренными ими фразами, кажущимися на первый взгляд будто брошенными совершенно невпопад; и тем же "подводным течением"

он придавал стройность диалогам, будто ничем меж собою не связанными репликами отдельных персонажей, сообщая этим чеховским пьесам симфоничность.

Из толкования Крейча вытекает подход совершенно противоположный подходу Станиславского: чеховские люди Крейча, живя в обществе, лишены всякого общения между собою и продолжают нести бремя своего одиночества. Разговор их отнюдь не вытекает из желания передать свои мысли другому; по существу каждый диалог это — монолог, еще более подчеркивающий изолированность и одиночество персонажа. При чем иные разговоры ведутся действующими лицами, которые стоят друг к другу спиной. При этом система "переживаний" Станиславского взята основой, но только, конечно, в соответствии с постановкой Крейча.

Представляется, что Крейча знаком и с Мейерхольдом. Однако, в обращении с текстом пьесы он безусловно противоположен Мейерхольду, текст у Крейча в полной неприкосновенности и "Три сестры" поставлены без каких-либо изменений текста, вставок или сокращений. За то из кратких авторских ремарок бурная режиссерская фантазия создает целые сцены, служащие все той же цели — выявить драму одиночества и взаимного непонимания.

При поднятии первого же занавеса, одетая в белое Ирина и в черное Маша, одна мимо другой, в полном молчании быстро ходят по комнате и уже в одной их мимике чувствуется вся дисгармония сестер, живущих в кажущемся таким гармоничным, замкнутом мире уютного дома. Отсутствие меж ними психологического контакта подчеркивается не только тем, что разговаривающие сестры стоят друг к другу спиной. Но они редко смотрят в лицо друг другу и когда стоят одна против другой. Крайнюю форму невозможности людям между собою связаться представляет сцена, когда Андрей впадает в откровенность с Ферапонтом именно потому, что тот — глух. Но сильнейшее выражение одиночества нашел Крейча в конце третьего акта, когда Ольга и Ирина неслышно скрываются за ширмами их спальни, чтобы избежать выслушивания исповеди их брата, а когда он уходит — Ирина оказывается в страшном одиночестве перед непроницаемой ширмой Ольги.

Тому, что в начале пьесы с трудом налаживаются разговоры — соответствует замедленный первоначальный ритм постановки, объясняющийся еще и тем, что в начале режиссер разворачивает

целый ряд характеризирующих и анализирующих деталей. Но в течение вечера ритм все ускоряется, усиливается, вплоть до катастрофы последнего акта, когда вдребезги разбивается мир иллюзий. Последняя картина захватывает до потрясения, когда при резких звуках пошловатого военного марша беспомощно мечутся три сестры, словно пленницы в клетке жизни.

"Три сестры" привелось увидеть во время ставшего уже традиционным "Цюрихского фестивального месяца". Среди привезенных виднейшими европейскими театрами драматических постановок, постановка Пражского театра явилась и интереснейшей, и лучшей. Она повторялась несколько раз и каждый раз имела успех, доходивший до оваций и режиссеру, и всему составу. Между прочим, незнание чешского языка никак не служило препятствием благодаря великолепной технической помощи в виде симультан-перевода с наушниками.

Убедительны ли такие "Три сестры"? — Нам, почти их сверстникам и ровесникам чеховских пьес в первом составе МХТ — освободиться от впечатления постановок Станиславского невозможно. Но зрителю иностранному, да еще молодому, такое их воплощение, такой подход, не представляется ли единственно возможным, приближающим пьесу к сегодняшнему дню и дающим в ней почувствовать общечеловечность, делающим переживания персонажей понятными и даже "своими"?

Интересно, что как раз почти одновременно "Три сестры" были показаны и в мюнхенском "Резиденц-театре", в постановке старого хорошего режиссера Гильперта — по московскому шаблону. И несмотря на первоклассный состав, спектакль получился утомительный, не дошедший до публики.

Ю. Офросимов

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА М. А. БУНЯТЯНА

В этом году исполнилось девяносто лет со дня рождения известного русского экономиста Ментора Абрамовича Бунятяна, который настолько сохранил физические и умственные силы, что продолжает публиковать свои новые научные изыскания на французском и английском языках.

До революции М. А. Бунятян преподавал политическую экономию в Московском университете и затем на Кавказе. В эмиграции он вплоть до второй мировой войны был профессором в Русском Институте права и экономики в Парижском университе-

те, где вел экономический семинар в сотрудничестве с известным статистиком проф. А. Н. Анцыферовым. Профессор Бунятян принадлежит к немногим русским экономистам, которые сделали некоторый вклад в экономическую науку и получили признание за рубежом. Его работы можно сравнивать с работами наиболее влиятельных русских экономистов — М. И. Туган-Барановского и П. Б. Струве. Однако, в отличие от них, он никогда не увлекался марксизмом.

Наибольшим достижением М. А. Бунятяна было построение "теории кризисов" (т.-е. конъюнктуры) на основе австро-германской "теории предельной полезности". Его основной труд "Кризисы хозяйства и сверхкапитализация" появился на немецком языке в 1907 году в Мюнхене, где он окончил свои университетские занятия, получив докторскую степень. В 1915 году этот труд вышел в Москве по-русски и затем был дважды издан с некоторыми изменениями на французском языке в Париже. Некоторым важным дополнением к основному труду М. А. Бунятяна была его французская книга "Закон изменения ценности и основное движение цен", вышедшая в Париже в 1926 году. Успех профессора Бунятяна несколько омрачился тем, что известный французский экономист Альберт Афталион с 1908-го года развил аналогичные теории конъюнктуры и накопления. После русской революции многие видные экономисты Франции и Америки излагали теории Бунятяна, как достижения Афталиона, который еще в 1908-ом году заявил, что он познакомился с трудом профессора Бунятяна уже после опубликования своей работы. Надо надеяться, что история экономической мысли признает приоритет проф. Бунятяна после опубликования им в прошлом году книги на французском языке "Мои экономические теории и Альберт Афталион", в которой он обстоятельно доказывает, что французский экономист взял его основные научные идеи.

В основу научных работ М. А. Бунятяна положены идеи равновесия и субъективной ценности. Это приводит его к признанию возможности всеобщего перепроизводства продуктов, вызываемого понижением их общественной предельной полезности, к подчеркиванию нейтрального характера денег, к отрицанию способности депозитных банков создавать добавочную покупательную способность хозяйствующих субъектов и т. д. Такие выводы профессора Бунятяна не разделяются не только марксистами, отрицающими влияние субъективных оценок, но

и последователями теперь очень распространенной на Западе (в частности, в Америке) школы лорда Кейнса, которые почти отрицают значение ценности и подчеркивают действенность экономической политики государства для ослабления или даже преодоления хозяйственной конъюнктуры. Коротко говоря, идеи М. А .Бунятяна сталкиваются с положениями тех современных экономистов, которые отрицают наличие саморегулирующего механизма хозяйства в теперешней стадии капитализма и считают, что всякая экономическая проблема в период второй великой промышленной революции не может быть разрешена при недостаточном учете ее социальной (вернее, социологической) стороны. Нам, однако, думается, что противники "теории равновесия" должны признать большую последовательность в изложении теоретических взглядов профессора Бунятяна.

Надо надеяться, что маститый юбиляр, уже вошедший в историю русской экономической мысли, будет дальше продолжать свою активную научную деятельность.

Борис Ижболдин,
Профессор политической экономии

OXFORD SLAVONIC PAPERS

В этом году, к сожалению, прекращается издание тетрадей "Oxford Slavonic Papers". Мы хотим, хотя бы кратким перечислением напечатанного материала, указать на ту ценность, которую представляло собой это издание. В "Oxford Slavonic Papers", за 17 лет существования, появилось не мало ценного материала, который заслуживает внимания всех интересующихся вопросами русского языка, литературы и истории (русский материал является в нем основным). Это издание было основано руководителем русского отдела в Оксфордском университете, профессором С. А. Коноваловым, и оно тесно связано как с работой и интересами этого отдела, так и с Оксфордом вообще. Тем не менее опубликованный в этой серии материал — статьи, исследования, лекции (прочитанные в Оксфорде) и архивные документы — не ограничены областью специализации оксфордских научных работников. Материал этот весьма разнообразен и значительное число напечатанных работ принадлежит сотрудникам других университетов как Англии, так и Европы, США и СССР. Почти все сотрудники этой серии связаны с преподава-

тельской работой в университетах (40 из них занимают кафедры). Академический характер издания обеспечил этой серии прочное место среди международных публикаций по славистике и завоевал ей доступ в Советскую Россию (где целый ряд научных работ рецензировались и перепечатывались).

Вот краткий перечень материала, появившегося в томах I—XIII. Истории русского языка, ранним литературным памятникам, первым грамматикам и рукописным словарям в оксфордских "Сборниках" или "Трудах" посвящены работы таких выдающихся славистов, как проф. Б. Унбегаун, занимавший кафедру сравнительной славянской филологии в Оксфорде (ему принадлежит пять работ), Фасмер, Кипарский и Гудзий. В. И. Малышев, сотрудник "Пушкинского Дома" в Ленинграде, опубликовал текст "Исповеди Ивана Филиппова" (XVIII в.); М. Тадин дал описание оксфордских глаголических рукописей; Джону Симмонсу, соредактору серии (начиная с т. XI), принадлежат 5 работ, из которых особый интерес вызвало его исследование о грамматике Людольфа, изданной в Оксфорде в 1696 году, и описание старопечатных русских книг ("уникумов", сохранившихся в оксфордских и других английских библиотеках). Среди других работ лингвистического характера отметим весьма ценное исследование проф. Р. Якобсона по сравнительной славянской метрике.

В области новейшей русской литературы, главный вклад серии — это впервые напечатанные материалы, извлеченные из архивов и частных хранилищ: письма Герцена к Гервегу, документы, касающиеся миссии Грибоедова в Персии, письма Тургенева, Достоевского и Чехова; письма Р. М. Рильке из России; цикл стихотворений Вячеслава Иванова, в окончательной редакции автора и с детальным комментарием О. Дешарт; и воспоминания Марины Цветаевой об Осипе Мандельштаме. Две работы библиографического характера посвящены произведениям В. Брюсова и Л. Леонова. Значительный интерес представляют также лекции, прочитанные в Оксфорде выдающимися литературоведами. Среди лекторов мы встречаем имена — М. Баура, Д. Сесиля, Притчета, И. Берлина, Э. Карра, Вренна, Поджиоли, П. Паскаля, М. П. Алексеева и Корнея Чуковского. Упомянем особо две, весьма совершенные по форме, лекции покойного Н. М. Бахтина (из Бирмингэмского университета), посвященные Пушкину и Маяковскому.

В отделе истории необходимо отметить ценные работы про-

фессоров Г. Вернадского, Д. Оболенского, Дювэ и В. Вейдле. Известный английский историк России, проф. Самнер, дал блестящий обзор на тему "Россия и Европа". Большой интерес представляют впервые опубликованные документы — в частности, послания английских королей к русским царям, и грамоты и письма царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича и императоров Александра II, Александра III, Николая II. Англо-русским дипломатическим сношениям и свидетельствам иностранцев о России (в XVII веке) посвящены 11 работ проф. С. Коновалова. Новые материалы, извлеченные из архивов и опубликованные в этой серии, являются ценным вкладом в русскую историческую науку. Последний том XIII-ый этой серии содержит работы: акад. В. Жирмунского "Изучение сравнительной литературы", проф. Д. Лихачева "Тип и характер влияния Византии на древнерусскую литературу", "Подлинность Слова о полку Игореве": проф. С. Коновалова "Англия и Россия: две миссии, 1666—1668", "Шестнадцать дальнейших писем генерала Патрика Гордона", проф. С. Джиффорда "Пастернак и реализм Блока", Р. Райт-Ковалевой "Маяковский и Пастернак: отрывки воспоминаний" и Ф. Симмонса "Диссертации по славяноведению на соискание ученой степени в английских университетах".

Редакция

БИБЛИОГРАФИЯ

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ. *Единство.* Стихи разных лет. Изд. «Русская книга». Нью-Йорк. 1967 (52 стр.).

Я как-то писал, что «полное собрание стихотворений», даже большого поэта, гораздо нужнее историкам литературы для исследовательских работ, чем — непосредственному читателю, любителю поэзии, которому нужнее «избранное», ибо естественное назначение поэзии — быть любимой, а потом уже быть изучаемой. Г. Адамович, думаю, поступил правильно. Он не опубликовал «полное собрание стихотворений», а строго отобрал из своей поэзии 45 стихотворений. И вышло «Единство» — прекрасная, небольшая книжка, избито говоря, «томов премногих тяжелей».

Прежде всего: каковы темы «Единства»? Книга не современна, в смысле «ширпотреба»: ни спутников, ни лунников, ни битников, ни комсомола, ни хиппис; и — не «авангардна». Темы этой поэзии вечные темы человека на земле: жизнь, любовь, смерть, родина (в этом случае — Россия, но опять-таки вечная), одиночество человека, свобода, изгнанничество (дантовское). Уже этим — тематически — «Единство» разнится и от всей советской «поэтической продукции», которой нас кормят из СССР и от «наимоднейшей авангардности», которой нас кормят на Западе. Поэт демонстративно не собирается сходить с корабля вечности для пересадки на общедоступный корабль современности, где очень легко получить всякие фальшивые билеты.

Космос, полеты, восторги, война —
Жизнь, говорят, измениться должна.
(Да, это так... Но не поняли вы:
«Тише воды, ниже травы»).

Тема смерти — во всей ткани поэзии Адамовича. «Легким голосом иного мира / Смерть со мной все время говорит / Я живу, как все: пишу, читаю / Соблюдаю суету сует / Но, прислушиваясь, умираю / Голосу любимому в ответ». Тема **твоей** смерти тоже, разумеется, «старомодна». В СССР писать о смерти поэтам давно запретил ЦК КПСС, ибо это, во-первых, «реакционно», а, во-вторых, — «коллектив бессмертен» (к нашему ужасу!). Вспоминаю попутно фразу Федора Сологуба на каком-то советском литературном собрании в начале октябрьской революции: «Я тоже за коллектив, но составленный из еди-

ниц, а не из нулей». Но об этой жестокой реалии — смерти — и в молодой западной поэзии литературных битников тоже не пишется. Это естественно при нарочитом «оживотнении» человека (животные не знают о неминуемом умирании).

Как всякая истинная поэзия, лирика Адамовича метафизична, касаема мирам иным. Без этого в поэзии живет лишь версификаторство:

Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе
Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?

Тема смерти и тема любви — два древних близнеца мировой поэзии — объединяют сборник «Единство». Поэзия «Единства» идет в высокой русской лирической традиции — пушкино-тютчевско-баратынской. Эта небольшая книжка — одна из ее подлинных «нот». Под конец жизни Адамович выговорил какие-то слова высокой значимости для каждого человека. В своем мастерстве поэтом отброшено все капризное, смутное, суемудрое. В фактуре стиха, в образной выразительности Адамович дошел до предельной простоты, что сложнее всякой напыщенной и глупой словесности. Этим он и приковывает ценителя поэзии к своей поздней музе.

В противоположность Цветаевой, Пастернаку, Мандельштаму в инструментовке стиха, в строении стихотворных звукосмыслов, Адамович, как и Ходасевич, Ахматова, Георгий Иванов, делает гораздо более сильное ударение на «смысле», чем на «звуко». В его поэзии всегда живет мысль, размышляемость, не убиваемые ни фальшивопонятой «музыкой», ни литературно-модной позой. Правда, в некоторых пьесах я бы упрекнул поэта за некую риторичность — в ущерб словомузыке. Но таких пьес мало.

Г. Адамович поэт своеобразный и тонкий. Сознавая всю «беспомощность языка» в приложении к жизни, как мастер, он скуп в своем материале до предела. Он не хочет никакой приблизительности, стремясь к глубокой, паскалевской ясности и меткости мысли и образа; и этого он достигает. Его пьесы подкупают выверенностью слова, строки, строфы. Мне хотелось бы привести многие из его стихотворений: «Стихам своим я знаю цену», «Слушай — и в смутных догадках не лги», «За все, за все спасибо. За войну, за революцию и за изгнанье», «Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда?», «Всю ночь слова перебираю», «Один сказал: 'Нам этой жизни мало'», «Ночью он плакал. О чем, все равно». В «Единстве» много превосходных стихотворений. Я приведу полностью только одно, характерное для всей поэзии Адамовича:

Нет, ты не говори: поэзия — мечта,
Где мысль ленивая игрой перевита,
И где пленяет нас и дышит легкий гений
Быстротекущих снов и нежных утешений.

Нет, долго думай ты и долго ты живи,
Плачь, и земную грусть, и отблески любви,
Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье —
Все в сердце береги, как медленное зелье,

И может к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

По-моему, в «Единстве» Г. Адамовичу удалось произнести эти «пять-шесть как бы случайных строк». И именно поэтому эта книга, думаю, останется в большой русской лирике.

Роман Гуль

ORBIS SCRIPTUS. *Dmitrij Tschizewskij zum 70 Geburtstag*. Herausgegeben von Dietrich Gerhardt, Wiktor Weintraub, Hans-Juergen zum Winkel. Muenchen, Wilhelm Fink Verlag, 1966, 987 pp., portr.

Сборник, посвященный Дмитрию Ивановичу Чижевскому, профессору Гейдельбергского университета, по случаю его семидесятилетия, состоит из 95 статей. Статьям предшествуют речи, произнесенные на торжестве вручения сборника (тогда еще в машинописи), воспоминания В. Беркефельда о преподавании Д. И. в Халле с 1932 по 1945 год, и библиография трудов юбиляра с 1954 по 1965 год (библиография за 1912—1953 годы опубликована в сборнике, вышедшем в Берлине в 1954 году к шестидесятилетию юбиляра). Портрет, приложенный к сборнику, — фотография бюста неизвестной даты, — не является наиболее удачной деталью книги. В издательском и типографском отношении сборник выше похвал.

Д. И. Чижевский жил, преподавал и научно работал в Германии, Чехословакии и С.Ш.А. Географическое разнообразие его научной деятельности все же менее значительно разнообразия его интересов, в которые входят славянские литературы — особенно русская, украинская и чешская, история культуры, философия и русско-европейские, в частности, русско-немецкие связи. Статьи сборника в значительной, хоть не совсем полной мере отражают это разнообразие

интересов юбиляра. Двадцать пять статей посвящены русской литературе, а вместе с другими статьями по истории, культуре, философии и языку русская тематика представлена 39 статьями и явно господствует в сборнике. Несколько удивляет, что, несмотря на происхождение и интересы юбиляра, украинская тематика представлена всего лишь тремя статьями, из которых только одна (Ю. Шевелева, о поэте-романтике М. Петренко, с. 757-766) написана по-украински, единственная из всего сборника. Общеславянским темам посвящено 8 статей, польским литературе и языку — 10 и по 7 статей церковнославянским, чешским и сербо-хорватским темам. 11 статей трактуют общие темы по философии, культуре и языкознанию. 31 статья присланы из Германии, столько же из С.Ш.А., 10 из Чехословакии, остальные из десяти других стран. В полном отсутствии статей из Советского Союза, конечно, менее всего повинны сами советские коллеги юбиляра. Больше половины статей — 51 — написаны по-немецки, что вполне естественно для сборника, чествующего гейдельбергского профессора. За немногими исключениями, о которых можно пожалеть, статьи связаны с кругом интересов юбиляра. Круг этот настолько широк, что для непосвященных сборник может показаться лишенным единства. Но даже, напр., статья Х. Блюменберга, под латинским названием Contemplator caeli (с. 113-124), имеет отношение к первой любви Д. И. — астрономии.

Для читателей журнала статьи с русской тематикой, естественно, представляют наибольший, если не исключительный интерес. Шесть статей исследуют вопросы, связанные с древнерусской литературой: М. Брауна о литературной полемике в «Слове о полку Игореве» (с. 141-144), Л. Мюллера о летописном рассказе об Исакии (с. 559-571), И. Шевченко о византийских источниках двух рассказов Изборника 1076 года (с. 723-738), Д. С. Уорта о стилистической роли лексико-грамматического параллелизма в «Задонщине» (с. 953-961), К. Онаша о Житии Антонина Римлянина (с. 581-585), М. Вольтнер о вероятной личности переводчика с английского первой теоретической геометрии второй четверти XVII века (с. 947-951). К этим статьям следует прибавить заметку П. Бранга о душеспасительной силе милостыни в былинах (с. 135-139).

Из статей по новой русской литературе на первое место следует поставить очень ценные печатные и некоторые рукописные немецкие источники о Жуковском, собранные и отлично комментированные Д. Герхардтом (самое обширное исследование во всем сборнике, с. 245-313), с великолепным и еще неизвестным акварельным портретом поэта, исполненным его лишенным правой руки тестем Г. фон Рейтерном (с. 248). Портрет датирован 1832 годом и Жуковскому на нем, следовательно, 49 лет (а не 39, как, вероятно, просто обмолвился автор, с. 293; правда, тесть, который был на 11 лет моложе своего зятя, особенно постарался изобразить его на портрете привлекатель-

но молодым). Г. Х. Уорт анализирует 28 абстрактных терминов, впервые употребленных Тредиаковским в его лишь недавно опубликованной «Феоптии» (с. 963-972). Т. Шоу показывает, что Пушкин, в своем описании Америки в статье «Джон Таннер», основываясь в целом на известном труде А. де Токвиля об американской демократии, в сущности, далеко от него отходит (с. 739-756). Л. Штильман окончательно устанавливает, что полковник Остап Гоголь, соратник польского короля Яна Собесского, не был предком Николая Васильевича (с. 311-322). В. Леттенбауер исследует прием Толстого, заключавшийся в том, что автор заставляет действующее лицо говорить за себя (с. 479-482). Г. Гибиан старается проследить, как в «Анне Карениной» Толстой противопоставляет разум инстинкту и волю безволию (с. 315-322). В. Эджертон публикует и комментирует длинное письмо Лескова А. В. Пашкову, русскому последователю учения лорда Редстока (с. 187-199). Статья покойного Ф. Степуна — о философской и религиозной сущности символизма Блока (с. 805-810). В. Харкинс характеризует ранние философские рассказы Ю. Олеши (с. 349-354).

Десять статей посвящены технике русских поэтов и разбору их стихотворений. Ю. Штридтер раскрывает технику Тредиаковского и его переход от силлабического к силлабо-тоническому стихосложению на примере его «Стихов похвальных России» (с. 827-834). Дж. Феррель характеризует строфику (с. 201-210) и Р. Матлоу пунктуацию Тютчева (с. 529-535). В. Марков набрасывает краткую историю эгофутуризма (с. 499-512). Следующие статьи посвящены разбору отдельных стихотворений — У. Буш: «Желание славы» Пушкина (с. 145-150); Р. Якобсон: «Девушка пела в церковном хоре» Блока (с. 385-401); К. Тарановский: «Северовосток» М. Волошина (с. 835-840); Н. А. Нильсон: «Мертвые слова» Гумилева (с. 573-580); Ф. Шольц: «Ты проходишь на запад солнца» М. Цветаевой (с. 673-678); В. Буш: Два перевода Пастернака из Горация (с. 151-154).

Русская история представлена пятью статьями. А. В. Соловьев анализирует сведения, сообщаемые Г. де Ланнуа о Новгороде, Пскове и Галиции, которые он посетил в 1413 и 1421 годах (с. 791-796). А. В. Флоровский обращает внимание на интерес Петра Великого к Эфиопии и на роль, сыгранную при этом францисканским миссионером Джакомо д'Оледжо (с. 211-220). Х.-Ю. цум Винкель публикует два письма, одно из которых послание Петра Великого герцогу Брауншвейг-Вольфенбюттельскому с упоминанием Лейбница 1712 года (с. 943-946). Д. Гро исследует появление и историю понятия «мировой державы» в применении к России XIX века (с. 331-340). Р. Пайпс разбирает отношение П. Б. Струве к революции 1917 года (с. 633-639).

Вопросам культуры и философии посвящены четыре статьи. В. Фелькер находит в святоотеческой традиции основу идеала русского старчества (с. 905-911). Г. Вернадский описывает историю либерального «Прикотинского братства», возникшего в 1881 году в среде

петербургских студентов из кружка братьев Ольденбургов; одним из руководителей братства был отец автора, В. И. Вернадский (с. 857-863); о. Г. Флоровский дает внешнюю историю петербургских лекций В. Соловьева, известных под названием «Чтений о Богочеловечестве» (с. 221-236). П. Паскаль напоминает об интересе к католичеству, возникшем в русской интеллигенции в начале этого века (с. 587-591).

Немногочисленные статьи по русскому языку относятся к истории и значению слов. Х. Бройер исследует слова для обозначения понятия «делать» в старославянском и древнерусском языках (с. 125-134). На примере понятия «работа» А. Алитан показывает, как значение слов может меняться под влиянием идеологических факторов (с. 53-61). П. Арума разбирает некоторые термины описания внешности новгородцев в кабальных книгах начала XVII века (с. 67-74); ему, очевидно, не была известна моя статья на ту же тему, напечатанная в 1963 году в итальянском журнале "Annali". В тех же кабальных книгах иногда упоминаются недостатки речи, как личная характеристика; этим характеристикам посвящена моя заметка (с. 849-851).

Указанными статьями исчерпывается русская тематика сборника. В настоящей рецензии нет, разумеется, возможности перечислить все остальные 53 статьи; к тому же многие из них посвящены очень специальным темам. Некоторые статьи, однако, по их общему интересу и мастерству их авторов, безусловно заслуживают того, чтобы на них было обращено внимание читателей «Нового Журнала». Это, во-первых, четыре статьи по польской литературе: Х. Бирнбаума о древнейших польских и чешских гимнах (с. 99-111); К. Баквиса об известной эпопее XVII века «Осада Ченстоховской Ясной Горы», обыкновенно приписываемой В. Одымальскому, как произведении барокко (с. 82-93); З. Юрьевой о своеобразной переделке «Шинели» Гоголя Юлианом Тувимом (с. 411-420); В. Вейнтрауба о связях того же Тувима с традициями футуризма (с. 922-932). Две статьи по языкознанию: К. Менгеса о все еще не совсем ясном, в своих лингвистических и культурных деталях, происхождении славянского слова «церковь» (с. 543-550); А. де Винценца о важном для исследования словаря методе семантического поля, иллюстрированном, гл. обр., польским материалом (с. 865-893). Исследование, в котором Ф. Дворник устанавливает, что Константин (св. Кирилл) дал оба монашеских обета только лишь в Риме, и что он, повидимому, никогда не был возведен в сан священника и оставался только дьяконом (с. 181-186). Наконец, две статьи по философии: Р. Ингардена о некоторых проблемах теории ценности (с. 365-373), и К. Х. Фолькманн-Шлук о Ницше и христианстве (с. 913-922).

В задачу рецензента не входило ни полемизировать с авторами, ни определять научный уровень упомянутых статей. Следует все же подчеркнуть, что, за ничтожными и неизбежными исключениями, уровень этот очень высок, в чем несомненная заслуга редакторов

сборника. Он вполне достоин и авторов статей и юбиляра. Значение этого сборника, как собрания научных исследований безупречного качества, выходит за пределы его непосредственного повода.

Б. Унбегаун

DMITRIJ TSCHIZEWSKIJ: *Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts.* Forum Slavicum. Wilhelm Fink Verlag, Muenchen. Band I: Die Romantik, 1964 (184 S.). Band II: Teil I — Der Realismus, 1967 (210 S.).

Как определить хронологические пределы русской литературы девятнадцатого века? Естественно календарно-условные и мало значущие даты 1800 и 1900 не могут явиться рамками для разграничения духовных и литературных движений. Обычно русскую литературу девятнадцатого века начинают с Жуковского и кончают Чеховым, другие предпочитают более «политические» рамки: от смерти Екатерины II до начала русской революции. Д. И. Чижевский в своей новой обширной истории русской литературы XIX века, — два тома которой уже вышли в Мюнхене и третий том ожидается в ближайшее время, — предпочитает более длинный и органически более обоснованный период: с 1790-ых годов, когда начало созревать литературное творчество Карамзина и до начала 1920-ых, когда с литературной сцены сошли наиболее выдающиеся представители «Серебряного века». Язык, — русский литературный язык окончательно сложившийся в прошлом веке в богатое и гибкое творческое орудие, является в глазах Чижевского основным определителем этой эпохи. Язык авторов до Карамзина тяжел и не всегда вразумителен и доступен читателю наших дней. После смерти Блока, Белого, Гумилева и других представителей символизма и отчасти акмеизма, литературный язык девятнадцатого века, под влиянием ударов футуристов и в результате социальных и политических сдвигов, начал изменяться и стал несколько другим, чем был при Пушкине, Толстом или Чехове.

Выход из печати двух первых томов «Истории русской литературы XIX века» проф. Д. И. Чижевского, — том первый охватывает русский романтизм, а том второй реализм 1840-1880 годов, — бесспорно является большим событием не только в немецкой славистике, но и вообще в истории изучения русской литературы. В бесчисленных статьях и заметках по литературным вопросам, а их было сотни, автор отточил и подготовил для этого большого труда свои мысли и формулировки. Издание на разных языках ряда книг по истории русской мысли и русской литературы более ранних периодов, ко-

нечно, способствовало выработке метода и формы для этой обширной и трудной новой работы, охватывающей самый ответственный период развития русской поэзии и русской прозы. По стилю и методу распределения материала эти два тома, видимо, являются органическим продолжением английской книги Дмитрия Ивановича о русской литературе от ее самого раннего периода в девятом веке до конца барокко; а к барокко он причисляет большинство русских поэтов восемнадцатого века, включая Ломоносова и Державина и считая, что классицизм, за исключением его самой поздней разновидности сантиментализма, не много дал русской литературе.

Главной чертой двух первых томов являются четкие характеристики основных стилей рассматриваемого автором периода и яркие, построенные по преимуществу на чисто литературном, или пользуясь весьма неправильным и надоевшим выражением, формальном анализе этих направлений. Все же слово формальный анализ не вполне подходит к манере автора, который, конечно, не только литературовед, но и философ и историк духовной жизни России. Разбор философской сущности и идейных движений, определивших сами понятия романтизма и реализма, изучение тематики, стиля и языка, способов изображения героев, среды и эпохи дают ему возможность дать многогранные и в большинстве случаев всеобъемлющие характеристики разбираемых им явлений и писателей. Необходимо отметить, что Чижевский чрезвычайно экономен в изложении, никогда не многословен, как многие литературоведы и критики, умеющие писать длинно и даже красиво, но не всегда имеющие *что* сказать. Почти каждая его фраза отточена и важна и помогает понять значение изучаемых им авторов.

Начиная свой первый том с характеристики романтизма, автор отмечает отталкивание этой литературной школы от классицизма, от просвещенческих тенденций, от часто слишком прямолинейных, упрощенных истолкований человека писателями классицизма, от их нередко надоедливой простоты стиля. Стремление понять существо и душу человека, дух народа, связь человека с прошлым и потусторонним, с природой и традицией лежали в основе мышления писателей романтической школы. Поэтому представители романтизма избегали слишком простых и четких определений героев, а их стиль был основан не столько на описании деталей, как на метафорических образах, то-есть тропах, образованных на сходстве описываемых лиц, предметов, качеств, явлений, на игре слов, на сравнениях человека с природой и природы с человеком. Наоборот, в основе реалистического стиля лежит, по мнению Чижевского, вовсе не «изображение дей-

ствительности», как обычно определяли его историки русской литературы, а господство метонимических троп, то-есть такой разновидности речи, которая основана на смежности и связи фразеологических компонентов. Поэтому в то время, как «романтики» любили сравнения, аллегории или преувеличения, «реалисты» объясняли и описывали своих героев, изображая их окружение, среду или «месторазвитие», пользуясь редко употребляемым, но очень удачным выражением, придуманным сейчас почти что забытыми евразийцами. Со взглядами Чижевского на реализм читатели настоящего издания могли уже познакомиться по его статье на эту тему в 75 номере «Нового Журнала».

Строго аналитический подход автора к литературе позволяет ему сделать не мало переоценок писателей прошлого века и выявить значение нередко забытых, но важных для познания процесса развития русской литературы, поэтов и прозаиков.

Так, напр., помимо общепризнанных реформаторов и творцов русского литературного языка 19-го века — Карамзина, Крылова, Пушкина и Гоголя — он отмечает важную роль в этом процессе сейчас редко вспоминаемых Дмитриева и Вяземского и не всегда чисто эстетически почитаемого Некрасова. Отмечая заслуги ранее не достаточно оцененных писателей автор тем не менее не разрушает уже установившейся оценки главных русских писателей и советует иностранному читателю или студенту, изучающему русскую литературу, начать ознакомление с ней с Карамзина, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Толстого, Лескова, Чехова и Горького. К ним он присоединяет двух больших по преимуществу лирических поэтов: Боратынского и Тютчева, а из представителей переходного периода начала нашего века Брюсова, Анненского, Блока, Белого, Маяковского и Пастернака. Но эти столпы русской литературы не подавляют в труде Чижевского «младшую литературную братию». Столпам отведено не больше половины всего текста обоих томов, вторая же половина посвящена бесконечному числу менее известных и менее важных, но даровитых и давших не мало замечательных произведений писателей и поэтов. Даже такие сейчас довольно прочно забытые писатели, как В. Крестовский (Н. Д. Хвощинская), Лев Мей или П. А. Катенин не оставлены автором без внимания и получили, хотя и не длинные, но интересные оценки. Этот широкий тематический охват вышедших томов делает их почти что энциклопедическими и позволяет лучше осознать всю широту русского литературного развития прошлого века.

Несмотря на то, что эти новые книги Чижевского написаны им

по-немецки, а введение обращено прежде всего к его немецким студентам, тем не менее он богато иллюстрирует свои находки и выводы бесконечными примерами, цитатами и поэтическими отрывками на русском языке, в которых отмечает метрические, языковые и фразеологические особенности и достижения авторов, что не только позволяет иностранному читателю ощутить все музыкально фонетическое богатство русского слова и стиха, но и сохраняет всю прелесть оригинала для знающего русский язык или русского читателя.

Надо надеяться, что этот ценный труд скоро станет доступным и на других языках, в том числе и на русском и на английском. Такие переводы труда Чижевского значительно помогли бы пониманию развития русской литературы и в некоторых случаях развеяли бы не всегда удачные истолкования ее прошлого.

Сергей А. Зеньковский

ARTHUR VOYCE. *The Art and Architecture of Medieval Russia.* Norman, University of Oklahoma Press. 1967.

В качестве общего руководства для желающих ознакомиться с древнерусским искусством и его историей, эта новая книга автора, уже зарекомендовавшего себя работами, родственными ей по темам, несомненно принесет пользу, и появление ее следует приветствовать. Она очень хорошо подана, превосходно иллюстрирована, содержит все необходимые сведения не только о произведениях искусства, в ней упоминаемых, но и об историческом их «контексте». Особенно достоин похвалы отдел пояснений (они могли бы быть и еще подробней) ко всем воспроизведениям — не цветным, о чем я не жалею, в виду лживости большинства цветных, но матовым (не на глянцевитой бумаге), что порой вредит их ясности.

Благодарен будет читатель автору также и за хронологическую канву, и за словарь церковно-славянских, греческих и русских терминов, как и за библиографию. Хотя библиография эта, надо сказать, довольно капризна. В ней указано лишнее (например, статья Рео 1917 г. в одном французском журнале), несуществующее (французская книга «Романова» о византийском искусстве у славян, вышедшая будто бы в 1932 г. в Париже: ее нет, есть двухтомный сборник статей, озаглавленный так, куда включена, между прочим, и статья — на особую тему — К. К. Романова), и не указаны, ни лучшая до сих пор общая книга о древнерусском искусстве (Алпатова и Брунова, на немецком языке, 1932 г.), ни даже книга американского автора G. K. Hamilton, "The Art and Architecture in Russia" (1954), первая половина которой посвящена искусству древней Руси.

В книге Артура Войса архитектура обследована более внимательно и самостоятельно, чем изобразительное искусство, но все же и для архитектуры я посоветовал бы студенту, начинающему заниматься этими предметами, *сперва* основательно «засесть» за Брунова с Алпатовым. Замечу еще (к стр. 336), что юродивый не совсем то же самое, что идиот (даже и "saintly idiot"), но что «блаженный» (помимо других значений этого слова, указанных в словаре, стр. 379) может значить и юродивый. Объяснить все это иностранцам нелегко, но позволять им думать, что для русского любой идиот — святой, тоже нежелательно. Правда, мы читаем в «Этимологическом словаре» Шанского, Иванова и Шанской (Москва, 1961), под словом «блаженный: «святыми чаще всего считались юродивые», но ведь это не правда, а «марксизм-ленинизм».

В. Вейдле

DIE ALTRUSSISCHEN HAGIOGRAPHISCHEN ERZAEHLUNGEN UND LITURGISCHEN DICHTUNGEN UEBER DIE HEILIGEN BORIS UND GLEB. Nach der Ausgabe von Abramovič in Auswahl neuherausgegeben und eingeleitet von Ludolf Mueller. Wilhelm Fink Verlag. Muenchen. 1967.

Князья Борис и Глеб — первые святые Руси и русской и византийской церковью канонизированные вскоре после их мученической смерти. Борис и Глеб не только первые на Руси чудотворцы, но и небесные молитвенники «за *новые* люди христианские». Издание Житий Бориса и Глеба и литургических песнопений о них было полнее всего осуществлено проф. Д. Абрамовичем в 1916 г. в Петербурге. По экземпляру, хранящемуся в Мюнхенской библиотеке, ученый славист Л. Мюллер воспроизвел части этого издания и хорошо прокомментировал тексты, снабдив книгу дельным введением.

Книга содержит 126 страниц. Эту сокращенную фото-перепечатку можно искренно приветствовать. Имя Бориса (во св. крещении Роман), вероятно, болгарского происхождения — Бóгорис или Борисэс вождь болгарский (крещен около 864 г.). Имя Глеб, (во св. крещении Давид), варяжско-скандинавское. Впервые упомянуто в рукописи еще XI века (Изборник Святослава) и соответствует скандинавскому Гулеифру или немецкому Готтлибу. Тексты: «Сказание... похвала святую мученику Бориса и Глеба» (древняя форма двойственного числа — dualis) анонимного автора, и «Чтение о житии», вероятно, созданы еще в XI веке; древнейший список с первого — XII века. «Сказание» сохранилось больше, чем в 170 списках, «Чтение» Нестора — около 20. Быстрота канонизации обоих святых (приблизительно 6 лет с 1015 г.) может быть частично объяснена их великой популярностью, нуждами молодой русской церкви

в обладании *своими* святыми, когда она искала независимости от греков, а также просьбами и настояниями Ярослава Мудрого в Константинополе.

Русский народ очень любил этих братьев — кротко-послушливых мучеников; есть «духовные стихи» об умучении Бориса и Глеба; есть анонимное похвальное Слово типа акафиста еще 1175 года; в «Служебных Минеях» и в «Паремийнике» говорится о их кротости, о чудесах на гробе и т. п. Смело можно сказать, что это были самые любимые, наиболее чтимые князья-страстотерпцы. Жития этих святых трогательно переданы в Лаврентьевской Летописи. Интересен факт, уже давно отмеченный покойными Д. Абрамовичем, Н. Гудзием и другими, что в житийном поведании о князьях нет обычного для византийской агиографии, общего жизнеописания. Житие Бориса и Глеба говорит преимущественно о трагических днях самого убиения братьев и о борьбе Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным. И в «Сказании» и в рассказе Нестора ясно чувствуется не только византийско-христианская стилистика, но и отзвуки влияния народных причитаний и заплачек.

Что же касается связи и взаимоотношений «Чтения» и «Сказания», то они вызвали спор в среде ученых, в котором участвовали А. Шахматов, С. Бугославский, Н. Серебрянский, Д. Абрамович, Н. Гудзий и редактор рецензируемой книги — Л. Мюллер. (См. «Цейтшрифт фюр слав. Филол.», XXIII, № 1, 1954). Мне думается, что с доводами Д. Абрамовича и дополнениями Л. Мюллера следует согласиться. Издание Житий и примечания Л. Мюллера важны и полезны не только для студентов славяноведов, но и для ученых специалистов. Рядовой читатель, любящий жития родных русских святых, с интересом прочтет и перечтет трогательную повесть о тех, кто первые оросили мученической невинной кровью многострадальную Русь. И так сильно звучит в древнем тексте и в песнопениях сердечный и напряженный лиризм.

Я не согласен с замечанием Г. Федотова: «Замечательно, что мученичество святых князей лишено всякого подобия героизма». («Святые древней Руси»). Борис, однако, описан, как храбрый и искусный воин, он видит, что «все суета и суетие суетию буди, токмо помощь от добр дел и от правоверия и от нелицемерныя любве». Дважды св. Борис говорит «аще кровь мою пролиет (Святополк), мученик буду Господу моему». Он молится в предсмертных муках и за своего убийцу, это ли не духовно высший героизм? Дружина уходит от него, так как Борис не следует ее совету бороться и взять Киев. Правда, вполне реалистически описано, предсмертное томление и телесный страх: «...помышляша о красоте и доброте телесе своего, и слезами разливашеся весь», а к заутрени он уже молит Христа «прияти страсть» убиение, мучение. Убийцам он говорит: «*братие*, скончайте службу вашу и буди *мир брату* моему и *вам*...»

Подобно старшему брату и поведение Глеба. Д. Лихачев справедливо отметил в издании «Повести временных лет» (II, 1950, стр. 104-106), что концепция истории у Нестора и у митрополита Иллариона (X-XI вв.) сходны: князьям надо жить между собою в мире и почитать старейшего в роде. Хотя на земле и постоянна борьба Добра и Зла, но Зло есть орудие дьявола, применяющего соблазн. Мученичество, вольно принятое Борисом и Глебом, их кротость и послушание, по мнению Нестора, разрушило план дьявольской хитрости. Желание сатаны испортить распрей дело крещения и христианизации Руси не осуществилось после жертвы крови двух мучеников.

Р. Плетнев

Э. М. РАЙС. *Под глухими небесами.* Изд. Международного Литературного Содружества. Вашингтон. 1967.

В литературе русской эмиграции особое место занимает жанр «заметок», «мыслей», в стиле Ларошфуко, Розанова. Так, в парижских религиозных кругах возникли записи о. А. Ельчанинова; литературные заметки Адамовича, Варшавского, Иваска появлялись в «Опытах» и в «Новом Журнале». В таких фрагментарных записях иногда приоткрывается какая-то большая доля правды. Так и в книге Э. М. Райса. Он бросает свои мысли в форме критики, самоанализа, разных впечатлений и «криков души». Преобладают темы богоискательства и богоборчества — темы не новые, но в них чувствуется искренность. Опыт Райса мне представляется много значительнее, чем, например, движение "God is dead". Он страстно ищет, дерзает, он более «профетичен».

В его записях — бунт, борьба за возможность, «волевое усилие». Райс пишет: «Самое худшее в нас, это — смирение, примирение, принятие. Может быть достаточно никогда, ни за что, ни с чем не примириться... чтобы победить». Райс пытается жизненно, а не логически найти свои синтезы. Он «иррационален», как и Шестов. «Чем труднее Бога искать, чем больше кажется, что Его нет, тем Он ближе».

Ход его мысли движется противоречиями. С одной стороны, он как Левий у М. Булгакова («Мастер и Маргарита») «выкрикивает язвительные и обидные речи небу». Но он также может писать «ропот, жалоба — есть слабость... мужественное принятие спокойно». В жизни «бездна прекрасного, великого, ради чего жить надо, жить мужественно, спокойно, сдержанно, сосредоточенно...»

Так, до конца Райс колеблется между «воплем» и «спокойствием». Решительного выбора между ними он не делает, т. к. «мы не знаем ровно ничего». Впрочем, и вопль и спокойствие нужны как

орудие борьбы против «всемогущества посредственностей» и «толстокожей буржуазности».

Автор борется против «шума эпохи» и этим осуждает себя на положение «вечного изгнанника». Неудивительно, что он ставит Лермонтова выше других великих поэтов. Его роль «бушующего мыслителя» ценна и его свидетельство падения и восстания глубоко осмысленно; он понимает, что человеческая жизнь соткана из противоположностей.

«Во всем, что живо, действительно, глубоко, существенно, всегда противоречие, т.-е. диалектика! Нет противоречия только в логике, в разуме — т.-е. во внешнем, в неважном. Противоречие — живой узел, из которого нити идут в разные стороны, трепеща от биения крови. И без противоречия нет любви, а есть формальная логика... и прочная дребедень».

Здесь Райса можно сопоставить с известным и любопытным американским мыслителем — Норманом Браун. Но Браун извлекает свою мудрость и мифологию из Фрейда, строит свой иррационализм на фрейдистском рассудке. Райс же отвергает Фрейда, как и Маркса, называя их «подлыми».

Все позволено в искании смысла жизни и Бога: бунт, ирония, гневливость, разные промахи, но только не пошлость «бездушного рационализма». Автор не боится соблазна, не боится греха. Его пугает карамазовский черт, а не лермонтовский демон. Его работа лабораторная, а не педагогическая. Он не учительствует — «мы не знаем ничего»». Он будит читателя профетическими восклицаниями, а потом молчание... разбирайся, как можешь. В этом он подражает своему «Богу» — глухим небесам.

Книга Э. Райса, по-моему, не должна быть «незамеченной». Метод искренней самокритики и жизненность метафорического мышления делают ее убеждающей.

Йельский университет. *А. Небольсин*

THAIS S. LINDSTROM, *A Concise History of Russian Literature*, vol. I. From the Beginning to Chekhov, New York University Press, 1966.

Первый том «Краткой истории русской литературы» Т. С. Линдстром, профессора Сары Лоуренц Колледжа, охватывает развитие русской литературы с древнейших времен до Чехова включительно. Нелегкая это задача познакомить американцев с русской литературой за 900 лет на 215 страницах! Поневоле приходится, беспощадно сокращая, отбрасывать того или иного писателя, то или иное произ-

ведение, то или иное литературное течение. Поэтому читатель должен быть готов к тому, что не увидит в книге многого, пропуск чего был бы недопустим при бо́льших размерах труда.

В введении Т. Линдстром подчеркивает, что «русская словесность перекликается с эхом русской истории» и что целью ее книги было «установление точной перспективы между русской литературой и историческим окружением». Вот именно эта двойная цель и стала, по-моему, пагубной для части труда, касающейся русской литературы. Увлекшись историей, Т. Линдстром «сжала» литературные очерки до минимума, чем свела почти на нет многих выдающихся литературных деятелей, а «мнимые литературные величины», имена которых принадлежат скорее историко-политическим наукам, возвела на сомнительный пьедестал.

Трактовка автором исторических событий далека от объективности. И у читателя, как русского так и иностранца, создается впечатление, что над всей тысячелетней русской историей всегда висел кнут; темная масса народа утопала в невежестве; феодальное (?) государство давило всех и вся своей автократией и т. п. Вот, например, ремарка в скобках Т. Линдстром: «(С шовинистическим усердием, русские историки не пренебрегают лишний раз отметить, что дочь Ярослава, княжна Анна, владела пятью языками и, став женой Генриха I Французского, читала своему мужу официальные документы и присовокупляла свою подпись по-латыни или по-французски к его беспомощному X)». Почему в данном случае русские историки шовинисты не совсем понятно. Подобных замечаний в книге много. Но оставим такой подход к русской истории на совести Т. Линдстром и перейдем к литературной части.

Здесь прежде всего бросаются в глаза длинноты биографий отдельных писателей, излишние детали их жизни, за счет анализа или, хотя бы, более полного перечня их произведений. Например, Ломоносову посвящены две с четвертью страницы; одна страница занята его биографией, на второй с четвертью упоминается вскользь о патриотических одах, дается объяснение трех «штилей» и цитируется известное изречение Ломоносова о русском языке. Но и тут Т. Линдстром находит место, чтобы упрекнуть и Ломоносова в «шовинизме»: «Утверждая это (богатство русского языка), Ломоносов граничит с лингвистическим шовинизмом, хотя литературная продукция его времени могла не раз убедить самого Ломоносова в ошибочности такого утверждения».

Радищеву уделено больше места, чем Державину или Фонвизину. Ни слова об оде «Бог», переведенной до 1914 года больше, чем на 50 языков. Впрочем, и в советской «Истории русской литературы XVIII века» Д. Д. Благого на сорока страницах не «хватило», вероятно, места для трех лишних букв...

По мнению Т. Линдстром, «только в «Недоросле», написанном

в 1782 году, Фонвизин научился построению драматического порядка следования». Как раз наоборот! Именно «Бригадир», созданный на 14 лет раньше «Недоросля» (несомненно менее зрелое художественное произведение, чем последняя комедия Фонвизина) все же является более совершенной пьесой в своем драматическом построении.

К удивлению читателя извлечен из пыли забвения В. Озеров. Перечислены его три трагедии, даже упоминается имя актрисы Семеновой, но при разборе творчества Жуковского назван только один его перевод «Элегии» Грея.

Вся книга пестрит неточностями, поражает поспешностью и смелостью заключений, приведением непроверенных или спорных фактов. Пушкинскую страстность, несдержанность, прямолинейность Т. Линдстром связывает с темпераментностью унаследованной по материнской линии. Изучение мужской линии рода Пушкиных доказывает обратное. Один из предков Пушкина по мужской линии приказал повесить на воротах своего имения какого-то несчастного учителя, заподозрив его в любовной связи с хозяйкой. Калики перехожие, песни которых Пушкин слушал в Михайловском, превратились под пером профессора Линдстром в слепых калек.

А вот что мы узнаем о Достоевском: «Он писал лучше всего в состоянии напряжения; беспорядочность, непостоянство и лихорадочное чувство давления в его личной жизни отражаются в беспорядочности его прозы. Его дезорганизованные, безудержные повествования, зачастую писанные с головоломной быстротой, переливаются через край идеями и контр-идеями, но нигде у него не нашлось времени (или таланта) для тонкостей, которые являются плотью и кровью лучших русских литературных произведений — для нежности, полной ностальгии, в пейзажах Тургенева, для постоянного накопления внешних деталей у Гончарова, для неспешного течения эпики Толстого». Стоит ли опровергать это мнение? Кстати, в главе о Достоевском нет ни слова о романе «Подросток», который как бы завершает городской цикл романов Достоевского. В «Преступлении и наказании» приговор Раскольникову уменьшается с легкой руки Т. Линдстром с восьми лет на семь.

Стоит также обратить внимание на неточные переводы. «Недоросль» переведен словом **Junior**, а не общепринятым **The Minor**; «История государства российского» переведена **The History of the Russian Empire** вместо точного **The History of the Russian State**; «Отечественные записки» переведены **Notes from the Fatherland** вместо **Notes of the Fatherland**; «Обрыв» Гончарова переведен **The Ravine** («Овраг») вместо имеющегося в английском языке вполне подходящего слова **The Precipice.**

Стремления к реформам молодого Александра I наводят Т. Линдстром на мысль сравнения его с президентом Кеннеди, а «оптовые

чистки» учебных заведений князем А. Голицыным ассоциируются с «энтузиазмом» МэкКарти.

В ближайшем будущем должен выйти второй том «Краткой истории русской литературы». Хотелось бы, чтоб он не был похож на отчетный.

Оберлин, Охайо. *Сергей Крыжицкий*

LILY HINDLEY. *Die Neologismen Andrej Belyjs.* Herausgegeben von Prof. D. Tschiżewskij. Forum Slavicum. Band 3. Wilhelm Fink Verlag. Muenchen. 1966 (143 S.).

В доисторическое «время óно» каждое слово было «неологизмом» — непосредственным жестом взволнованной, удивленной миром души. Но когда литературный язык уже создан и освящен авторитетами образцовых писателей и академическими словарями, словотворчество замирает, и живая речь лишь изредка обогащается новыми словами. Правда, в какой-то момент наступает реакция — вторая молодость или же вернее второе детство, всегда искусственно культивируемое, очень «умышленное». Это — тяга к младенческому примитиву, и не в народных массах, а на верхах культуры, как, например, в России, перед революцией. Здесь первое место занимает Велимир Хлебников: в своей поэтической лаборатории он измыслил тысячи новых слов, но в обиходную речь они не вошли, язык он не омолодил, не обновил, рядовые читатели разве что запомнили одних его смехачей. По сравнению с Хлебниковым, Маяковский или Белый — новаторы робкие. Все же, по подсчетам А. Хиндли, в романах Белого мы находим 2082 неологизма (в его поэзии их меньше). Большинство этих неологизмов — слабые (по терминологии проф. Д. И. Чижевского), напр., — увеличительные (кабинетище) или же сложные слова (золотоносец).

Белый утверждал, что всегда пишет напевая или бормоча, а также жестикулируя в плясовом ритме. «Кладбищенская статика» в современной литературе вызывала его негодование. Он стремился к динамике, ему хотелось обновить язык новыми ритмами, новыми выражениями. Он оправдывал «бесцельную игру словами».

Обо всем этом Л. Хиндли пишет в предисловии. Но, судя по тщательно составленному ею словарю, а также и по комментариям, большая часть новообразований Белого не бесцельны, а функциональны. Его неологизмы подчеркивают излюбленный им гротеск. «Папа... выплясывал на паркетах свои козловаки» (срв. с гопаком). «Дядя такой... притихайка». «Лесомыка (срв. с горемыкой) какая-то драная чмыхала носом». Забавен неологизм семантический: «веснами

мчалось... море коричневой грязи; утопии все-таки не было (употребляю слово утопия не в утопическом смысле)». Непонятных, странных, хлебниковских слов мало, напр., мерикория (комбинация меланхолии и мороков).

Лили Хиндли — ученица проф. Д. И. Чижевского; и другие молодые ученые его школы тоже занимаются неологизмами: Г. Хюттль-Ворт писала о неологизмах Карамзина (и их оказалось меньше, чем обычно думают); А. Кардиналовская-Гумецкая писала о словообразованиях в поэзии Игоря Северянина и Маяковского.

Пора было бы составить словарь русских неологизмов, в особенности XX-го века. Пусть лишь очень немногие новые слова, выдуманные поэтами, писателями, вошли в речь, но все-таки этого рода эксперименты типичны не только для Белого, Хлебникова, Маяковского.

У Белого несколько раз встречается слово вертолет: «блеск вертолетами», «дымолет вырвался из крыши вертолетами». В Сов. Союзе так называют геликоптеры, но, по мнению проф. Чижевского, это выражение вошло в технический язык независимо от Белого.

Отметим, что в словарь Л. Хиндли включены в качестве «вариантов существующих прилагательных» такие слова, как щучий (зов) и мышья беготня. Но есть щучье веление, а последнее выражение — явно цитата из пушкинских стихов, сочиненных ночью во время бессонницы.

Юрий Иваск

HELMUT KÖLLE. *Farbe, Licht und Klang in der malenden Poesie Deržavins.* Forum Slavicum. Herausgegeben von Dmitrij Tschiżewskij. Wilhelm Fink Verlag, Muenchen. 1967.

Книга Хельмута Кёлле может быть рассмотрена двояко. Автор, с одной стороны, выявляет и приводит в систему основные приемы и закономерности державинского восприятия и изображения природы, а с другой, подводит литературоведческие итоги изучению творчества Державина за полтора века. Основным объектом авторского наблюдения является цвет, свет и звук в поэтике Державина. Зрительно-слуховые моменты в творчестве Державина книга выдвигает на центральное место. Проводя паралель с Гёте автор называет Державина «человеком глаза» ("Augenmensch"). Это определение, как известно, немецким литературоведением закреплено за Гёте. Такое сближение методологически очень плодотворно и находится в полном соответствии с творчеством обоих поэтов.

Привлекая огромный цитатный материал Хельмут Кёлле систематизирует зрительные образы Державина по двум основным линиям: 1) по линии шкалы красок; 2) по линии зрительных эффектов,

в основе которых лежит отражение или преломление света. Такая систематизация дает возможность не только выявить в творчестве Державина чрезвычайно яркие зрительно-оптические и цветовые моменты, но попутно проанализировать круг реалий так или иначе связанных с цветом и светом. Например, проследить в творчестве Державина роль металлов, стекла, драгоценных камней, водных поверхностей, хрустальных граней и т. д. Особое внимание Кёлле обращает на образы, связанные с преломлением света и различными видами блеска.

Творчество Державина поставлено в связь с традицией русской и немецкой описательной поэзии. Особенный упор автор делает на связь с немецкой описательной поэзией конца семнадцатого века.

Главный интерес книги Кёлле состоит в очень подробном и пристальном изучении свето-цветовых и оптических образов в составе поэтики Державина. Анализ звуковых эффектов менее интересен, т. к. звуковая сторона державинской поэтики уже давно привлекала внимание литературоведов и более изучена. Кроме того, поскольку изучение синтаксиса и ритма не входит в задачу автора, а расстановка звуковых эффектов в творчестве Державина связана с ритмико-синтаксическими проблемами, в трактовке звукописи у Державина автор более традиционен.

Обширная библиография, приложенная к книге Кёлле, отражает всю историю изучения Державина за полтораста лет. Эта библиография устанавливает не только отсутствие в XIX веке настоящего интереса к творчеству Державина, но и неподготовленность читателя и литературоведа к усвоению творческих принципов и художественных приемов Державина. Честь открытия Державина целиком принадлежит литературоведам XX века. Только футуризм и акмеизм создали настоящие психологические предпосылки для усвоения державинского наследия.

Хельмут Кёлле хорошо знает русский язык. Многочисленные цитаты из Державина и его русских современников в стихах и прозе приводятся в подлиннике. Вся русская библиография также дается по-русски.

На фоне литературы XX века, посвященной творчеству Державина, книга Кёлле отличается исключительной свежестью подхода, методологической четкостью и добросовестностью.

Олег Ильинский

B. S. ISCHBOLDIN. *Genetic Economics*. St. Louis. Missouri. 1967.

Книга проф. Б. С. Ижболдина посвящена вопросу установления исторического преемства в сфере экономики. Если в первых главах она основывается на изысканиях современных антропологов, то в

дальнейшем она обоснована на главных понятиях экономики в передовых странах определенного периода. Автор говорит о египетских и мессопотамских государствах, затем Греция и Рим, раннее средневековье в западных и отчасти срединных странах Европы, и наконец, о европейских и американских странах (Англия, Франция, Германия, Италия, отчасти Голландия и Испания, и за последние века Россия и США). В трактовке всех вопросов автор беспристрастен.

Книга замечательна по количеству фактического материала. Оно прямо оглушительно. Этот материал освещается ссылками на специалистов по разбираемым вопросам с краткой формулировкой их воззрений. В этой части книга не оставляет желать ничего лучшего.

Но, к сожалению, синтез удается автору много хуже. Изложение постоянно скачет от одной страны к другой, к третьей и т. д., а также легко переходит от одного века к другому и опять назад. Очень мешает автору его стремление точно установить начало и конец каждого государственного или экономического строя в ту или иную эпоху. Автор утверждает, что капитализм начался в 1453 г., но что это значит? Ведь мир (в пределах изучаемых автором) не перевернулся как бы по мановению какой-то волшебной палочки.

Есть в книге много достоинств — никакой эксперт по экономической истории не должен будет обойти ее, но это не мешает правильности утверждения, что трактовка фактов и ученых мнений не очень удачны. При основной манере письма проф. Ижболдина особенно важно было бы иметь хорошо составленный индекс. Но индекс в ней только повторяет все собственные имена, упоминаемые в тексте, вопреки общепризнанному обычаю делить индекс на индекс авторов и индекс предметов. По характеру книги Ижболдина в ней следовало бы дать еще индекс стран и индекс веков. В краткой биографической заметке, к сожалению, не указывается место и год рождения автора.

Книга читается довольно тяжело, — она, конечно, обращена скорее к специалистам, нежели к широкой публике. Но она несомненно поддерживает честь русской науки за рубежом, ибо несомненно является серьезным вкладом в мировую науку.

Н. С. Тимашев

И. А. КУРГАНОВ. «*Семья в СССР. 1917-1967*». Изд. «Посев». Нью Йорк. 1967, 330 стр.

В связи с 50-й годовщиной октябрьского переворота советская печать многое приукрашивает из своего прошлого, заполняя мифами и фикциями историю становления коммунистического государства. Эти фикции касаются и вопроса о положении семьи в Сов. Союзе.

В своей монографии «Семья в СССР. 1917-1967» И. А. Курганов

восстанавливает подлинную историю коммунистических взглядов на роль семьи в Советском Союзе. Книга хорошо документирована. Автор приводит многие редкие документы. Так, например, он приводит, взятый из книги А. Г. Харчева, текст декрета о национализации женщин, опубликованного в 1918 г. во Владимире. Этот документ настолько любопытен, что текст его стоит воспроизвести:

«После 18-летнего возраста всякая девица объявляется государственной собственностью. Всякая девица, достигшая 18-летнего возраста и не вышедшая замуж, обязана под страхом строгого взыскания и наказания зарегистрироваться в бюро «свободной любви» при комиссариате призрения.

Зарегистрированной в бюро «свободной любви» предоставляется право выбора мужчины в возрасте от 19 до 50 лет себе в сожители-супруги... Право выбора из числа девиц, достигших 18 лет, предоставляется также и мужчинам.

Выбирать мужа или жену предоставляется желающим раз в месяц. «Бюро свободной любви» автономно. Мужчинам в возрасте от 19 до 50 лет предоставляется право выбора женщин, записавшихся в бюро, даже без согласия на то последних, в интересах государства... Дети, произошедшие от такого рода сожительства, поступают в собственность республики» (стр. 68).

Отметим, что Харчев взял этот документ из книги, вышедшей под соответствующим названием: «Социализация женщин», Пг., 1918. Теперь подобные факты кажутся курьезными, но тенденции эти весьма характерны. В свое время к свободной любви призывали и видные партийцы. Так, например, возглавлявшая в первые годы после Октября партийную пропаганду в вопросах брака и семьи, А. Коллонтай (о ней было сказано одним поэтом: «тетка русской проституции — генеральша Коллонтай») очень много писала «о крылатом эросе», о «любви пчел трудовых», о том, что удовлетворение физиологических потребностей можно осуществлять попутно среди дел.

В соответствии с подобными взглядами, пишет Курганов, и в художественной литературе развивались идеи «любви без черемухи», теория «стакана воды» и т. д. и в жизни получили развитие «лиги свободной любви», «кружки крылатого эроса», «афинские ночи», походы голых (общество «долой стыд», прим. автора), предложения строить на улицах и в парках, наряду с общественными уборными, специальные кабины для интимных встреч и т. д. (стр. 69).

Теперь пишут, что В. Ленин отмежовывался от подобного рода коммунизма, порицал теорию «стакана воды», от которой «наша молодежь прямо взбесилась». Но Ленин выступал против «полового коммунизма» в частных письмах, которые стали достоянием общественности только спустя много времени после его смерти. Главной своей задачей в области семейного права партия сначала ставила

разрушение так называемой патриархальной, крепкой семьи. Партия считала необходимым оторвать детей от родителей. Вот, например, как в пресловутой «Азбуке коммунизма», получившей полное одобрение Ленина, и бывшей многие годы евангелием от коммунизма, трактуется вопрос о семье и детях в условиях построения коммунизма:

«В буржуазном обществе ребенок рассматривается, если не всецело, то, по крайней мере, в значительной степени, как собственность своих родителей. Когда родители говорят: «моя дочь, мой сын», это означает не только наличие родственных отношений, но и право родителей на воспитание собственных детей. Это право с социалистической точки зрения ни на чем не основано. Отдельный человек принадлежит не себе самому, а обществу — человеческому роду... Обществу же и принадлежит первейшее право воспитания детей. И с этой точки зрения претензия семей путем домашнего воспитания запечатлеть в психологии своих детей свою ограниченность необходимо не только отклонять, но и высмеивать самым беспощадным образом. Общество может доверять воспитание детей родителям, но может и не доверить, и чем дальше, тем меньше ему основания доверять воспитание детей родителям, потому что способность к воспитанию детей все же встречается реже, чем способности к деторождению... Общественное воспитание даст социалистическому обществу возможность воспитать будущее поколение так, как будет нужно...» («Азбука коммунизма», 1920 г., § 79, стр. 156-57).

Известно, что Хрущев, создавая школы-интернаты, мечтал, что они будут советскими кадетскими корпусами, в которых будут воспитываться граждане будущего коммунистического общества. И хотя тактически сейчас руководство и отказывается от полного общественного воспитания детей, но это не значит, что партия отказалась от идеи разрушения прежней семьи.

Вопрос о борьбе партии с нормальным семейным укладом, носившим в особенности в деревне патриархальный характер, занимает центральное место в труде Курганова. Но и другие, связанные с этой темой, вопросы не оставлены без внимания. О проблеме роста населения, о социальной структуре советского общества и др. Книга Курганова охватывает большой научно-исследовательский и статистический материал, на который мы не найдем ответа в советской печати. Автор разбивает многие построения советских авторов, пытающихся внушить читателям, что советская власть укрепляла семью, что браки в СССР более прочны, чем в демократических странах и пр. Курганов разоблачает многие мифы, которыми окутан в СССР вопрос о равноправии женщины, о счастливом детстве, о заботе партии и правительства о благополучии советского населения и др. Шаг за шагом он прослеживает историю семьи в Советском Союзе, подробно и объективно рассматривая эту проблему. В книге

6 разделов и 20 глав. Чтобы читатель мог судить о характере работы, приведу названия разделов: I. Семья в историческом развитии. II. Семья и революция в СССР. III. Семья и государство в СССР. IV. Семья и общество в СССР. V. Семья и социализм в СССР. VI. Семья и коммунизм.

Особого внимания заслуживают социальные и демографические исследования Курганова. В последние годы в советской печати появилось не мало трудов, где рассматриваются различные аспекты движения численности населения СССР, социальный состав советского общества, движение естественного прироста населения, но нигде мы не встретим подлинной оценки во что обходится народу построение коммунизма. По подсчетам Курганова, для которых он использовал официальные советские источники, население СССР с 1917 по 1959 год потеряло 110,7 млн. человек. Им учтены как прямые потери, так и биологическое ослабление нации (из-за падения рождаемости). Как ни чудовищны эти потери, равные населению Франции и Англии вместе взятых, в подсчетах автора нет преувеличения. Еще Д. Менделеев предполагал, что к середине этого века население России перейдет через границу трехсот миллионов человек. Французский ученый Эдмонд Тери, который в 1914 г. выпустил по-французски книгу «Трансформация экономики России», говоря о численности населения главнейших стран Европы, считал, что в 1948 году население России должно достигнуть 343,9 млн. человек. Если мы сравним эту цифру с численностью населения в нынешних границах СССР, то в 1965 году гипотетическое население страны составило бы 350-360 млн. человек, что тоже косвенно подтверждает правильность расчетов И. Курганова.

Разрушив прежнюю семью, коммунисты нарушили и динамику прироста населения, или, говоря «марксистским» языком, — «снизили размер расширенного воспроизводства населения». Вот как падал естественный прирост населения СССР, начиная с 1960 года, когда он составил 3,9 млн. человек в год: за 1961 год население СССР возросло на 3,6 млн., за 1962 — на 3,4 млн., за 1963 — на 3,2 млн., за 1964 — на 2,9 млн., за 1965 — на 2,6 млн. человек. За период с 1 июля 1965 г. по 1 июля 1967 г. население СССР возросло всего на 2,3 млн. человек (общая численность на последнюю дату — 235,5 млн. человек).

И. Курганов приводит большой, объективный, статистический материал, который надо рассматривать вместе с выводами автора. Эта книга ценна, как справочный материал по истории становления советского общества, по эволюции семейно-брачных отношений, по вопросу о положении женщины и детей в СССР. Свой труд Курганов предназначал для русского читателя, но он заслуживает быть переведенным и на иностранные языки.

А. Иванов

PHILIPP BARBOUR. *Dimitri.* Houghton Mifflin. Boston. 1966 (p. 387).

Американский историк Филипп Барбур, знаток 17-го века, написал ценный труд о Лжедимитрии I-м. Эта книга представляет интерес и для русского читателя. Автор пользуется многими польскими источниками и посетил лично все места, где протекала короткая, но столь бурная деятельность загадочного русского царя. Как известно, Димитрий, в течение трех лет собрав небольшую армию, состоявшую преимущественно из казаков и польской шляхты, занял Москву после двух сражений, короновался русским царем, возвел на престол дочь польского магната, но вскоре погиб от бунта, руководимого вторым по сану русским вельможей Василием Шуйским. В общем Димитрий занимал русский престол с июля 1605 г. по май 1606 г., а его жена Марина Мнишек, ставшая первой коронованной царицей в русской истории, пользовалась своим высоким положением всего 15 дней.

Автор верит в искренность Димитрия, именует его претендентом, а не самозванцем, явно ему сочувствует, но отказывается от открытого признания его, как сына Ивана Грозного. Он не исключает возможности, что Димитрий был внуком Грозного от убитого им сына царевича Ивана, ссылаясь на авторитет известного иезуита Антония Поссевина, который в письме к Димитрию троекратно называет его внуком, а не сыном Ивана IV. Автор исторически прав, когда указывает, что Димитрий, несмотря на свою молодость, проявлял царственность, имел хорошие манеры и с «природной грацией» носил драгоценности, соболя и шелковые одежды. Все это должно было свидетельствовать о его знатном происхождении.

С большим вниманием Филипп Барбур исследует сношения Димитрия с Ватиканом и Польшей. Для достижения русского престола Димитрию пришлось принять католичество тайным образом и просить о помощи польско-литовского короля Сигизмунда III. По этой причине он был вынужден обещать и содействие Сигизмунду в его попытках вернуть себе престол Швеции. Однако, когда он стал русским царем, произошло охлаждение в русско-польских отношениях из-за упорного отказа Сигизмунда именовать Димитрия русским царем, а не великим князем Московским. Сам же Димитрий называл себя в грамотах «непобедимым самодержцем, царем и великим князем всея Руси и многих татарских царств». Обещание, данное римскому Папе объединить церкви он постепенно заменил обязательством начать решительную войну против татар и Турции, исповедывавших Ислам.

Автор постоянно подчеркивает популярность Димитрия в России и объясняет его падение боязнью боярства, что он вовлечет страну в тяжелую войну с Турцией и Швецией, несмотря на разоренную казну. К тому же Димитрий короновал польку-католичку Марину

Мнишек как царицу Марию Юрьевну, дал ее отцу в удел Смоленск и Северск и постоянно нарушал старые русские обычаи. Ему ставили в вину, что он допускает католическое духовенство в православные церкви, обедает при музыке, лично борется с медведями, ходит инкогнито в народ, не парится в бане и т. д.

Все же Барбур думает, что Димитрий из-за своей репутации законного и доброго царя постепенно справился бы с интригами боярства, если бы своевременно казнил князя Василия Шуйского, уличенного в измене, удалил бы из Москвы польскую шляхту и сконцентрировал в кремлевском дворце верную себе немецкую гвардию.

Из анализа, даваемого автором, им делается вывод, что поклонник Запада, Димитрий во многих отношениях предвосхищал реформаторскую деятельность Петра Великого, которую он, однако, провел бы более мягким путем по своей природной доброте и доверию к своим сотрудникам.

Книга Барбура имеет хорошие иллюстрации, включающие редкий портрет Димитрия, писанный с натуры и находящийся сейчас в гессенской библиотеке в Дармштадте. Кроме того, она дает ценные генеалогические таблицы, с которыми полезно познакомиться русскому читателю, ибо редко кто знает, например, что князья Вишневецкие, начавшие карьеру Димитрия в Польше, были отчасти потомками Рюрика через младшего брата Александра Невского, или что король Сигизмунд III, впоследствии желавший занять русский престол, отдаленно происходил от русской княгини Юлианы Тверской.

Борис Ижболдин

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 88, в отрывке Н. Ульянова «Сириус», надо сделать такое исправление: на стр. 13-й, 2-я, 3-я и 4-я строки снизу должны читаться: «Из газет выходят только «Земщина» да «Христианское Чтение», все другие прекратились. Толпа сняла с работы наборщиков».

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

ВЛАДИМИР САМАРИН. *Тени на стене.* Изд. «Русская книга». Нью Йорк. 1967 (74 стр.).

ПРОТ. Д. КОНСТАНТИНОВ. *Религиозное движение сопротивления в СССР.* Изд. СБОНР. Канада. 1967 (71 стр.).

Н. ПОЛТОРАЦКИЙ. *Бердяев и Россия.* (Философия истории России у Н. А. Бердяева). Изд. Общества Друзей Русской Культуры. Нью Йорк. 1967 (262 стр.).

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. *Перед восходом солнца.* Изд. Межд. Литерат. Содружества. Нью Йорк. 1967 (208 стр.).

Казачьи песни. Изд. Казачья Старина. Нью Йорк. 1967.

ГЕН. А. И. СПИРИДОВИЧ. *Великая война и Февральская революция (1914-1917),* тт. I, II. Всеславянское изд-во. Нью Йорк. 1960 и 1962 (309 и 315 стр.).

ОЛЬГА БИРИНЦОВА. *Колосья.* Стихи. Париж (47 стр.).

ОЛЬГА БИРИНЦОВА. *О себе и о других.* Стихи. Париж (41 стр.).

Манифесты и программы русских футуристов. Die Manifeste und Programmschriften der Russischen Futuristen mit einem Vorwort herausgegeben by V. Markov. Wilhelm Fink Verlag. Muenchen. 1967.

БОЛИТ. *Психическая энергия.* Философская тетрадь. Изд. автора. Париж. 1967 (186 стр.).

DMITRIJ TSCHIZEWSKIJ. *Russische Literaturgeschichte des 19 Jahrhunderts.* Band II. Der Realismus. W. Fink Verlag. München. 1967 (210 S.).

Die Altrussischen Hagiographischen Erzählungen und Liturgischen Dichtungen über die Heiligen Boris und Gleb. Nach der Ausgabe von Abramovič in Auswahl neuherausgegebenen und eingeleitet von Ludolf Müller. W. Fink Verlag. München. 1967 (150 S.).

LILY HINDLEY. *Die Neologismen Andrej Belyjs.* Herausgegeben von D. Tschizewskij. W. Fink Verlag. 1966 (143 S.).

ZBIGNIEW FOLEJEWSKI. Maria Dąbrowska. Twayne Publishers. New York. 1967.

Modern Russian Poetry. An Antology with Verse Translation and Introduction by W. Markov and M. Sparks. The Bobbs-Merrill Comp. 1966.

Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft. I Band. Heft 2, 3. 1967. W. Fink Verlag. München. 1967.

The Ukrainian Quarterly. A Journal of East European and Asian Affairs. Vol. XXIII, No. 1. New York. 1967.

MARY F. ROWLAND & PAUL ROWLAND. *Pasternak's Doctor Zhivago.* Southern Illinois University Press. Feffer & Simons, Inc. London & Amsterdam. 1967 (210 pages).

MIKHAIL BULGAKOV. *The Master and Margarita.* Translated by Mirra Ginsburg. Grove Press, Inc. New York. 1967 (402 pages).

ARTHUR VOYCE. *The Art and Architecture of Medieval Russia.* The University of Oklahoma Press. Norman. 1967 (432 pages).

JOZEF MACKIEWICZ. *Der Oberst.* Verlag J. Pfeiffer. Muenchen. 1967 (540 pages).

Y. O. SERDIUKOV. *Farewell, Mother Russia.* Vantage Press. New York. 1967 (232 pages).

The Soviet World in Flux: Six Essays. Report 2. Southern Regional Educational Board. Atlanta. 1966 (173 pages).

J. THOMAS SHAW. *The Letters of Alexander Pushkin.* The University of Wisconsin Press. Madison. 1967.

EUGEN LYONS. *Worker's Paradise Lost. Fifty Years of Soviet Communism. A Balance Sheet.* Funk & Wagnalls. New York. 1967 (387 pages).

BERTRAM D. WOLFE. *The Bridge and the Abyss. The Troubled Friendship of Maxim Gorky and V. I. Lenin.* F. O. Praeger. New York. 1967 (180 pages).

Poetica. Zeitschrift fuer Sprach- und Literaturwissenschaft. Band 1, Heft 4. Oktober 1967. W. Fink Verlag. Muenchen. 1967.

Art Treasures of Russia. Text by M. W. Alpatov. Commentaries by O. Dacenko. Translated by Norbert Guterman. Harry N. Abrams Publishers. New York. 1967 (plates 104 + p. 178).

Baron Delvig's Northern Flowers. (1825-1832). Literary Almanac of the Pushkin Pleiad. By John Mersereau, Jr. Southern Illinois University Press. London and Amsterdam. 1967 (p. 267).

НОВАЯ КНИГА:

ЕЛЕНА ИШУТИНА

НАРЫМ

ДНЕВНИК ССЫЛЬНОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ РОМАНА ГУЛЯ

ЦЕНА 2 ДОЛ. 25 Ц.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
В «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

ИЗДАНИЕ «НОВОГО ЖУРНАЛА» Нью Йорк 1965

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1967.

2. Title of Publication—The New Review.

3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025; Managing Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; President, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York, N. Y. 10025; Secretary, Prof. Zoya Yurieff, 46-04 196th St., Flushing, N. Y. 11358; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York, N. Y. 10032.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.

9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Names and addresses of individuals who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or holder of bonds, mortgages or other securities of the publishing corporation have been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securities of the publishing corporation.

10. Extent and Nature of Circulation.

		Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Single issue nearest to filing date*
A.	Total No. copies printed	1300	1300
B.	Paid circulation		
	1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	405	380
	2. Mail subscriptions	856	856
C.	Total paid circulation	1261	1236
D.	Free distribution/including samples/by mail, carrier or other means	35	40
E.	Total distribution/sum of C and D/	1296	1276
F.	Office use, left-over, unaccounted spoiled after printing	4	23
G.	Total/sum of E & F—should equal net press run shown in A/	1300	1300

I certify that the statements made by me above are correct and complete.

Roman Goul, Managing Editor

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1968 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)
Цена одной книги — 3 долл.
Во Франции — 10 франков

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.